

Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор
Борис Марковский

Зам. главного редактора
Евгений Степанов *(Москва)*

Редакционная коллегия:

Айдар Хусаинов *(Уфа)*
Борис Херсонский *(Одесса)*,
Игорь Савкин *(Санкт-Петербург)*,
Владимир Цивунин *(Сыктывкар)*,
Борис Констриктор *(Санкт-Петербург)*,
Игорь Лощиллов *(Новосибирск)*,
Юрий Проскураков *(Москва)*,
Вальдемар Вебер *(Аугсбург)*
Валерий Ку克林 *(Берлин)*

Художник
Сергей Пионтковский *(Киев)*

Ответственный секретарь
Елена Мордовина *(Киев)*
тел. (038) 067-83-007-11

Связи с общественностью
Александра Беренс *(Берлин)*

Год издания тринадцатый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:
В. Markowskij, Tränke str. 16
34497 Korbach, Deutschland
тел. (+49) 5631-50-31-42
e-mail: borismark30@T-Online.de
www.kreschatik.nm.ru

Издательство «Вест-Консалтинг»
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966
Свидетельство о регистрации КВ № 10002 от 29.06.2005 г.

© Крещатик, 2010 г.
© Издательство «Вест-Консалтинг» (Москва), 2010 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Вл.Гандельсман / <i>СПб. – Нью-Йорк</i> /	Из Достоевского	6
Евгений Степанов / <i>Москва</i> /	Стихи разных лет	17
Борис Херсонский / <i>Одесса</i> /	Комендантский час	40
Алексей Сомов / <i>Сарапул</i> /	Корабельная	62
Наталия Азарова / <i>Москва</i> /	Ленивые беседы	70
Михаил Окунь / <i>СПб. – Аален</i> /	«И нет ни воли, ни покоя...»	125
Аркадий Илин / <i>СПб.</i> /	«И всадник на скале...»	140

В гостях у «Крещатика»

Поэты Санкт-Петербурга

Лариса Березовчук	162
Михаил Мельников	165
Валерий Земских	170
Дмитрий Чернышев	179
Александр Горнон	184
Арсен Мирзаев	188
Дина Гатина	220
Анатолий Домашёв	224
Ирина Новикова	227
Роман Осминкин	246
Алексей Сычев	250
Валерий Мишин	285
Тамара Буковская	293
Дмитрий Григорьев	309

Проза

Борис Хазанов / <i>Мюнхен</i> /	Опровержение Чёрного павлина	9
Владимир Симонов / <i>СПб.</i> /	Зачарованная продавщица	20
Александр Файн / <i>Москва</i> /	Часы идут... <i>Рассказ</i>	44
Пётр Казарновский / <i>СПб.</i> /	Рассказ Петроградской стороны	64
Александр Ласкин / <i>СПб.</i> /	Сарра и Николаевна. <i>Повесть</i>	73
Римма Запесоцкая / <i>СПб. – Лейпциг</i> /	Проверка таланта. <i>Рассказы</i>	130
Владимир Шпаков / <i>СПб.</i> /	Царская охота. <i>Рассказ</i>	144
Лев Аксельрод / <i>СПб.</i> /	Прелюдии	173
Борис Ванталов / <i>СПб.</i> /	Отрывки из Ничего	192

In memoriam

Мария Каменкович Стихи разных лет 196

Контексты:
эссеистика, критика, библиография

Генрих Киришбаум / <i>Регенсбург</i> /	Эсхатологические ландшафты	205
Евгений Антипов / <i>СПб.</i> /	Четвертый. Эссе	228
Александр Гуревич / <i>СПб.</i> /	Письма. Публ. Ларисы Мелиховой	256
Владимир Гутковский / <i>Киев</i> /	От руки. О поэзии М. Красикова	302
Владимир Шпаков / <i>СПб.</i> /	Попасть в сердце	306
Вальдемар Вебер / <i>Аугсбург</i> /	«Сквозь музыку веков, былому	
Александр Радашкевич / <i>Париж</i> /	предстоящих...»	314

4 (50) '2010



К выходу в свет 50-го номера «Крещатика»

Как крестьянин сеет хлеб, каков бы ни был прогноз на урожай, так и журналы должны выходить в любую погоду.

Толстым журналам предрекали гибель еще в том тысячелетии, поэтому возникновение в конце века в меру упитанного издания, повторяющего родовые черты (проза, поэзия, эссеистика, критика, библиография) большого советского стиля казалось делом вовсе безнадежным.

Однако скептики не учли человеческий фактор. Благодаря термоядерной энергии (близость Чернобыля?) урожденного киевлянина, главного редактора Бориса Марковского, издание не только не погибло, но даже обросло антологиями поэзии и прозы, вышедшими к его десятилетию, была учреждена поэтическая премия «Перекресток».

Цель журнала не продвижение того или иного направления, а срез всей литературы. Счастливой особенностью «Крещатика» стало печатанье не только авторов метрополии, но и диаспор, не только столиц, но и провинции, не только России, но и бывших союзных республик. Широта палитры впечатляет. Наверное, уже не одна тысяча имен-колец запечатлена на этом срезе.

Несуетливый институт отбора, селекции обеспечива-ет саму возможность плодоношения культуры.

Дух веет, где хочет. Важно, чтобы было г д е ему веять.

Журнал «Крещатик» всерьез и надолго расширил литературное пространство сузившейся страны.

Б.Констриктор

октябрь, 2010

СПб.

Черная

е

ч

к

а

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

/ Нью-Йорк — Санкт-Петербург /



Из Достоевского

1

День сероват, но сух.
Но да ведь и октябрь.
Во-первых, дух
кладбищенский. И эта гарь.

Гарь мозговая. Почему
мертвец в гробу тяжёл?
Не удивляться — глупо потому,
что, значит, не нашёл

ты уваженья к миру.
Прилёг на камень я, налаживая лиру.

Здесь в самый раз с червей —
и это во-вторых — зайти.
Что может быть черней
земли, в которой взаперти?

О, смерти таинство! Я бок
с ней о бок бы не лёг,
с задорной криксою, бобок,
бобок, бобок...

Иосафатова долина.
Супруги вопль и хнык болезный сына.

Вот в третьих: лебезятниковый тон,
хоть и надворный
советник он,
и в гнусности проворной

мысль сладострастная: извлечь
из смерти жизнь,
но ничего уж не стыдиться, неч
теперь стыдиться укоризн.

И всё хихикают — хи-хи! —
и счётёц предъявляют из трухи.

В-четвёртых — девочка. А как
без девочки? Деликатес.
Доступный вождеденный знак.
Конечно. Судя по цене-с.

И здесь разврата не избёг
(совсем убог!)
и мерзости, бобок, бобок,
бобок, бобок...

Тут я проснулся и прервал строфу.
ТЬфу, тьфу и тьфу.

2

Я что хочу сказать? Проникнутое.
Хе-хе. Гм-гм. А? Ну-тка, ну-тка.
Распрясть впрытыкнутое —
а вот и нитка.

Дёрнь — и пойдёт напрасная
мысль виться,
пресладострастная,
слюною смоченная очевидца.

Вся подноготная,
вся грязь подробностей.
Хе-хе. Гм-гм. А? Вся негодная
жизнь с выпадением в заgrabности.

За сорок мне, а ей шестнадцатый,
плюс ощущение неравенства —
раскладец сладостный
мне, хоть и стыдно молвить, нравится.

В глазёнки глядя оробелье,
а чаще — волчьи,
я прожил сам с собою целые
трагедьи молча,

здесь бездна, и покатошь градусов,
и унижение
её прежалобно и радостно в
душе моей, до слёз и жжения.

Хе-хе. Гм-гм. А? Ну-тка, ну-тка.
Я победил, но не простил,
и горд с тех пор, и не на шутку
разбит, без сил.

Всё ж был бы я доволен суммою,
но как-то раз она несмело,
наверно, думая,
что я отсутствую, запела.

А раз поёт, меня кольнуло,
то от меня свободна, — бесья
прельстительная мысль прильнула:
самоубейся.

В Булонь, в Булонь, всё наготове,
но выжег грёзку,
а крови с горстку, с горстку крови,
да, сгорстку, сгорстку!

3

Мне рай привиделся, не наша требуха,
не дно, не вязкой жизни ил,
там жили дети солнца, без греха,
я дал им знание — и развратил.

Они узнали культ небытия,
о, ради вечного успокоенья
в ничтожестве, в смиренно-гордом «я»...
Потом они устали от растленья.

И вот: страдание есть красота, —
так вывели они, а я их землю,
столь ими осквернённую, — о, да,
я кротко полюбил и лишь её приемаю.



Борис ХАЗАНОВ

/ Мюнхен /

Опровержение Чёрного павлина¹

Не сомневаюсь, что каждому здравомыслящему человеку мой рассказ покажется маловероятным. Скажут: тут что-то не то. Либо станут говорить о мании, наваждении. Эти слова ничего не объясняют. Мы ведём себя как одержимые, но редко сознаём это. Рождённые в клетке, мы трясём и дёргаем железные прутья действительности, не понимая, на что мы посягаем. Я знал одного человека, который много лет гонялся за женщиной, подозревал, что она умерла, наводил справки, получал неопределённые ответы. Он уже забыл, когда впервые её увидел, плохо помнил, как она выглядела, годы должны были изменить её, но ему казалось, что она где-то поблизости, только что прошла мимо. Чей-то взгляд на улице напоминал её глаза, стук каблучков на лестнице — это были её шаги. Однажды удалось напасть на след: он знал, что она в городе, звонил по телефону, но никто не подходил; стучался в дверь — ему не открывали; наконец, подкараулил её у подъезда, шёл за ней и говорил себе, что её походка уже не так стремительна, бёдра отяжелели — и вообще пора с этим кончать. На углу, перед тем, как исчезнуть, она обернулась. Это была не она!

Неизвестно, к чему могла бы привести эта навязчивость, истоки которой затерялись в прошлом. Но я-то хорошо помню день (забыть его невозможно), когда впервые узнал о Чёрном павлине: о нём рассказывал старый дворовый пёс, потомок бездомных бродяг с каплей благородной крови, многого повидавший в своей жизни. Было это в лучшие времена — я имею в виду, конечно, детство, когда разговаривать с животными куда интересней и поучительней, чем со взрослыми, вечно занятыми всякой чепухой.

¹ Рассказ войдет в 5-й том Собрания сочинений Б.Хазанова (Б. Хазанов, изд-во «Алетейя», СПб., Собрание сочинений в 8-ми томах). В 2010 г. были выпущены первые 4 тома.

Этот пёс, который годился мне в дедушки, любил полёживать на солнышке, на крыше сарая, — уж не знаю, как он туда забирался, — и следить умильным взором за птицами, как старцы в саду Иоакима подглядывали за юной Сусанной. О, как я жалею, что не расспросил его подробней, где он встречался с павлином.

Я сам увидел его много лет спустя, когда ни от двора (мало похожего на сад), ни от нашего дома не осталось и следа, — правда, увидел павлина только во сне. Он заключал в себе всё совершенство творения. Двумя-тремя днями позже я сидел, ожидая своей очереди, в приёмной врача, перелистывал бульварный журнал, мне попалась статья: там было сказано, что мифологические существа появлялись на свет в результате мутаций и умирали, окружённые мистическим поклонением, не оставляя потомства. Точнее, исчезали, чтобы никто не видел, как и где они испустят дух. Поэтому их считали бессмертными. Вся эта галиматья, вероятно, испарилась бы из памяти, если бы не сон.

Я вспомнил, как я лежал, проснувшись, и всё ещё видел его перед собой: он стоял, распустив веером чёрный хвост, посреди лунной лужайки, а позади тускло угадывался, отливал серебром пруд зоопарка. Оставалось ждать, когда повторится что-нибудь подобное, и действительно, вскоре произошёл такой случай: проходя вечером мимо книжной лавки, я заметил в витрине альбом — на обложке тёмная птица с расставленными лапами, с чёрным султаном на голове и хвостом, похожим на ночной небосвод. Магазин был уже закрыт, на другой день я отправился за павлином. В нашем городе не так-то много книжных магазинов и ещё меньше покупателей. Продавец скучал за прилавком. Он удивился, поджал губы и покачал головой, мы вышли на улицу взглянуть ещё раз на витрину, и ему пришлось удивиться вторично. Вернувшись, он отомкнул изнутри стеклянную дверь и протянул мне книгу. Я был разочарован. Птица на обложке не имела ничего общего с той, которая предстала передо мной накануне в плохо освещённой витрине.

Продавец высказал предположение, что это был другой магазин. Какой, спросил я, разве есть ещё один магазин. Магазинов много, возразил он. Книжных? Да, сказал продавец, было ещё два, но они закрылись. Ему было жалко отпускать покупателя. Он подвёл меня к полке детской литературы. Может, что-нибудь из этого, сказал он: сказки Гауффа, легенды народов Чёрной Африки.

Я решил действовать методично и начать с простого решения. Испросил у начальства отпуск за свой счёт. Павлины, насколько мне известно, не водоплавающие птицы, хотя и любят близость воды; в Москве, в зоопарке, прохаживаясь вокруг большого пруда, я рассеянно поглядывал на его обитателей. Как вдруг заметил кого-то, с бьющимся сердцем подбежал к барьеру — конечно, это был не он. Это был австралийский чёрный лебедь, только и всего.

Превосходный орнитологический музей на бывшей улице Герцена — как утверждают, один из лучших в мире — заслуживал более внимательного осмотра. Посетители вроде меня были здесь редкостью. Толпа школьников, целый класс, плелась за учителем. Мне указали на дверь заведующего музеем; я застал его в кабинете за учёными занятиями.

«Тот, кто уделяет повышенное внимание своей внешности, — задумчиво проговорил он, поднимая голову от стола. — Шесть букв...»

Я сказал: «Павлин».

Заведующий был в восторге. Такую должность обычно занимает добрый человек, несостоявшийся учёный, в ожидании скромной пенсии. Заведующий сложил газету с кроссвордом и вызвался быть моим экскурсоводом. Миновал несколько залов, мы подошли к витрине фазановых.

«Хотя иногда, — заметил он, — их относят к семейству куриных».

Я невольно залюбовался, перед нами, как живой, стоял синий с золотистым отливом *ravo cristatus*, в Древнем Риме, сказал заведующий, эта птица была посвящена богине Юноне.

Я возразил: «Но меня интересует Чёрный павлин».

«Да, да... На родине павлинов, в Индии и на Цейлоне, существует два подвида, один из них, *ravo cristatus nigrispennis*, отличается от обыкновенного чёрными блестящими перьями на плечах, о чём говорит само название...» Он подвёл меня к следующему чучелу.

Я извинился, сказав, что мне совестно злоупотреблять его временем. Заведующего ждал кроссворд. Мы вернулись в кабинет.

«Надо вам сказать, что павлины, несмотря на давность одомашнивания, в общем-то не отличаются от своих диких предков. Иногда встречаются разновидности с чисто белым оперением. Но что касается... — он покачал головой, уселся за рабочий стол. — Боюсь, что не сумею дать вам нужную справку. Надо поговорить с нашим консультантом. Это большой авторитет в орнитологическом мире».

У меня нет ни родственников, ни близких друзей в Москве. Гостиницы дороги. Мне повезло: завмузеем разрешил провести ночь на диване в его кабинете. Академик-консультант, старичок с облачком седых волос вокруг черепа, ласково глядя на меня снизу вверх из кресла-катаки, — это было на другой день, — сообщил, что в мире пернатых, как и во всём биологическом мире, время от времени происходят мутации. Я заметил, что кое-что мне об этом уже известно.

«Охотно верю. Вероятность появления абсолютно чёрного представителя фазановых крайне невелика. Тем не менее исключить этот феномен невозможно. Причуды генетики непредсказуемы».

«Значит, всё-таки это бывает?»

Академик слегка развёл руками.

Я спросил: где можно его найти? Нигде, сказал он, улыбаясь, но тем не менее...

«Что — тем не менее?»

«Тем не менее опровергнуть его невозможно».

Как говорит принц Гамлет: there are more things... И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости, Горацио! В небе, подумал я, и меня осенило. В общем читальном зале Ленинской библиотеки, обложившись атласами и словарями, я разглядывал карты небесного купола, каким его видели и воображали звездчѣты разных веков. Увы, ничего похожего на созвездие Чѣрного павлина.

Меня могут упрекнуть в суеверии, но больше, чем учёным объяснениям, я верю снам. Я пришѣл к выводу, что Чѣрный павлин вообще не принадлежит к сфере науки.

Я успел скопить кое-какие сбережения. Уволился с работы. Цельный месяц ушѣл на выяснение разных обстоятельств, оформление визы; я принял меры к тому, чтобы никто из друзей и знакомых не мог меня разыскать. Конечно, я не собирался никому докладывать, что намерен уехать. Если бы я рассказал о своих планах, меня подняли бы на смех. Ольге (я ограничился тем, что позвонил ей по телефону) я сообщил, что на некоторое время — как долго, сказать не могу — прерываю с ней отношения. Она приняла это известие весьма хладнокровно. Три года тому назад она родила, убедив мужа, что это его ребёнок. Я не счѣл нужным попрощаться с девочкой.

Прямых рейсов не было, я летел с пересадкой в Карачи. Прибыли с опозданием, самолѣт на остров уже ушѣл. Вконец измочаленный после долгих часов полѣта, ожидания следующего рейса, нового полѣта в некомфортабельной машине, я, наконец, приземлился в аэропорту Катунайаке. Давно миновал сезон тропических ливней; если бы мне сказали, что здесь вообще не бывает дождей, я бы поверил. Выйдя из самолѣта на трап, спускаясь по лесенке в толпе туристов, под слепящим огнѣм с небес, я чувствовал себя как на раскалённой сковородке. Мне казалось, что здесь никогда не заходит солнце. От аэропорта до столицы тридцать километров. Бастовали водители автобусов, к забастовке присоединились таксисты и железнодорожные служащие, пришлось ночевать в гостинице неподалѣку от аэродрома. Всю ночь я слышал гул самолѣтов. Вдобавок не функционировал кондиционер. Я лежал, обливаясь потом, под простыней, в номере с опущенными жалюзи из бамбуковых пластинок, спал и не спал, и видел всё тот же сон.

На другой день явился мальчик в форменной курточке и предложил свои услуги. Забастовке не видно было конца, делать нечего, я последовал за ним. Отель, жалкий на вид, представлял собой, как выяснилось, заведение двойного назначения и в этом смысле наследовал традиции древнего гостеприимства. Похваля-

ный обычаем предписывает хозяину уступить гостю на ночь свою жену. Посещение подвала входило в стоимость номера. За напитки, курение и что там ещё полагалось платить отдельно. Мы прошли коридор и оказались перед лифтом. Внизу находился другой коридор. Здесь, по крайней мере, было прохладней.

Бой подвёл меня к двери, вокруг которой бежали по четырёхугольнику разноцветные лампочки; я дал мальчику сто рупий, и он исчез. За дверью оказалась прихожая. Очень толстая женщина в сари встретила меня, склонив седую голову и приложив сложенные вместе ладони ко лбу. За портьерой слышалось негромкое брнчание струнного оркестра.

Два музыканта играли на инструментах, похожих на лютню, с длинным грифом и маленьким корпусом в виде луковицы, — вероятно, это был ситар, — третий потряхивал бубном с колокольчиками. С потолка свисал светильник из цветного стекла. Комната устлана циновками, справа и слева находились кабины. Кажется, я был единственным посетителем. Я обернулся, услышав пощёлкивание пальцами: это была женщина, миниатюрное существо с обнажёнными руками, на которых висели браслеты, в шёлковом одеянии, похожем на переливчатое оперение птицы, — черноволосая, жёлто-смуглая, с ярким искусственным цветком над левой бровью, с глазами, как угли; трудно было сказать, сколько ей лет. Я сбросил свою европейскую одежду и тоже облачился в шёлк.

Я лежал на подушках, огонёк теплился на треноге, девушка разминала между пальцами коричневатый комок, катала между ладонями; она вручила мне длинную бамбуковую трубку, в которую была вделана чашечка в виде конуса, с отверстием на дне, насадила шарик на кончик иглы, разогрела и погрузила в чашечку. Я спросил на международном языке: что это, опиум?

Она выдернула иглу, шарик остался на дне.

«Если бы это был опиум, я была бы тебе не нужна».

«Почему?»

Она усмехнулась моей наивности.

«Потому что — или опиум, или женщина».

Так что же это, спросил я.

«Попробуй».

Я вдохнул дым — тонкую струйку — и ничего не почувствовал. Играла слабая музыка. Зачем-то я спросил: «Ты откуда?»

«Да», — сказала она.

«Ты не ответила».

«Я с севера».

«Но там идёт война».

«Я ещё дальше. Из Бенгалии».

Тут я почувствовал что снадобье начинает действовать, мне стало необыкновенно хорошо. Я потянулся к девушке с цветком на виске, чтобы поцеловать её. Где-то я читал, что в азиатских борделях не полагается сразу приступать к делу. Я был в состоянии вести вполне разумную беседу, мне даже хоте-

лось говорить, но, кажется, я говорил сам с собой, во всяком случае, с трудом понимал, кто из нас спрашивает, кто отвечает. Я спросил себя — или она меня спросила, — зачем я здесь. Я ответил. Да, но что ты имеешь в виду? Она тебя преследует? Или бежит от тебя? Я ответил, что действительно знал человека, который гонялся за женщиной. И без всякого успеха.

«Скажи мне: как она выглядела?»

«Не знаю».

«Она была похожа на меня?»

«Для этого нужно, — сказал я, показывая на её сари, — чтобы ты сняла это».

«Сниму. Немного погодя».

Вопрос, продолжал я, существовала ли она на самом деле. Вопрос, существуем ли мы. Но не в этом дело. Собственно говоря, это не она, а он.

«Понимаю. Но у нас здесь только женщины».

Я забыл, как по-английски павлин. Реасоск.

«Причём тут реасоск?»

Я объяснил. Если только он существует на самом деле, добавил я.

Она важно кивнула.

«Разве ты его видела?»

«Да ведь их сколько угодно», — сказала она, видимо, всё ещё не понимая меня.

Мне нужно было ещё о чём-то спросить, но о чём? Я не мог вспомнить. Наконец, я сказал:

«Как тебя зовут?»

Она назвала своё имя, трудно было разобрать: Бхакти или Бакти, что-то похожее. Что оно означает?

«Ты слишком много говоришь, разве для этого мы здесь? Сделай тебе ещё одну трубку?»

«Если он существует, — сказал я, стараясь поточнее выразить свою мысль, — то это ещё не значит, что существуем мы. Если же это фикция, если он — изобретение моего ума, то это, по крайней мере, свидетельствует о том, что моё сознание существует; отсюда следует, что существую и я».

Выслушав меня, девушка осторожно взяла из моих рук бамбуковую трубку, — это была уже вторая трубка, — сделала длинную затяжку, вынула цветок из причёски. У неё были узкие бедра, прохладные ягодицы, как два продолговатых плода, тщательно выбритая, синеватая дельта.

Это была мастерица своего дела, началось нечто такое, чего мне ни разу в жизни не дано было испытать, — после чего я окончательно уснул.

Мне удалось сговориться с водителем сингалезом, владельцем обшарпанной «тойоты». Я ожидал, что он заломит цену куда выше. Сперва он повёз меня из Котте в Коломбо, ехал через кварталы, которые считал красивыми. Здесь, по видимому, не существовало правил уличного движения, что

заставляло водителей соблюдать вежливость, не известную в Москве. Мы двигались в нескончаемом грохоте, в лавине машин, у подножия небоскрёбов и мимо зданий колониальной эпохи. Проехали мимо Queen's House, над которым теперь развевалось зелёно-оранжево-пурпурное полотнище Социалистической республики Шри Ланка; далее начинался район дворцов и вилл, это был социализм богатей. Впрочем, другого социализма не бывает.

Полиции не было. Вместо полицейских там и сям кучками стояли с автоматами поперёк груди солдаты в плоских английских шлемах, в куртках цвета хаки с распахнутым воротом, в коротких штанах. Бои с тамильскими «Тиграми освобождения» шли далеко на севере, но зловонное дыхание войны чувствовалось и здесь. Дыхание войны обдавало всех. Нас останавливали контрольные посты. Смуглый с янтарным отливом офицер разглядывал мой паспорт. Парк с широкой аллеей и дворцом, похожим издали на вашингтонский Капитолий, был окружён пятнистыми бронетранспортёрами. Водитель остановил машину возле табачной лавочки, вернулся с газетой, щёлкал языком и кивал, как будто ничего нового не находил в новостях. Мы снова двинулись, он передал мне газету. Накануне президент республики — женщина — была убита выстрелом на коротком расстоянии после выступления в ратуше, а в Уру, во время налёта на военный аэродром, «Тигры» уничтожили чуть ли не всю ланкийскую авиацию. Со стороны Индийского океана приближался ураган. Жрецы храма в Нувара-Элия по-прежнему отказываются предсказывать победу ни одной из воюющих сторон. Инфляция поднялась ещё на четыре процента. Я задремал. Меня разбудили толчки и крики, машина подпрыгивала на выбоинах, город был позади, вдоль дороги на много километров растянулся базар сидячих и бродячих торговцев, фокусников, несовершеннолетних жриц любви, лавок и лавчонок с дарами моря и плодами земли, сильно пахло корицей, эта страна, говорят, производит больше корицы, чем весь остальной мир. Внезапно всё прекратилось; автомобиль набрал скорость, навстречу неслись куртины пальм. Справа от шоссе, под бледным от зноя небом стоял недвижный серо-стальной океан. Кто-то ехал вместе с нами, очевидно, шофёр посадил попутчика, но не было сил и желания обернуться, сонливость одолевала меня.

Чахлый мотор едва тянул, когда мы поднимались наверх, потом дорога становилась ровнее, снова подъём, это было ступенчатое нагорье. Травянистые пустоши, чайные плантации, вот он, тот самый, знаменитый цейлонский чай. Серая зелень казалась мёртвой. Океан отступил. Дорога вела через степь к горизонту в лиловой мгле.

«Проснись», — детский голос пропел под ухом, я повернул голову, налитую жидким свинцом, и увидел маленькую женщи-

ну на заднем сиденье, откинувшись, она смотрела в окно. Шофёр, неподвижный, как изваяние, сжимая руль, глядел прямо перед собой.

«Раз уж ты здесь, сможешь мне найти павлина», — пробормотал я.

Она улыбнулась.

«Странный ты тип, — сказала Бхакти. — Может, у тебя не всё в порядке?»

На ней, вопреки обычаю (насколько я мог об этом судить), был платок из чёрного полупрозрачного шёлка, чёрное одеяние. Она обменялась короткими фразами с водителем, он отвечал сквозь зубы, не оборачиваясь. Прошло ещё сколько-то времени, прежде чем мы достигли окрестностей Ратнапуры.

Машина затормозила. В чём дело, спросил я. Бхакти объяснила, что шофёр отказывается ехать дальше, я поинтересовался — почему? В окрестностях нет бензоколонок, вдобавок здесь обитает враждебное племя. Она остановила закутанную в белое, тёмную и сморщенную старуху на двуколке с быком; колёсами служили выпиленные из цельного ствола крутяки. Ещё в самолёте я проштудировал несколько путеводителей и был готов к тому, что тут почти не говорили по-английски. В деревне нас окружили пузатые голые дети. Джунгли почти вплотную подступили к селению, и над ними стоял огромный огненно-багровый шар.

Нас отвели в хижину из смеси песка, глины, навоза и мелкого камня. Старуха принесла поесть и пропала. Мы улеглись друг возле друга на циновку. «Мы найдём его, — сказал я, — это хорошо, что ты здесь». Она молчала. «Ты спишь?» — «Да. И вижу тебя во сне». — «Может, и ты мне снишься?» — «Почему бы и нет. Это бывает. Всё бывает, — сказала она, зевнув, — кроме того, чего не бывает... Я ушла отсюда. У меня есть сбережения».

От возбуждения, ожидания, предчувствия, что я у цели, я не мог заснуть. Она тоже не спала и придвинулась поближе.

«Хочешь меня? Ты успокоишься, иди ко мне... Я не могла тебе сказать раньше. Я хотела, чтобы ты убедился, — шептала она, — таких птиц на свете нет, это сказка... Завтра мы уедем. Я увезу тебя, мы поедем ко мне на родину. Ты всё забудешь».

«Ты лжёшь!» — сказал я. И вышел из хижины. Солнце только что закатилось. Старуха в белом сидела на пороге. Не было слышно пения птиц, в деревне все спали.

Я рассказываю об этом, как будто мне приходилось не раз бывать в этих краях. На самом деле я не имел представления о том, где я нахожусь. Тьма упала, словно мне навсегда потушили зрение. Медленно, но верно лес наступал на деревню. По тропе, кем-то прорубленной, уже успевшей зарости травой, на ощупь, без мысли о том, как я буду возвращаться, вернусь ли вообще, я продирался всё дальше, пока не открылась прогалина, и чёрный павлин ночи распахнул надо мною свой усыпанный звёздами хвост.

Как встарь

Тверская.
 Ночь.
 Фонарь.
 Кафе.
 Прозрачный ливень.
 Томик Блока.
 Мое окно.
 Я подшофе.
 Так хорошо —
 Так одиноко.
 Себя на собственном суде
 Сужу —
 Нет горше приговора.
 Я — мастер мести.
 Но — себе.
 Как некогда сказал Соснора.

* * *

Запада плоть измочалена.
 Желтый сгущается цвет.
 Мальчик, похожий на Сталина,
 Пишет автопортрет.

Бес улыбается тщетно.
 Видно, что это бандит.
 Так притворяется Этна —
 Мол, утомленная спит.

Кроткий стою, как ягненок,
 Вижу наш мир без прикрас.
 Господи, дай нам силенок
 Выстоять в тяжкий час.

Эпоха

И жулье, и сатрапы.
 И лютуют — чуть что.
 Кроме мамы и папы
 Не поможет никто.

Всюду наглые рожки,
 Все чего-то хотят.
 У меня, впрочем, тоже
 Не апостольский взгляд.



Вот такая эпоха.
Не эпоха — г...
Это плохо? Не плохо.
Это то, что дано.

* * *

Выдумка, тщеславие, мура.
Призрачная, зряшная победа.
Глупая отвага комара,
Севшего на щеку людоеда.

Боже мой, о чем я, да о ком?
Словеса твердеют в укоризне.
Подступает к горлу влажный ком.
Я не о своей ли часом жизни?

* * *

Я высох. Я похож на мумию.
Гнию, как выпившая рыба.
Хандрить? И даже не подумаю.
Я говорю: спасибо.

Спасибо, жизнь, за то, что дадена.
Спасибо и, друзья, и, вороги.
И этот шрам, и эта ссадина
Мне, как счета в Сбербанке, дороги.

Спасибо тыщу раз и более.
Мне вырезали страх, как грыжу.
Я видел, как цветут магнолии.
И вновь когда-нибудь увижу.

2010

Владимир СИМОНОВ

/ Санкт-Петербург /



Зачарованная продавщица

(рассказы)

РАКОВИНА

Год от года это становилось для Марины все тяжелее. «Это» имеется в виду день рождения Игоря. И не то чтобы обидно было, что теперь, собравшись, они все говорят исключительно о своих болячках или начинают спорить о том, о чем вообще-то спорить нельзя, причем каждый старается перекрычать другого и доказать свою правоту. По уже не так звучало разбитое пианино, хотя они каждый год вызывали настройщика. Уже не так тянуло закрыть глаза и слушать, как кто-то играет старые шлягеры. Словом, ощущалось течение времени, а Марина не любила это чувство.

Впрочем, сама она изменилась мало, и внешне по ней ничего нельзя было сказать. Все такая же невысокая, худощавая, подтянутая, с большими карими глазами и приветливой улыбкой. Вот только когда они в последний раз возвращались с Игорешей из филармонии и поднимались в лифте, он вдруг начал биться головой о дверцу, и, хотя ей легко удалось его успокоить, с тех пор все изменилось. И в ней поселился страх.

Но в тот год все воспринималось как-то иначе, и, несмотря на октябрь, она открыла все окна, так что показалось, что лето и они скоро поедут в Коктебель. Во всем есть отрадные моменты — главное вовремя о них вспомнить. «Игореш! — крикнула она мужу, возившемуся на кухне, — а Коля придет?» — «Обязательно! — радостно отозвался тот, — но ты все-таки позвони ему, для приличия...» Последнее прозвучало не совсем понятно, поскольку Коленька был непременно гостем на всех днях рождения Игоря и особого приглашения ему не требовалось, но...

Марина набрала номер какой-то конторы, где Коленька в последнее время служил то ли сторожем, то ли директором, и,

через положенные пять звонков услышав его шепелявый, заикающийся голос, окончательно успокоилась. «К-кочечно, — ответил он, явно довольный звонком — выходило, что Игореша был прав. — Не заблужусь, п-подруга». Марина повесила трубку с чувством глубокого удовлетворения.

Пьяница он, конечно, был еще тот, этот Коленька, но при всем том обаятельнейший человек. Обаятельнейший и гениальный. Особенно его гениальность проявлялась в том, что он всегда садился в сторонке от общего стола и молчал.

Ее родители ему никогда не нравились. Особенно отец, которого он за глаза называя «ракушечником» из-за удивительной коллекции ракушек, которую тот привез с Красного моря. Расставленные по всей гостиной ракушки были красоты необыкновенной и все пели на разные лады. Но Игорь словно не хотел этого замечать и все твердил свое. Было в нем какое-то упрямство. И это нравилось, и не нравилось Марине.

В дом Игоря она перенеслась словно по волшебству, и все здесь ей, большую часть жизни прожившей на первом этаже, за Невской заставой, казалось непривычным: и дворы, с высоты шестого этажа похожие на соты, и простор, и лифт, и книги повсюду, и сам Игорь.

Родители у него тоже были непростые. Отец, Тихон, с кустистыми, врезает бровями, почти мефистофельскими, только светлыми, ходил бочком и на цыпочках, боясь малейшим неосторожным движением побеспокоить жену, Лину Федоровну. Встречая соседей, он широко улыбался, не разжимая губ и жмурясь, похожий на вставшего на задние лапы кота. Как тихо жил, так тихо и ушел — бочком, на цыпочках — словно и этим боялся кого-то потревожить. Супруга его, Лина Федоровна, напоминала Екатерину Великую, не столько внешностью, сколько манерой величественно расхаживать по квартире, стуча палкой и вынося любезные, но по-армейски жесткие суждения обо всем и вся. Иногда она даже спускалась к нам — проверить: «Все ли в порядке».

Первая жена Игоря умерла совсем молодой, от рака, и, судя по всему, он до сих пор любил ее. Во всяком случае заказал портрет, который художник не без умысла выполнил в несколько восточном духе: смуглянка с непроницаемым лицом, в шафрановом сари, сидит, поджав ноги, на полосатой циновке возле открытого окна.

От первого брака у него осталась дочь, вылитая мать, которая нежно относилась к Игорю и после школы, недолго думая, родила внука. Она часто привозила карапуза к деду; тот отчего-то невзлюбил Игоря, все время махал на него рукой и называл «кАкой». Марина все это замечала и ломала голову над тем, как бы примирить поколения, но ничего не могла придумать. Зато сам Игорь — потом он со смехом рассказывал Карине — применил одну уловку, и очень успешно. Проходя мимо Темы, как ус-

ловно называли малыша, он приостанавливался, тихонько пукал, улыбался, совсем как Тихон, а затем проходил дальше, как будто ничего и не было, И внучок привык.

Прекрасный стоял денек. Сам по себе праздник. Солнышко светило. Ветерок подувал. Бабье лето. Поэтому Игорю было приятно, что жена отправила его за покупками, хотя вообще он этого и не любил.

До рынка было близко. Обогнуть Концертный зал и — наискосок через садик. Игорь шел не спеша и дышал. В его лице с тонкими губами, римским носом, выпуклым лбом и вьющимися золотистыми волосами было что-то вдохновенное.

Марина сделала это специально. «Надо же время от времени и одной побыть», — говорила ее вечная подруга по корректорской Тина, которую Игорь не выносил: — Она и с пьяными матросами, и под гнилой лодкой!.. Что ж, все мы кого-нибудь не любим, и ничего тут не попишешь. Никогда не полюбишь то, чего полюбить не можешь. Но Марине было как-то приятно и волнительно, что сегодня Игорь будет делать покупки сам.

Игорь не торопясь прошел через скверик, где почти сплошь росли молодые деревца, уже почти все пожелтевшие, и играла под присмотром бабушек мелкота.

Единственное, чего ему, пожалуй, не хватало, так это какой-то особенной памятности. Ну, чтобы день этот был отмечен чем-то памятным (кроме его похода на рынок), о чем потом приятно вспоминать. Жена ужа давно не делала ему подарков — как-то само собой сошло на нет, а друзья — чем дальше, тем больше — дарили все какую-нибудь смешную чепуху.

Но ведь если из всей жизни потом будет вспоминаться одна только смешная чепуха, это будет уже совсем не смешно. Последние два года к Тихону ходила работница собеса, собесиха — ответственный и исполнительный человек. Но в какую-то минуту ей надоедало быть серьезной, и она все обращала в игру, хохотала сладострастно. Однако есть ведь и другие люди, и еще сколько: какая-нибудь мелкая жизненная неудача разрастается для них в лавину бедствий и неудач.

Сегодня Игорь празднично остро чувствовал свою принадлежность к этой, суеверной части человечества, и ему всерьез хотелось хорошей и опять-таки памятной приметы.

На рынке было душно, толкались. Игорь ходил по рядам и ни на чем не мог остановиться. Уже третий день у него было расстройство желудка. Он принял таблетки, но все равно боялся, что при гостях может подпереть. Будет обидно.

Вот торговка овощами разинула рот, и ему почудилось, что она сейчас разразится итальянской арией. Но та только зевнула и снова захлопнула пасть. Нет, ждать неожиданных памятных подарков от жизни нелепо, надо устроить их себе самому. Игорь почувствовал себя юным мичуринцем.

Рыночные ряды были полны соблазнов. Чего стоила одна хурма — оранжевая, пламенная, налитая. Игорь купил кило хурмы и кило маринованного чеснока. Такое сочетание уж точно запомнится.

Уже проталкиваясь к дверям, он заметая на них рекламку: «За частушку с летним днем Телевизор выдает». Под надписью корова жевала ромашку. Может, из-за какой-то легкой невнятности она прицепилась, бывает, и Игорь все твердил ее на ходу, пока не понял, что такую частушку ему самому никогда не сочинить и что это есть и останется самым памятным.

«Бал отшумел, погасли свечи». Конечно, было бы сильным преувеличением сказать так, но Марик, как всегда, ковырял на пианино, и мне, жившему этажом выше, это было прекрасно слышно через открытые окна, а у Марины на душе остался легкий послепраздничный осадок: и облегчения, и сожаления оттого, что гости ушли и она осталась одна — наедине с разворощенным столом, хотя и то сказать — последнее время гости расходились все раньше и создавалось неотвязное впечатление, что они приходят для галочки и поесть.

Впрочем, в комнате она была не одна. В кресле в углу сопел и тихонько матерился во сне пьяненький Коленька. Куда ж его было такого отпускать? Уснул. А ей даже хотелось, чтобы он начал бить посуду и крушить мебель, чтобы его пришлось держать, а он вырывался. Хотелось приключения. Физически прикоснуться. К маринованному чесноку так никто и не прикоснулся, зато хурму съели всю. Впрочем, у Коленьки в кулаке была зажата головка, с которой на пол натекла лужица.

Игоря не было. Наверное, пошел провожать. Она выключила верхний свет и зажгла торшер. В комнате стало еще тише и совсем одиноко. И тут она услышала, будто на кухне кто-то тихо топчется. Марина быстро, чтобы не испугаться, прошла на кухню, где свет бушевал вовсю. У раковины, куда она не успела снести грязную посуду, стоял Игорь, согнувшись вдвое, низко опустив курчавую голову и припав ухом к дырчатому дну. Почувствовав, что кто-то вошел, он выпрямился и поднес палец к губам. «Т-с-с! — сказал он. Тише! Слышишь, как поет?..»

ХОРЕК

Почти каждый вечер мы гуляли с женой по Бассейной, особенно после того как там перекрыли трамвайное движение. Гуляли не спеша, чинно, под ручку. Напротив рынка был скверик, где можно было посидеть и покурить. Собственно, курил только я, а жена просто сидела рядом и смотрела в небо. Она легко прощала мне вредные привычки, но сама не поддавалась никогда.

На полтора час прогулки мы как бы выпадали из времени, и вокруг могло происходить что угодно. Прогулки, как некогда и ключевые футбольные матчи, происходили «при любой погоде».

Не могу сказать, чтобы я особенно запомнил тот вечер. Помню только, что собирался дождь. Он и пошел, мелкий, теплый, но мы не торопясь продолжали маршрут. Единственное, что помню достаточно хорошо, это что почти от самого дома на трубах пестрели свежие объявления — квадратики ярко-белой бумаги, бросающиеся в глаза на фоне пожухших и старых.

Возле одной из труб, у самого рынка, жена все-таки остановилась, и мы стали читать. Набранный на компьютере текст был рассчитан больше на то, чтобы умилить прохожего, чем пробудить у него настроенность и интерес.

«Уважаемые господа! Третьего дня у нас потерялся хорек. Очень симпатичный, с белой грудкой и мордочкой. Ласковый. Он. Просьба вернуть за солидное вознаграждение!» Последнее слово, разумеется, было набрано крупным шрифтом.

— Чушь какая-то, — сказал я. — «Хорьки в городе». Похоже на название фильма то ли романа.

Жена не сказала ничего. Покурить не удалось из-за дождя.

А назавтра жена стала собираться в гости.

Сборы, как правило, начинались с того момента как она вставала и прозябались в самомалейших мелочах, которые посторонний, наверное, и не заметил бы, но с ними к нашей обычно размеренной жизни примешивалась тихая, истеричная суетливость. Жена то вдруг принималась искать подаренные мной на какую-то годовщину клипсы, то одно за другим примеривать платья, и все вместе чем-то напоминало оснащение парусного судна.

Уже одевшись, она заглянула в мою комнату, чтобы дать мне возможность оценить ее выбор и вкус. Я посмотрел в окно. Снова стал собираться дождь. Жена закуталась в пышный меховой платок.

— Лучше зонт возьми, вымокнешь, — сказал я, но она только улыбулась, подубернувшись.

Весь вечер какой-то идиот за стеной играл на металлофоне. Взрослый или ребенок — непонятно. Но из-за этих нестройных назойливых звуков я решительно ничем не мог заниматься.

Вполголоса проклиная придурка, я пошел на кухню варить сосиски. Есть не хотелось, но здесь по крайней мере не было слышно параличного треньканья из-за стены.

Пока кипела вода, я включил маленький телевизор, стоявший на холодильнике. Показывали какой-то итальянский футбол, который я в обычное время с удовольствием бы посмотрел, но ожидание держало меня на взводе не хуже металлофона, — это особое состояние, когда все чувства обостряются и человек, словно вдруг лишившись крыши над головой, начинает прислушиваться к хлопанью всех дверей в доме.

Вода закипела. Дождь лил вовсю.

«Привычка свыше нам дана,/ Замена счастию она». В последнее время с этими словами не спорит только ленивый. Ну, как можно было написать такую глупость? Разве привычка может заменить счастье? Привычка это что-то скопленное за долгие годы, основательное, пахивающее щами и послеобеденным сном, тогда как счастье это полет, нечто неуловимое, готовое затеряться в толпе...

Но разве не бывает до боли жалко людей, исчезнувших навсегда, с которыми мы так и не сошлись, — людей, к которым успели всего лишь привыкнуть?

Но вот снизу тронулся лифт (этот звук я ни с чем не мог перепутать), крякнула разбухшая от сырости дверь, и, отряхиваясь и улыбаясь, на пороге возникла жена. Платок она крепко держала в руках, и оттуда поблескивали две черные бусины.

— Вот!

Сюрпризы не всегда бывают вовремя, но я проявил какую-то дьявольскую сообразительность и сразу все понял. Понял и стал судорожно припоминать, что же, собственно, я знаю о хорьках. Оказалось немного, и только все время не лезло из головы, что они дают кур.

— Ну, давай, сыграй же что-нибудь! — сказала жена, будто ждала этого мгновения всю жизнь.

Я по инерции достал из халата дудочку и, только было начал что-то наигрывать, как хорек замер.

— Вот видишь, — сказала жена, по-прежнему улыбаясь, — давай дальше.

Я не без трепета помог ей спустить хорька на пол. Он как будто заколебался, но я сыграл еще один фальшивый пассаж, и он тут же встал на задние лапки и вытянулся по стойке «смирно».

— Мы назовем его Паганини! — весело откликнулась жена, но я довольно жестко прервал ее: — Нет, мы назовем его Чао!.. — А Света сошьет ему форму, — подхватила жена... — Ну, конечно...

После долгих уговоров и перестав обращать внимание на непоседливость зверька, Света сшила ему флотскую курточку и даже достала какую-то морскую фуражку в цирке лилипутов, так что Хорек стал как две капли воды походить на нашего консьержа.

Самое, пожалуй, трудное — описать бездуховность. Не за что зацепиться, хотя бездуховность и может быть колоритной. Но это поверхностное, внешнее, а копни вглубь, и наткнешься на вечную мерзлоту.

Поэтому те, кому удастся одухотворить бездуховное, — счастливые люди. Взаимность чувства уже дает такую возможность.

Да и потом кто сказал, что хорек — существо бездуховное?

Постепенно я привык, только не позволяя ему спать на нашей постели. Привыкнуть не удалось только к двум вещам: пропитавшему всю квартиру звериному запаху (хотя мало ли, от кого чем пахнет, да и сам Хорек вел себя молодцом — ходил только в тазик) и к его привычке лазать по занавескам. Впрочем, последнее, вероятно, заменяло ему естественную среду и кур. Перед сном он аккуратно складывал свою курточку и клал сверху фуражку, хотя никто его этому никогда не учил.

Последнюю неделю жену выводило из себя, что у соседней с утра до ночи что-то сверлят, — похоже, они отважились на евро-стандарт.

— Будь у тебя деньги, ты бы тоже сверлила, — говорил ей я в утешение, хотя шум меня тоже раздражал.

— Да, но я боюсь, как это отразится на Паганини, — жалобно отвечала жена.

Вообще в последнее время она заметно посчастливилела, как забеременела, и движения ее приобрели какую-то многозначительность. Улыбалась она реже и не так ослепительно, как в первый вечер, но след улыбки остался на губах, как позолота на вытертой коже.

Ежевечерние прогулки продолжались, но теперь к нам присоединился и третий участник. Жена купила ему шлейку и поводок, на каком водят такс. Перекуры в сквере сами собой сошли на нет; вероятно, зверек каким-то образом прививал нам здоровый образ жизни или, по крайней мере, понятие о нем.

Через месяц жена подарила мне комплект носовых платков.

И вот однажды он исчез.

Язык не поворачивается сказать «в один прекрасный день» — ни в прямом, ни в переносном смысле, потому что погода то ли повернула вспять, то ли ее повело куда-то в сторону, но то, что творилось за окном, куда больше напоминало осень, чем начало весны.

Исчез непонятно как: за дверьми мы следили, форточки были затянуты сеткой, но главное — все же главное, — это почему живое существо уходит оттуда, где ему хорошо?

Соседи, видевшие, как мы выгуливаем случайного питомца, недоумевали. Как-то раз одна из них подловила меня во дворах, потянула за рукав в сторону и что-то быстро зашептала. По ее, выходило, что то ли он сам ушел, то ли соседи снизу заманили его к себе и утопили в ванне с кипятком.

— А что? Они такие, от них всего жди!.. — почти крикнула она, уже уходя.

ЗА МИЛУЮ ДУШУ

Вертинский пишет: «Одно блюдо из их меню, помню, приводило меня прямо в ужас. Это так называемый «айсбайн» — огромная воловья нога, отваренная в супе, которая подается цели-

ком, как она есть. Я, помню, задрожал, впервые увидев, как ее едят. Сперва с ней справляются ножом и вилкой, срезая с нее мясо и жир. Потом эту огромную мосальгу берут в обе руки и начинают обгрызать. Настоящий обед каннибалов!..»

Как правило, люди боятся смерти. Хотя бы как неизвестности. Некоторым удается смириться или перебороть, пережить этот страх. В самом деле, невозможно не бояться смерти, не любя жизнь. А некоторые так и живут с этим страхом, что нелегко.

Именно это я думал, глядя на уютно свернувшуюся на диване Инну. Однажды побывав у меня, она сказала, что это слишком аскетично, не хватает домашнего тепла. Зато у нее вся комната была завалена подушками и подушечками, кошмами, увшана мохнатыми зверюшками.

Нет, наверное, я думал это, когда ехал на маршрутке, — когда движеешься, всегда так хорошо думается. Или в прошлом месяце или году? Какая разница! Все равно эти мысли с буквальной точностью всплыли у меня в памяти, когда, я глядел на уютно свернувшуюся на диване, снедаемую страхом смерти Инну, в любую минуту готовую прыснуть...

Инна сновала по кухне, если так можно выразиться о пространстве размером с носовой платок, но получалось легко, изящно — дело привычки. Помню старинный американский фильм «Квартира», где герой точно так же ловко управлялся у себя на кухне: не глядя включал газ, не глядя открывал шкафы и выдвигал ящики, словом, жил не глядя, пока...

По маленькому телевизору показывали какой-то фильм о балете. Все фильмы о балете одинаковы. Изначально есть «он» или «она» — скажем, он, который почему-то всегда ставит «Жизель» и учит других, как надо жить в искусстве. У него всегда хмуро озбоченный вид, потому что его никто не понимает; этому придают еще большую правдоподобность залегшие еще, вероятно, с детства глубокие морщины. На ходу, как бы думая вслух, он выделяет умопомрачительные па, рассчитанные если не на восторг зрителя, то по крайней мере на ностальгию, пока...

В жизни Инны их появилось сразу двое. Смешанная пара — белый и афроамериканец, — которые вежливо попросили ее остановиться на жизненном пути и посмотреть альбом с религиозными репродукциями. О, они знают, кого останавливать, — эти уличные проповедники, эти ловцы человеков!

Через неделю Инна уже ходила в общину — и от дома недалеко, — которая преимущественно занималась просветительской деятельностью, но, как ни крути, а это было дело, где речь шла о спасении души, дело, заставившее отказаться от вредных привычек да к тому же дающее категорическое ощущение собственной значимости, а это вам не хухры-мухры!

Засвистел чайник, и передо мной как-то неожиданно возникло блюдечко с чем-то тонко порезанным и тщательно переме-

панным. «Кальмары с капустой, — пояснила Инна, — очень полезно...» Я осторожно подцепил на вилку эти безвольные водоросли, отправил в рот и мысленно содрогнулся.

В последнее время люди совершенно утратили чувство юмора. Если ты придешь к ним в гости и скажешь, что не хочешь переобуться в драные тапочки, то они посмотрят на тебя зверем и больше не пригласят. А уж если скажут, что в ближайшее время пойдут голосовать за коммунистов, то — поверьте — так и сделают.

Поговорили о болячках, но тема быстро исчерпала себя. Помолчав, Инна сходила в комнату за платком, еще помолчала и, пристально глядя на меня, произнесла: «Ты невыносимый зануда и законченный эгоист». Я попробовал было оправдаться, хотя меня это здорово разозлило, но Инна, высказав очередное безапелляционное суждение, словно тут же забывала о нем.

Возникла неловкая пауза. «Пошли, я тебе кое-что покажу», — сказала Инна. Мы вернулись в комнату, и она, ни слова не говоря, сунула мне в руки какой-то атлас, а сама подошла к ширме в углу, которую я сразу и не заметил. Отдернула ее. За ширмой стоял скелет, именно такой, в обнимку с каким любят фотографироваться начинающие врачи — медицинский юмор.

Но Инна и не думала шутить. Выудив из-за спины указку, она не допускаящим возражений тоном сказала: «Следи по атласу!» — и стала поочередно показывать и называть все человеческие косточки — предположительно все, что останется после нас с вами, господа»

Довольно скоро эта импровизированная лекция мне наскучила, и я стал искоса поглядывать в окно, за которым стояла слякотная зима, поздние фонари и ощущение полной безвоздушности окружающего пространства. Инна продолжала бубнить свое, тыча указкой в печень, а я, как в полусне, постоянно отрывивая витаминным салатом, представлял, как холодно и безлюдно сейчас на перекрестке, и даже предчувствовал, как обрадуюсь, когда подойдет обратная маршрутка.

Слишком много приходится стыдиться, и все думаю, нельзя считать, что человек прожил полную жизнь, ни разу не испытав этого чувства,

... То ли потому что был выходной, а дом отличался хлебосольством, то ли по какой-то непостижимой рассеянности, я совсем не удивился, увидев, что в большой комнате у моей подруги детства, к которой заехал за рецептом, накрыт стол и сидящие за ним слегка припаражены и немного пьяны.

«Садись, — повелительно сказала Ольга. — Девочки, подвиньтесь чуть. Вот, нормально... Тебе чего положить?..» Я был голоден, замерз и отнюдь не возражал против такого госте-

приимства. «Я сам», — ответил я, устраиваясь, и сразу потянулся к стоявшей напротив селедке «под шубой» и графинчику на корочках.

— А теперь за родителей! — поднялся сидевший на противоположном конце упитанный молодой еврей и спросил: — Мама-то где?»

— Да с горячим все возится... — ответила Ольга. — Сейчас позову...

В порыве общего одушевления поднял стопку и я, оттаивающим нутром начиная чувствовать, что что-то не так. Ольга даже не присела, а все рассказывала вокруг стола, и вид у нее был какой-то особенный.

— Ну что, еще водочки? — спросил чей-то голос совсем рядом, и, обернувшись, я узнал в спрашивавшей Ольгину школьную подругу, Ларису Окунь, сильно располневшую и с абсолютно седыми висками — а ведь когда-то был влюблен, — и, узнав, понял все окончательно. Мне захотелось провалиться сквозь землю, но было уже поздно... Впрочем, впрочем, если не подавать вида, многое может сойти с рук, даже если они пус-ты.

Перед чаем мужчины вышли на лестницу покурить. Молодой еврей и здесь дал всем прочувствовать свой авторитет, а насытившись, подошел ко мне и протянул волосатую руку. «Да, как годы летят... — Леонид Марксенович, — и, выдохнув дым, он протянул мне свою визитку. — Это, наверно, про вас Ольга столько рассказывала?» Я покраснел. «Мы с Ларкой потом мимо метро поедем, подвезти?..»

Нищие начинают обследование бачков в нашей подворотне ранним утром, а заканчивают только запоздно. Тут же едят, пьют, тут же справляют нужду, исчезают, потом появляются снова. Только любовью они тут не занимаются. По крайней мере я ни разу не видел.

Думаю, попадись им «айсбайн», они долго радовались бы, а потом съели за милую душу.

ЧИСТО СИМВОЛИЧЕСКИ

Почему?

По кочану!

Я сделал глотательное движение и промолчал. В мои намерения вовсе не входило затягивать разговор, и я побыстрее попрощался со своей сумасшедшей подругой. Надо было еще купить папку.

...Короче, я обошел все канцелярские магазины нашего района. Одни были закрыты на переучет, другие переоборудованы под закусовые, в третьих — папок, самых скучных и примитивных папок с тесемками, не было.

В последнем, на углу Маяковского и Кирочной, я простоял довольно долго: меня привлекли календари. Приближался Год Крысы, и облагороженные изображения этих тварей замелькали повсюду, ну а уж на календарях — само собой. Но думал я не о крысах, хоть так и могло показаться со стороны, не об отличиях восточного календаря от зодиакального круга, а о кавказцах из продуктового магазина.

Вчера парень из винного отдела, который скрыто бравировал знанием русского языка и даже в разговоре со мной отчитывал молодежь из соседнего техникума за неумение владеть им, не понял, когда я сказал: «Знаете, с вашей легкой руки...» Он посмотрел на меня ошарашенно, будто я неожиданно ударил его ножом, а когда я, почувствовав неловкость, попробовал объяснить смысл этого расхожего выражения, то понял, как это непросто. «Понимаете, это... как бы по вашему совету... то есть, вы не хотели его специально давать...» Ничего не вышло.

— Простите, — извиняющимся тоном сказала мне молоденькая продавщица, — последняя только что закончилась...

Наверное, у меня стал такой вид.

— Но, знаете, тут через два квартала, перейдете на другую сторону, будет специализированный магазин «Канцелярская Мекка»...

Выходя из «Канцелярской Мекки» с папкой (взял последнюю, хотя лежало много роскошных), я подумал, что они обошлись с нашим прошлым, как с папками. Свернули производство в общегосударственном масштабе. Слава Богу, у каждого есть еще и автономный источник.

Рукопожатие Михаила Эдгаровича было мягкое, безвольное — с таким рождаются. Бульдозье лицо и вообще некий бульдожий налет во внешнем облике, особенно почему-то розовые мешки под нижними веками, говорили о том, что этот человек заспиртован в своем возрасте и ничего не собирается менять, потому что ему и так вполне комфортно. Однако внутренняя энергия, а может, еще один рефлекс, заставляли его во время разговора вести себя довольно странно: туловище намертво застывало на месте, а руками он начинал размахивать так, словно подавал сигналы флажками.

Дверь квартиры была приоткрыта, он вечно держал ее так, но, стоило мне войти, тут же бросился запирать ее на все крючки и засовы.

В дальнейшем тоже просматривался определенный распорядок: сначала надо было сделать дело, а потом смело гулять...

«Проходите, проходите, голубчик, — запричитал Михаил Эдгарович, проводя меня в большую комнату своей маленькой квартиры. — Вот беда-то какая, бра совсем отвалился — видите — на одном гвозде висит, а портьера там... отцепи-

лась, что ли...» Я хорошо знал, где лежит инструмент — гвозди и прочее — и, на глаз оценив размер нерукотворного ущерба, пошел за молотком.

Прибить бра с насюка оказалось трудновато: стена была капитальная, но, покрутив его и так, и эдак, я все же умудрился вколотить пару гвоздей, так что теперь казалось — по крайней мере казалось, — что бра может провисеть веками, ну а отцепившийся уголок портьеры был и совсем плевое дело. Вот только бы не рухнула стремянка, но обошлось.

«Итак, молодой человек, — сказал Михаил Эдгарович, удовлетворенно озирая плоды моего труда, — а теперь мыть руки и прошу к нашему шалашу...» Захватив сумку, я прошаркал за ним на кухню, где уже было расставлено по-царски скромное угощение: икра, бальки... «Мне тоже капните, но чисто символически, — сказал Михаил Эдгарович, пятнистой рукой подымая стопку, — да смотрите, не промахнитесь», — усмехнулся он, видя, как долго я целюсь.

Разговор у нас шел как по маслу. Профессиональное пережедалось с бытовым, и наоборот. Но сегодня Михаилу Эдгаровичу явно не давала покоя одна тема: кто-то из его младших сверстников взялся переводить «Гамлета». «И вы понимаете, — кипятился Михаил Эдгарович, — никак не может перевести одного названия. В договоре даже так и указал: «Гамлет», мол, рабочее название. Говорит — непереводаемо...»

Когда мы прощались, меня уже слегка развезло, но Михаил Эдгарович тактично не обращал на это внимания. И правильно — ведь это в порядке вещей. «Знаете, — сказал он мне уже на пороге, — выживают те, кому мало надо, но у кого вселенские амбиции».

В гастрономе «Литейный» на углу Петрушки открыли разливуху, которая довольно быстро приобрела широкую популярность. Народ здесь собирается разный, но это часть большого народа, а поэтому ее нельзя сбрасывать со счетов.

Тут почти всегда тесно: сгрудились круглые столики, притулился журнальный киоск, но на невысоком подоконнике-приступке у окна тоже можно сидеть и даже чувствовать себя независимо. После Эдгаровича я надолго застрял тут, наблюдая за двумя девчонками на приступке, которые ели пирожные, запивая их кофе.

Со стороны ничего особенного в них не было, но я простоял битый час и успел выпить поддюжины пива, подбирая определение для той, которая меня заворожила. Не стану ее описывать, потому что на таких людях лежит печать, а описать печать невозможно.

И наконец придумал: да, она была похожа, но не на принцессу из сказки Андерсена, а на подружку принцессы, подружку — так! Девчонки болтали между собой, иногда по сотовому, иногда — одновременно, и явно не собирались уходить.

Как раз в этот момент (я уже помешивал плескавшееся на дне пластмассового стакана пиво: не все же глазеть на подружку принцессы) за мой столик встал мужчина, поразивший меня своим глубокомысленным видом. Я взял еще пива, вернулся на свое место и сделан глубокий вдох. Мужчина в упор вопрошающе поглядел на меня.

— Вы читали сказки Андерсена? — спросил я, не очень веря в успех.

— Конечно.

— А какая вам больше всего нравится?

Мужчина назвал несколько самых известных.

— То есть я хочу сказать: вы их в детстве читали или сейчас? — мысль моя понемногу запутывалась.

— В детстве. И сейчас тоже — дочке. Вслух.

Прежде чем я отважился на решающий вопрос, мы оба глубокомысленно помолчали.

— А вот теперь оглянитесь, только незаметно, — вполголоса начал я, — и посмотрите на девочку, вон ту. Она вам никого не напоминает?

Мужчина посмотрел, потом снова повернулся ко мне.

— Да, — нерешительно произнес он, — принцессу...

— Нет! — крикнул я, пожалуй, слишком громко и расплескав пиво. — Нет, не принцессу, а подружку принцессы, понимаете?

— Понимаю, — ответил незнакомец, так что я понял, что он понял меня.

— Вот и скажите ей об этом, пожалуйста, когда будете уходить, — попросил я, окончательно успокоившись, — а то мне пора, но мне хочется...

— Да, да, — торопливо откликнулся мужчина. — Спасибо за компанию.

Передо мной фотография. Странная фотография. Источник света — где-то за стенами, которые, кажется, сейчас не выдержат его горячего соседства и начнут тлеть, вспыхнут, как бумага. Самовар на столе вот-вот расплавится, треснет от жаркого дыхания чайник. Картина на стене не просто криво висит, а вообще болтается на одном гвозде.

У сидящих в этот глухой час за столом совсем разный вид и выражение: у молодого на лице ужас, которого он боится, а почти лысый и седой старик, отвесивший нижнюю губу, уже давно умер, теперь все знает, и ему ничего не страшно.

В глубине угадывается пьянино.

ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ

У многих первый момент осознания себя как бы скрыт туманом. Не помню, когда помню себя в первый раз. А вот что касается моего старшего брата — да. Именно в тот день, когда он отказался есть сыр.

Я был тогда совсем маленьким, он — постарше и вел себя по отношению ко мне несколько покровительственно. Может быть, поэтому меня не слишком смутил его категорический отказ от такой пустячной вещи. Я воспринял это как первое проявление его своеобразности.

Брат собирался в школу, я — тоже, и поэтому завтракали мы вместе.

— Нет! — вдруг сказал он и, отодвинув чай, с отвращением посмотрел на лежавший перед ним бутерброд с сыром. Конечно, я не помню каким.

В маленькой кухне было еще темно, тускло горела лампочка, суетились дедушка и бабушки, и в первый момент никто ничего не понял.

— Нет, — повторил брат с набитым ртом, не внося никакой ясности.

— Почему? — совершенно логично спросил отец, с улыбкой зачесывавший назад волосы в передней перед высоким зеркалом. Он всегда улыбался, причесываясь, несмотря на настроение. Первый плевок угодил ему прямо под лопатку. Месиво слюны и останков бутерброда безобразным пятном потекло по кителю.

Отец побагровел, но от неожиданности и дикости выходки ничего не успел сказать, и мать сразу поволокла его в ванную. Дед и бабушки быстро убрали все со стола.

До школы мы шли молча, хотя меня так и подмывало спросить — правда это или он придуривает?

Не люблю ездить в новостройки. Там город обнажается и запутывается, как мужик в бане, прыгающий на одной ноге, матерящийся и не в силах стянуть вторую штанину завернувшихся брюк.

К тому же я совсем их не знаю, хотя, как доехать до «Икеи», мне объясняли тысячу раз. На милицию я не надеялся. Теперь у станций метро совсем перестали выхаживать милиционеры, у которых можно было все узнать и которым, похоже, даже приятно было, что к ним обращаются.

Конечно, это можно рассматривать и как признак демократизации, но на «проспекте Большевиков» я первым делом столкнулся с молодым милиционером, который еще раз — и очень вежливо — подтвердил полученную информацию и показал, где садиться на маршрутку.

Кто знает, когда начинается и когда кончается жизнь? Не с первым же воплем — не последним же хрипом.

И тогда, в тот ненастный осенний вечер, ты подумала: Вот и кончена жизнь. А она ведь только начиналась, несмотря на пустоту вечера, холодный дождь со снегом, которые были похожи на чужую, необставленную комнату.

До этого была дорога. Туда и обратно. А это очень разные вещи.

Приехав на вокзал первым, я прогуливался вдоль фасада, и, подойдя, красивая необычайно, в фетровой шляпе, ты, со свойственной тебе категоричностью, спросила: «Так ты точно хочешь ехать?» Я тоже не любил двусмысленности и поэтому ответил «конечно», стараясь, чтобы это прозвучало как можно убедительнее.

Бывает, что сам процесс — думать — равнодушен и даже противен. И слова сбрасываются легко, как карты в несложной наскучившей игре, хотя ни о какой скуке не может быть и речи.

Так по дороге туда мы без умолку болтали — на ступенях какого подъезда умер Анненский, пока я не заметил, что говорю один, а она вежливо и благожелательно слушает.

Вот и в парке больше говорил я один — все сбивчивее, громче и задыхаясь, то ли от обступившей тишины, то ли от того, что так стыдливо отворачиваются от нас статуи, то ли потому, что понимал, куда ведут все эти осклизлые аллеи, и боялся посмотреть на тебя: с каждым шагом ты становилась все прекраснее.

Дойдя до озера, остановились. Я сказал что-то срывающимся голосом и замолчал. Ты молчала уже давно, поэтому в молчании твоём было больше смысла, а сейчас ты просто полуотвернулась и глядела на дворец, озеро и на отражения в воде, усыпанной листьями.

Дождик моросил уже давно, хотя заметил я это лишь по каплям на ворсинках твоего пальто. Тогда я медленно притянул тебя к себе и поцеловал, и прохладные, стянутые в ниточку губы вдруг оказались теплыми и податливыми...

Возвращались уже почти затемно, и перед самым городом, когда отзвучало объявление, ты быстро наклонилась и быстро поцеловала меня в губы. «Вот и все...» — сказала ты, и вот теперь ты подумала, но тут позвонил телефон, и счастливый голос мужа сказал: «Буду поздно», — а за рукав его уже тянул смешливый женский: «Скорей, а то на боулинг опоздаем!..»

Маршрутка отъехала битком — столько желающих нашлось купить побольше и подешевле — и минут через десять остановилась у «Икеи».

Боюсь больших магазинов, но этот был особенный (цельный «мир», как, наверное, написали бы в проспекте) — магазин-лабиринт, где повсюду висели указатели и на каждом повороте стоял молодой человек или девушка с табличками «Саша», «Маша» и показывали, а иногда и чертили схему, как пройти куда следует, миновав Минотавра, и дарили карандашик с надписью «Икея».

Услышав, что я ищу гастрономический отдел, они удивлялись: «Понятно!» — и тут же рисовали мне новый маршрут, обозначая основные точки циферками. «Понятно?» — спрашивали они, и я отвечал: «Да!» — тем увереннее, что ничего не понимал.

Говорят, что море выносит обломки. Так и в большом магазине тебя обязательно вынесет туда, куда нужно.

Гастрономический отдел был маленький, но тут было все. Явно скучавшая продавщица в крахмальной наколке улыбнулась мне шире положенного. На груди ее висела табличка «Тая».

«Сыру? Какого?» — «Самого вонючего!» — ответил я, утирая пот, скапливавшийся на кончике носа и глядя мимо продавщицы. «Кило?» — улыбнулась она.

Я до сих пор засыпаю все в той же комнате. Только странно: утром, просонья, мне мерещится, что в комнате все больше народу — жена, бабушки, дед и даже кто-то незнакомый, может оставшийся после попойки и еще, и еще, но я начинал смущаться только тогда, когда понимал, что никого здесь нет и никогда не будет.

В последние годы мы виделись с братом редко и неохотно. Достоверно я знал только одно: даже свою третью жену он успел приучить к тому, что не любит сыр, не выносит его духа и людей, которые к нему прикасаются. Жена отнеслась к этому как и следует — маленькая причуда, которую не стоит воспринимать всерьез.

Когда у него это началось — не знаю. Не знаю, когда появились боли, но в больницу он попросился сам.

Найти ее оказалось несложно, однако внутри все значительно осложнилось, особенно когда я обнаружил в больнице сходство с «Икеей», только пахло по-разному. К основным корпусам примыкала коммерческая аптека, которую опекало охранное агентство «Амур».

Брата положили в палату на двоих. Он платил за нее бешенные деньги, их откуда-то доставала жена. Как только я вошел, лежавший на соседней койке мужчина встал и, покашливая вышел.

— Как кормят?

— Нормально, сегодня даже овощное рагу было...

Помолчали.

— Нет, а чего ждать, Володя? Чего ждать? — еще настойчивее переспросил брат, словно я в чем-то пытался его убедить. Отнюдь. Убеждать человека, что он прожил жизнь неправильно? Бессмысленно. Да и жестоко.

Поэтому я промолчал, ожидая, что он сейчас скажет, попросит. И не ошибся.

Он попросил сыру.

Через неделю я его еле узнал: он сторбился, улыбаясь кривил рот, и волосы на голове торчали пучками. При всем том он, кажется, повеселел. Сосед снова встал, снова прокашлялся и вышел.

— Через час жена придет, — сказал брат; мы с ней менялись, как караул. — Ну что, принес?

— Принес, — ответил я и поставил перед ним на скомканные простыни мешок.

За окном быстро темнело, и я наблюдал за происходящим как в медленно настраивающемся телевизоре. Брат трясущими пальцами залез в мешок, достал оттуда пакет, и по маленькой палате поплыл тошнотворный запах «рокфора».

— Может, форточку открыть? — спросил я, но брат не ответил, и, скосив глаза, я увидел, как он жадно поедает сыр, слизывая с пальцев приставшие крошки.

СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ

Пока он притаптывал окурком тлевшие в пепельнице искорки и молчал, я тоже молчал — не столько из почтительности, сколько из любопытства: что же он скажет дальше, забравшись в такие дебри, что в комнате даже будто стало жарче. Но он молчал, и я отпросился в уборную.

Не знаю, как была устроена система подслушивания в средневековых замках, но в наших клозетах иногда и фановые трубы создают сносную звукопроницаемость. Сначала трудно было разобрать, кто и о чем говорит, но постепенно слух подстраивался, и я различил женский голос, то словно припадающий к земле, как кошка, когда ей страшно или она хочет броситься, то чуть ли не захлебывающийся слезами.

Часто навещая Сомова, я знал эту семью — Игоря и Марину, жившую этажом выше. Голос несомненно принадлежал Марине, с ней я даже однажды заговорил — вместе дожидались лифта — о Робинзоне Крузо и какая это замечательная книга. А вот у Игоря, несмотря на берет и кафедральную внешность, вид был жуликоватый, и говорить с ним о Робинзоне Крузо не хотелось.

—... ты мне всю жизнь загубил, ты хоть понимаешь?! Подлец, сволочь, я тебе этого никогда не прощу!..

Значит, у них тоже совмещенный санузел? Гениальная догадка. Но зачем было запираться одной? Вид Игоря, молчаливо выслушивающего весь этот остервенелый бубнеж, трудно было представить. Нет, конечно, их там двое... а с виду такая благополучная пара... Повозившись для виду, я потихоньку спустил воду и вышел.

В комнате с отставшими вдоль плинтуса обоями пахло пыльными книжными корешками и было сильно накурено. Сомов уже закуривал следующую.

— Нет, это не мы тратим время, это время тратит нас, — произнес он между затыжками, тряся рукой, чтобы погасить спичку. Это имело так мало отношения к прерванному разговору и настолько перекликалось с услышанным мной в сортире, словно хозяин сам сопровождал меня туда. Поэтому,

опасаясь снова забраться в дебри — на сей раз семейных отношений, — я поспешил сменить тему и заговорил о Робинзоне Крузо.

Вид из окна открывался на крыши, словно слившиеся в единую плоскость, по которой можно пройти, «аки по суху». Чайки, кружа в медленно передвигавшемся над ними небе, напоминали предгрозовые сполохи. Раздался тонкий, залиvistый свист милицейской сирены.

— Ну, я пойду, — сказал я, поднимаясь в полупоклоне. — Пора. Пока доедешь...

На углу я поскользнулся и едва не врезался в Полину. Бывает же такое: только перед этим я битый час искал ее квартиру в раскинувшихся, как сады, дворах, обезображенных расписными, в человеческий рост, творениями учащихся Академии современного искусства, но мне и в голову не приходило, что дверь Полины укрыта плотным навесом из дикого винограда и плюща и хотя бы поэтому незрима.

— Так вы... ты ко мне? Ну пойдете... — и она медленно пошла впереди, указывая дорогу, которая вдруг стала такой простой и знакомой, будто я ходил по ней тысячу раз.

На детской площадке расположились подростки и пили пиво.

— От работы кони дохнут, — сказал один, и все дружно заржали.

— Вот и пришли, — сказала Полина, нащупывая звонок, скрытый жесткими листьями винограда.

— Это со мной! — бросила она консьержке, встрепенувшейся, когда мы входили в ярко освещенный холл. Наверх вела приотлившаяся в углу винтовая лесенка, поднявшись по которой мы очутились еще в одной передней, поменьше, и с дружным вздохом опустились на барочный диван с позолоченными подлокотниками и кривыми ножками.

— В квартиру пока не пойдем, — сказала Полина, выставляя пиво, содержимое двух увесистых котомок, приобретенное, я не сомневался, все в той же «Стрекозе», — и тут я почувствовал, что, как она ни отворачивается, от нее веет тонким, но стойким, как французские духи, пивным перегаром, и мне почему-то стало ее жаль, поэтому следующую ее реплику: — Да, хочу заранее предупредить, что никакие мужчины, кроме бывшего мужа, меня не интересуют... — я воспринял безропотно и, хотя мне показалось, что повально все, ничего не ответил.

— Значит, со шведского переводите? — одобрительно кивнула Полина. — А я вот поляков люблю, от них всегда такой запах особенный... — Но не успела она договорить про поляков, как белая с позолотой дверь в квартиру приоткрылась и в нее высунулось мужеподобное, носатое, как и у Полины, лицо, усыпанное веснушками, и тут же скрылось, успев моргнуть глазами.

— Не обращайтесь внимания, она сумасшедшая, — выпалила Полина, закуривая тонкую сигарету, отчего запах стал только сильнее. — Дак вот... Левушка в Англию учиться поехал, вы пейте, пейте, и никакие другие мужчины...

На прощание, стоя наверху винтовой лесенки, она помахала мне рукой и крикнула: — Не забудьте, что конец света ровно через два с половиной месяца, в полтретьего ночи!

Подростки все так же сидели на площадке, обратившись не в мысль, но в Думу.

— А мой папа не носит кальсонов, потому что у него пальцы пухнут, — сказала девица, перенимая бутылку у своего ухажера, а другая тем временем выдула целое облако мыльных пузырей, один из которых чуть не сшиб меня с ног.

Сказать, что я не волновался, впервые собираясь на молчаливую вечеринку, — значит ничего не сказать. Я даже позабыл, что светопреставление должно начаться именно сегодня. Услышал я о существовании «Чебурахин-клаба» еще давно, по радио, и знал о нем от ученика Бори... Но обо всем по порядку.

Вадим, так звали ученика, бросил меня где-то в полутемных переходах «Филармоник-холла» — члены клуба собирались именно здесь — и исчез, словно растворясь в этом полумраке.

Я постоял, вспоминая все, что он, как бы нехотя, рассказывал мне о клубе: в основном, что там запрещено разговаривать, отсюда, мол, и Чебурашка, лучше побольше слушать и поменьше говорить. «Но что слушать, если все молчат?» — подмывало меня спросить, однако я так и не сделал этого, боясь показаться неисправимым идиотом. Последнее неожиданно придало мне мужества, я наугад толкнул одну из дверей и остолбенел.

В небольшом зале действительно стояла полная тишина, только какая-то особая, бугристая, как руки подагрика. На крохотной эстраде трое, выражая свои хрупкие ощущения, негромко наигрывали что-то вроде джаза, и в паузах между аккордами было слышно потрескивание свечей. Стены были обтянуты темно-синим, и в конце концов до меня дошло, что это и есть символ молчания

Две пары на тускло освещенной площадке то ли томно, то ли медленно, во всяком случае устало исполняли какой-то танец, который, по аналогии со стихами, хотелось назвать «белым».

По залу были расставлены столики на четверых. За одними сидели исключительно мужчины, за другими — женщины. Первые были во фраках и курили сигары, вторые — в вечерних платьях, скромных, но изысканных.

В виде исключения или по неведению я уселся за столик, где уже сидели три женщины, одна из которых тут же встала и демонстративно вышла. Остальные закашлялись, но свободное место моментально заняла какая-то коротышка, постоянно щелкавшая пальцами.

Сознательно отказавшись от дара речи, я почувствовал, как резко обострились все остальные восприятия, но более всего — зрение: так, в присутствии скромно примостившегося на задней парте инспектора в классе воцаряется кладбищенская тишина — пир для глаз! Официанты обменивались записками и бесшумно, как шахматные фигуры, передвигались по залу, разнося сало, эклеры и мороженое.

Я огляделся, хотя оглядывать было особенно нечего, пока не обратил внимания на сидевшую напротив женщину. В лице ее проступала легкая одутловатость, обычно присущая изображениям императриц на декоративных тарелках. Лицо обрамляли пышные пепельные волосы, а веленевое бежевое платье казалось еще менее целомудренным, чем юбочки пионерок на парадах тридцатых годов.

Она смотрела на меня в упор, откровенно разглядывая; я ответил ей тем же, постепенно начиная понимать, в чем прелесть молчаливых вечеринок, но слова привычно теснились в душе, то восторженно замирая, то испуганно уходя в молчаливые глубины.

Заметив, что по залу гуляют записки, я вытащил ручку и, взяв из вазочки салфетку, настроил даме в бежевом предлинное любовное послание. Писать было неудобно, салфетка ерзала и комкалась у меня под рукой. «Сударыня!..» — так начал я письмо, полное забавных обмолвок, выдававших мое внутреннее состояние — смесь робости и безрассудной отваги. Она прочла, слегка хмурясь, и не задумываясь, коротко ответил на той же салфетке: «Луиза», — молчаливо одолжившись у меня ручкой.

В этот момент ей принесли мороженое, как я понимаю, «Огненный шар» — сливочный шарик в апельсиновом соке, — и она не спеша принялась за него, а когда осталось уже совсем на доньшке, встала и глазами показала следовать за ней.

Подавая ей шубку, я коснулся пепельных прядей, но она словно ничего и не заметила. Мы все молчали, не зная, когда можно будет открыть рот для чего-нибудь помимо эклеров.

Но, схватив меня за руку, она сбежала по ступенькам, посмотрела на проспект, по которому ничего и ничто не шло кроме снега, и, подняв руки, закричала: «Ура! Можно разговаривать!.. — и кинулась мне на шею.

В этот упоительный миг полного и нежданного счастья я заметил, что, стараясь сделать это незаметно, Луиза отдергивает рукав шубки у меня за спиной и украдкой смотрит на часы. Я посмотрел на старомодные, квадратные, висевшие над входом в Филармонию. Они показывали 2.25 ночи.

Борис ХЕРСОНСКИЙ

/ Одесса /



Комендантский час

Памяти Елены Шварц

* * *

давно бы пора на свалку но обиду еще хранят
в комод в ящике петербурга за подкладкой плаща
сквозь дыру в кармане клапаны сердца трое здоровых ребят
прижали парня а ну дайте ему леща

пусть схватится за щеку пусть утирает платком
это красное вязкое с верхней губы
пусть отмечает путь кровавым плевком
каждые десять метров здоровые лбы

надо же блядь налетели трое на одного хляка
в ком только душа держится как детеныш хорька
за шерстку матери вцепившись в пупырышек соска
сладкое молоко а кровь солон горька

и промозглый ветер зима и куда же он
со своим кашне и демисезонным пальтом канал
в гранитном пенале набережной не лез бы сам на рожон
рваное облако рвотный рефлекс обводный канал

* * *

ПОЭЗИЯ

Восковой часовой, восковой заключенный,
но решетки и двери железные, не понарошку.
Сквозь решетку можно увидеть купол и крест золоченый,
а также — летящую по диагонали снежную крошку.

Тюрьма, точнее, музей тюрьмы. Проводят цепочку экскурсантов вдоль по гулкому коридору.
Папа на руки поднимает трехлетнюю дочку,
и тайны застенка открываются детскому взору.

Наследье царизма, ужасные казематы,
пламенные сердца остыли и отсырели.
В полдень слышны над рекою пушечные раскаты,
а также бой барабана и посвист военной свирели.

Солдатики из картона чинно шагают строем.
Перемигиваются дамы, улыбаются ртами кривыми.
Восковой заключенный когда-то был живым и теплым героем.
И часовые, поверить почти невозможно, тоже были живыми.

А может, был в часовом часовой механизм, а потом сломался.
А может, был заключен в заключенном порыв к участи лучшей.

Манекен охраняет куклу. Хорошо, что засов остался —
настоящий, железный, надежный, на всякий случай.

* * *

Зима устанавливает комендантский час.
Мраморные скульптуры в парке стоят во вертикальных гробах.
Сквозь щели между досками статуи разглядывают нас:
хороши — в снегах как в шелках,
в сумерках, как в серых платках,
со слюдяной-ледяной корочкой на губах.

Душа изнутри несгибаема, что мороженая треска,
оттает когда-нибудь, и сразу — на сковороду.
Комендантский час. Страну оккупировали собственные войска.
С опущенной головой под самой стеной иду.

Весь как есть — продрогший, от головы до пят.
Куда собрался, скорей домой, не позорь седин!

Да поздно — остановили, сопят, светят в лицо, слепят:
документы, пройдемте, товарищ, или, как вас сейчас,
господин!

И я шепчу, прикрывая глаза рукой:
Оставьте меня! Я не один — такой,
вернее сказать — я — не такой — не один.

* * *

Этот был душегуб, но сумел расширить границы,
 тот был кровопийца, но построил град на болоте,
 а также имел попечение о российском военном флоте.

Где, в каком подполье они талдычат друг другу
 про свою немеркнущую заслугу?

Похваляются друг перед другом убийцы.

А праведная душа гуляет по цветущему лугу
 в образе агнца, или летает в образе голубицы.

Летает, садится, склевывает крошки
 у Христа-младенца с ладошки.

* * *

Петр Первый (актер — товарищ Симонов) приходит в тюрьму
 к сыну-изменнику (актер — товарищ Черкасов), чтобы сказать ему:
 «Прощай!», а палачу (актер неизвестен): «Кончай!».
 После просмотра — в буфет: бутерброды с икрой, чай
 в тонком стакане, серебряный подстаканник, на нем — Кремль,
 рядом на блюде — пирожное, в нем — заварной крем.
 Когда я ем, как говорится, я глух и нем.

Казненный сынок (актер — Черкасов) твой тезка, товарищ граф
 Толстой, говорят, не вполне законный носитель
 наследственных прав.

Слух идет: мать согрешила, вне брака тебя родила,
 попросила царя, признали законным, такие дела.
 На тебя косилась прислуга, перешептывалась семья:
 вот ты в беззаконье зачат, во грехе родила тебя мать твоя.
 Потом революция, эмиграция, чужие края,

прощение-возвращение, служение большевикам...
 Чтобы понять тирана — обратимся к минувшим векам.
 Смешаем прошлое и настоящее. Двухметровый, с лицом кота,
 ноги — циркуль. Не тот этот город и полночь — не та.
 Напялил антихрист на Русь немецкий кафтан,
 взял беспутную немку, и смеется на весь экран.
 И в ответ двумерному, черно-белому, смеется живой тиран.

Потом у писателя вечеринка — не закрывается дверь.
 Знакомый чекист по секрету рассказывает,
 как расстреливают теперь.

Писатель поддакивает: проволокой руки скрутить,
рот кляпом заткнуть,
пуля в затылок, пожалте в последний путь!
Писатель просит чекиста: «Расскажи мне еще что-нибудь!»

Изволь, — говорит чекист, — ночью ко мне во сне приходят
те, кто мертвы,
говорят, посмеиваясь, что и мне не сносить головы,
что и мне скрутят проволокой запястья и поведут в подвал...
что-то снилось дальше — не помню, полный провал,
не сказать, чтобы проснувшись я особенно горевал.

* * *

если три века стоять на болотах и на костях
поневоле станешь прекрасным городом
поневоле трехцветный стяг
поднимешь ангела на колонне квадригу
над аркой вздыбленных лошадей
по углам моста все это из бронзы все как у живых людей
кроме них самих в глубине Достоевских дворов
кашлянешь чахотка тебе говорит будь здоров
бородач с бомбой за пазухой идет ни свет ни заря
встречать привечать взрывать убивать царя
царь мертвец подрастет превратится в каменный храм
отразится в канале но убийцы с бомбами по утрам
будут гулять под набережной ждать золоченых карет
а в карете в полный рост мундирный портрет
ты к портрету рад стараться ваше сиятельство ваша честь
а он глядит в глаза говорит ты убивец и есть
это парные в рифму строки на смятом клочке
это щепоть подгнившего табаку в коротком бычке
это на дне бутылки двадцать грамм недопитого крепляка
это очки на носу ученого мозгляка
это лена на долгую мертвую память тебе на живую нить
продевать в ушко игольное протянуть сохранить

Александр ФАЙН

/ Москва /



Часы идут...

Холостяку со стажем знакомы длинные ночи, когда мысли о будущем, перемешанные с накопленными за прожитые годы разочарованиями, придавливают к подушке с такой силой, что бессонница становится в постели единственной подругой. В одну из таких ночей, пытаясь уговорить подругу отпустить меня, я задавал ей вечные вопросы человеческого бытия.

К четырем часам утра наволочка стала мокрой, а воспаленное сознание сконцентрировалось на одном вопросе: *Как и чем живут те, у кого за плечами жизнь?* В трепетном ли ожидании перехода через грань, за которой бездна, в благостном ли ощущении своей значимости от содеянного, в желании ли что-то еще успеть или хотя бы покаяться...

Вопрос для меня не праздный. В половине шестого утра, это я знал от мамы, мне стукнет семьдесят четыре. Не так уж мало, но, надеюсь, и не так уж много...

Я жаворонок. Ведь мой родной дед по отцовской линии был крестьянином-колонистом, а отец мамы до революции слыл уважаемым кузнечных дел мастеровым в еврейском местечке под Гомелем. Генетика, как и положено, сработала через поколение. Я всегда вставал раньше всех. Но в это воскресное майское утро по зову хранителя моего спокойствия, душеприказчика и друга-будильника Васи с трудом оторвался от подушки.

Васю я купил по случаю двадцать один год назад, ещё в той, советской жизни. Я возвращался после командировки в приподнятом настроении. Испытания, подводившие итог пятилетней работе моей лаборатории, завершились успешно. В кабинете главного инженера удачу мы закрепили из больших фужеров лучшим по тем временам армянским коньяком «Арарат».

За десять минут заводская «Волга» домчала меня до вокзала. Чтобы убить время в ожидании запаздывающего поезда, я забрёл в одноэтажный полудом-полусарай на привокзальной площади, к

обитой железом двери которого была прибита фанерка с душевной надписью «Товары всем», и равнодушно оглядывал витрину и полки. Здесь было всё: огромные зеленые бутылки с керосином и оцинкованные ведра, мешок муки и резиновые сапоги любых размеров. *Неплохо бы выбрать себе ко дню рождения подарок среди этого богатства* — подумалось мне.

Как говорит один психотерапевт с тридцатилетним стажем — с ним мы встречаемся по воскресеньям на первом пару в Сандуновских банях — самодостаточные холостяки любят сами себя радовать сувенирными приобретениями. Он прав, я не люблю от других получать подарки ни к собственному юбилею, ни к двадцать третьему февраля, ни ко дню Парижской Коммуны.

Меж грязных картонных коробок, из которых торчали серые макароны толщиной с палец, коротал часы механический будильник. Сувенирный вариант, в три раза превышающий по размеру обычный будильник, похоже, был бы неплохим приобретением.

Макаронами с тушенкой нас кормили на сборах в моей спортивной юности. Ничего нет вкуснее. Наш тренер, ещё до войны служивший на флоте, говорил, что вместо тушенки должен быть говяжий фарш, пережаренный с луком, и тогда бы это царское блюдо называлось «макаронами по-флотски». В холостяцкой ипостаси я научился готовить свои макароны по-флотски, внося рационализацию: лук я жарил отдельно на подсолнечном масле с мелко нарезанными морковью и зеленым сладким перцем, а уже потом в эмалированной кастрюле смешивал этот овощной микс с поджаренным фаршем, пропущенным с помидорной мякотью через мясорубку. Чуть не забыл, фарш должен быть на три четверти говяжий и на четверть свиной. Важное условие — проверено! Этого лакомства при полном игнорировании любой другой еды мне хватало на три дня. Рекомендую вполне ответственно и семейным, а особенно молодоженам. Способствует!

В торговом зале никого не было. На прилавке, вытянувшись по-хозяйски, ожидал посетителей толстый рыжий кот. К патронам лампочек, свисающим на проводах с потолка, были привязаны скрученные в спирали клейкие ленты, этакая мухобойная версия апофеоза войны по Верещагину.

Коньячные пары еще бродили по моим жилам и звали на подвиг. *Скажите, уважаемая, — обратился я к ухватистой продавице, — макароны на витрине и в коробках идентичны?*

Продавица опытным взглядом оценила моё приподнятое состояние, властной рукой столкнула с прилавка кота и изрекла с чувством собственного достоинства: *Налил глазюки и выражаешься. Иди иткель пришел... Итинчино, вишь какой умный! Сейчас милицию позову, в вытрезвителе сам разберешься, где витрина и где коробки!*

Дабы избежать нежелательного развития конфликта, я с миролюбивой улыбкой показал на будильник: *Давайте окрестим его Васей, а вы будете крестной... Вас как величать, уважаемая?*

Наверное, за долгую службу торговле таких посетителей она не встречала. — *Александра я, уважаемый... Ну что, берёте?* — женщина смотрела на меня с вызовом. — *Тетка, значит. Ну вот и познакомились,* — продолжал демонстрировать я дружелюбие.

Из магазина я вышел с кульком макарон и Васей в мятой картонной коробке. Мы подружились. Когда перед сном я заводил его, приходилось подводить стрелки и слегка постукивать по корпусу. Его механизм, как и мой мышечный аппарат, длительное время проведенные без тренажа, любили поспать... Аккуратно я ставил друга на прикроватную тумбочку, и мысли мои уносились в прошлое.

Ритуал этот стал неременным атрибутом моей жизни.

Перед самым окончанием института в чине кандидата в сборную страны я ушел из спорта. Тогда один из лучших фильмов о спорте «Первая перчатка» с прекрасным, сочным артистом Московского театра оперетты Владимиром Володиным и молодым Иваном Переверзевым в главных ролях смотрела вся страна.

Предстояла защита диплома, меня занимала проблема, как совместить будущую инженерную деятельность и большой ринг.

Решение пришло неожиданно. Я возвращался из диспансера, где залечивал выбитый локтевой сустав. На троллейбусной остановке в мятом плаще стоял довоенный и первых послевоенных лет чемпион страны в моём весе. За сокрушительные удары в боксерской среде его нарекли *кувалдометром*.

Я дернулся подойти и пожать руку гроссмейстеру ринга, но подъехал троллейбус, и какие-то подростки оттолкнули вчерашнего чемпиона. Один из них крикнул, придерживая дверь: *Дядя, реакцию отработать надо!* А кувалдометр одиноко шмыгал носом и поправлял на шее несвежее кашне.

Выбор был сделан. Перчатки, подаренные мне наставником, великим тренером Огуренковым, вернулись маэстро. *Не пожалейте?* — спросил он, положив тяжелую руку мне на плечо. — *У тебя бы получилось...* — Опустив голову и чувствуя как капельки пота стекают меж лопаток, я молчал. — *Ну что ж, мужчина решает один, раз... Бокс как и женщину или любят или не любят... Иди! Возвращаться надумаешь, приходи. Но перчатки не дам.*

Потом были научные степени и звания, беды житейские, неудачный бездетный брак, успехи и неприятности служебные, флирты быстрые, романы стойкие и ненужные, командировки дальние и длинные тягостные вечера в одиночестве на кухне.

Но счастливых минут, сравнимых с теми, когда рефери в центре ринга поднимает твою гудящую, забинтованную кисть, с которой тренер успел стянуть перчатку, судьба мне больше не дарила.

В ванной я окатил холодной водой из ведра свой угасший мышечный корсет, в большое зеркало показал язык надоевшей мне физиономии с несвежими подглазьями, договорился с ней пропустить в очередной раз разминку из практики тибетских монахов и в войлочных тапочках без задников прошаркал на кухню пить мелкими глотками эликсир здоровья.

К тибетским делам четыре года меня приобщала Елена. Она и эти войлочные тапочки, обшитые бисером с задранными носами привезла из круиза по Средиземноморью.

Елена не скрывала своей неприязни к Васе, считая его виновником затянувшейся предбрачной канители. Во время очередного ночного раунда согласования семейного кодекса, Елена предложила поменять друга на современное электронное устройство, способное, помимо будильной функции, выполнять множество других, столь жизненно необходимых жителю мегаполиса.

Проявив мужское достоинство, я не предал друга.

На традиционной субботней трапезе в столовой со свечами и очередным кулинарным изыском Елена методично сокрушала моё бобылево несчастье. Дверь в спальню обычно держалась открытой и Вася был в курсе происходящего в доме. Но когда Елена собиралась сервировать стол к праздничному ужину, она демонстративно закрывала дверь. Деликатный Вася безропотно сносил эти уколы, накапливая рубцы на своем механическом сердце.

В воскресенье с утра Елена уезжала по своим фитнескосметическим процедурам, предоставляя мне право посещения Сандуновских бань без последующего отчёта. Прошедшая школу двух неудачных браков, она декларировала умеренно либеральные взгляды на отношения супругов, но всегда крепко держала меня за руку, когда знакомила со своими незамужними подругами.

В рабочие дни я должен был под её присмотром начинать завтрак с эликсира здоровья. В постели, когда не была занята, Елена объясняла мне, как наладить контакт со своей чакрой. Я слушал её, но понять глубокомысленное *погружаешься в сущность и находишь покой* так и не мог. Зачем мне, профессору и автору учебника по теории управления, который был отмечен государственной премией в советское время, когда регалии еще не покупались, надо погружаться куда-то, чтобы найти умиротворение?

Эликсир здоровья готовила Елена из отваров трав, которые привозила из школы, где изучала тибетские практики. Содержимого в китайском термосе, в котором настаивалось это всемогущее снадобье, хватало на неделю. Пять упражнений из тибетского ритуала и эликсир здоровья должны были поддерживать мою работоспособность на службе и на алтаре любви.

Умная, расчетливая, из приличной семьи, с ухоженным экстерьером и тренированным телом, без *семейных хвостов*, в меру немолодая и готовая независимо от метеоусловий и курса доллара оперативно откликаться на мои притязания, Елена таскала

меня по фотовыставкам и авангардным спектаклям. Оставалось утвердить обоим наш семейный кодекс и можно было заказывать марш Мендельсона. Организованная и предусмотрительная Елена не забыла составить проект необременительного брачного контракта.

Советуясь перед сном с Васей, я излагал ему аргументы *за* и *против*. Лишь об одном из них я не говорил моему молчаливому другу. Чем-то неуловимым Елена возвращала меня в юность, к моей не состоявшейся первой любви.

Воскресным вечером в конце концов, на подставке к большому зеркалу, где после размолвок оставляли мы сообщения друг другу, я обнаружил конверт с короткой запиской: *Возможно ты лучше многих, но лучше худшее решение, чем лучшее нерешение. Елена.*

От неё остались привезенное из Тибета покрывало из овечьей шерсти, на котором мы иногда экспериментировали, толстая тетрадь с рецептами заморских блюд, длинная шеренга фарфоровых банок с таинственными этикетками и инструкция по приготовлению эликсира здоровья.

Помня, что Елена не позволяла с алкоголем появляться в спальне, я подмигнул другу и сел на край неразобранной тахты с рюмкой «Посольской». Вася с укоризною смотрел на меня.

Звонок городского телефона был настойчив:

— Привет, Шура! Не тужься. Это я, Дод... Не наклаал в трусы с оторопа?.. Надо повидаться... Мало что ли случимши при наших-то летах... — Трубка многозначительно умолкла.

— Ничего себе звоночек в воскресную рань! Сколько мы не виделись? — лишь смог вымолвить я.

— Думаешь за полста годов календаря я забыл, кто встаёт со словами: *Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил...* — сказала трубка.

Додом звали в классе моего единственного школьного друга Сережку Циммермана. За все мои полные семьдесят четыре *Шурой*, кроме Дода, меня никто не называл. Может, потом настоящих друзей не приобрел?

Дод всегда поражал своей лексикой. Его вакубуляр и манера построения фраз удивляла. А какие сочинения он писал! Елена Николаевна, наша школьная учительница по русскому и литературе, предрекала ему писательское будущее. Она всему классу читала вслух Серegiны опусы и ставила ему пятерки, не вызывая к доске.

— ...Помнишь как я готовился к экзаменам?...Памяти твоей позавидует любой информационный центр ЦРУ, — помолчав, тихо сказал я в трубку.

— Все помню, Шура... И жизнь прошедшую, каждый день...и дружбу нашу... Не всякую ошибку только исправить можно...— Трубка замолкла.

— Приезжай прямо сейчас ко мне... *нах хаузе*¹.

— И мой *хохдойч*² помнишь... Нет, Шура, давай ты ко входу на Востряковское кладбище с еврейской стороны.

— Так я вроде бы ещё не собирался.

— А чего тянуть. Труба зовет... Главное — не опоздать! Когда ещё в России автоназию разрешат! А если честно, родителей надо навестить, тебя к могиле достойного человека отвести. Он тоже на Востряково, только через дорогу, где русская часть... А то спрыгнешь в ямку два на метр и не узнаешь, почему у тебя, несмотря на *пятый пункт*, все сложилось.

— Да уж, сложилось... Нашел успешного! Как ты меня отыскал?

— Я должен был с тобой увидеться. А тут само проведение — в самолете открыл журнал, а там твоя семитская харя. Правда череп гладкий вместо кудрей. Через редакцию журнала и нашёл. *Вер зухт*³, тот всегда... — трубка замолчала.

Вот так спустя полвека ранним майским утром явилась юность моя.

Судьба нас развела с Додом из-за Ниночки Плешковской, в которую мы оба влюбились на новогоднем вечере в девятом классе. После войны школы в больших городах были однополые. Наш класс дружил с девятым классом соседней женской школы. Мы с Серегой убегали с последнего урока, прятались за углом её дома и, увидев Нину, выходили из-за укрытия, чтобы *случайно* встретить и проводить до подъезда свою любовь.

Наша семья занимала каморку восемь с половиной метров в подвале, где до революции содержался дворницкий инвентарь. В тридцатых годах подвал бывшего доходного дома был переоборудован под коммунальное жильё. Дневной свет с улицы с трудом пробивался через тротуарную решетку, и только, когда мама укладывала спать младшую сестру, включался электрический свет.

Весной перед экзаменами на лавочке во дворе, положив на колени фанерку, я переписывал знаменитые Серегины шпаргалки, которые составляла для Дода Роза Моисеевна, его *жутко еврейская мама*, как величал её сын.

К совместным вечерам от каждого класса готовились номера. Нина под собственный аккомпанемент на шестиструнной гитаре пела шансон. Она занималась в хоровой студии в клубе завода «Каучук» на Плющихе, знала ноты и говорила по-французски. А Серега читал стихи *нерекомендуемых* Блока и Есенина. Дод обладал феноменальной памятью и постоянно

¹ домой (*нем.*).

² литературный нем. язык

³ кто ищет (*нем.*).

пугал преподавателей смелыми высказываниями. Но ему всё сходило с рук. Его любили, к тому же он чутко улавливал грань, за которую переходить было нельзя.

Время такое было: до Воркуты и Магадана добирались чаще за казённый счет в теплушках с решетками и трюмах пароходов без права выхода на палубу.

Учеба Сереге давалась легко. Я списывал у него всё, мы сидели за одной партой.

За отцом Дода, Ефимом Яковлевичем, приезжала в половине восьмого утра серая «Победа». Роза Моисеевна не работала, она была на двадцать лет моложе супруга, который, несмотря на *пятый пункт*, занимал важную должность в секретном институте.

Современная молодежь не знает, что такое *пятый пункт*, в анкете и паспорте нынче отменили графу *национальность*. А на какие ухищрения шли, чтобы в фамилии *Абрамович* убрать две последние буквы.

Другое теперь время — сейчас *еврей* своего рода знак качества!

Какой путь прошла страна! В восьмидесятых годах ходил анекдот: *Кадровик смотрит на анкету поступающего на работу. — Так, Фаленбоген, значит, русский... значит... — Кадровик почесывает лысину — С такой фамилией мы бы лучше еврея взяли.*

В прежние времена в любой еврейской семье, независимо от должности главы семейства и материального достатка, всегда обсуждался *еврейский вопрос*.

У Сереги была своя комната с двумя большими окнами. Когда мы вместе готовили уроки у него дома, меня оставляли на ужин. Не помню, чтобы хоть раз я отказался. Ведь у них на столе в большом блюде всегда лежала моя любимая любительская колбаса. Закрою потом дома глаза, потяну ноздрями воздух, и под ложечкой засосет от колдовского запаха. Сейчас такую не делают, небось рецепт потеряли. Жаль!

Роза Моисеевна одобряла нашу дружбу с Додом. По её мнению, я мог быть примером для её сына, легко оставляющего на полути очередное увлечение.

Моя мама консультировала Розу Моисеевну по части еврейской кухни, до которой был охоч её секретный супруг. Кулинарный талант передался маме по наследству от бабушки Паи Лазаревны, которая, как рассказывала мама, из рыбы могла приготовить блюдо со вкусом курицы и наоборот.

Я помнил только теплые пухлые руки бабули. Она брала меня на руки и целуя приговаривала *Сендер¹, мой Сендер*. Перед самой войной, они с дедом уехали в Киев на лето к младшему

¹ эквивалент имени Александр (*идиш*).

сыну Моне. Красивая еврейская пара, воспитавшая семерых детей, не дожидаясь изумрудной свадьбы несколько дней, последние их брачные ложем навсегда остался Бабий Яр.

Набожная и общительная Роза Моисеевна из синагоги приносила последние новости о состоянии еврейского вопроса и анекдоты на эту тему.

Женщины общались на идиш, ведь ещё был жив *Отец народов*, и длительную командировку на Колыму за казенный счёт можно было обещать обоим, передай *кто-нибудь* содержание этих бесед *куда надо*. Со временем я стал понимать идиш, ведь его базой был немецкий язык, который мы изучали в школе.

Анекдотическая история произошла на защите моей кандидатской диссертации. Какой-то учёный муж усомнился в идее диссертанта. Ни мама, ни бабушка Пая Лазаревна институт благородных девиц не заканчивали, да и я с гувернанткой не ходил. Потому и выпалил от растерянности нечтоже сумняшное: *турки в таких случаях говорят — ас гот вил, шист а бежэм*¹. Сидящий в зале профессор Свєрановский зашёлся от смеха. Все смотрели на него с недоумением, видимо, в аудитории больше владеющих *турецким* не было. Когда почтенный профессор ознакомил присутствующих с содержанием моего апокрифа, я мог, наверное, претендовать сразу на степень доктора наук.

Настоящий еврейский анекдот основан только на игре слов: *Слушайте, Хайм, вчера в Японии было землетрясение.— Хайм почесывает лысину — Ну так что теперь будет с еврейским вопросом?*

Во времена Брежнева ходил анекдот: *Абрам Семенович, проработавший тридцать лет на заводе, вышел на пенсию. Началось потепление отношений с Израилем. Пенсионера пригласили на Лубянку, сотрудник обращается к пришедшему — Мы знаем, что у вас брат живёт в Израиле, вы это не указывали в анкете.— Посетителя пробивает озноб. — Не волнуйтесь, — успокаивает его сотрудник. — Вот вам лист бумаги и ручка. Напишите брату письмо. Ведь он может подумать, что у вас могли быть неприятности из-за него. — Абрам Семенович вытирает холодный пот со лба и склоняется над листом. — Здравствуй, дорогой Арон. Все эти годы у меня была куча дел. Наконец, я нашёл время и место тебе написать.*

Школа наша была новая, она открылась, когда я перешел в восьмой класс. Учеников собирали из близлежащих школ, где изучали разные иностранные языки. В нашем классе подобрались в основном англичане и только пятеро были немцы, в том числе Серега и я.

Преподавала немецкий Евгения Васильевна Милушина, образованная, интеллигентная. До революции она училась в Лейп-

¹ если Бог захочет, то стреляет и веник (*идиш*).

цигском университете. Мы любили её и за глаза звали *Евгешей*. Она обращалась к нам по-немецки, делала большие глаза, когда ей отвечали по-русски. И всегда мягко поправляла: Не Лейпциг, мой дорогой, а Ляйпциг. *Хабен зи шон гефунден*¹, — призывала она нас найти нужное место в учебнике. Дод артистично восклицал: *Я уже нафундал*. Эта манера исказить немецкие корни русскими окончаниями или приставками, приводила в негодование почтенную Евгению Васильевну. Но за его *хохдойц*, на котором Дод мог, открыв томик Шиллера, читать с безупречным произношением, безобразнику прощалось всё.

На занятия Евгеша приходила в платье, сшитом из генеральского сукна. На это обратил внимание Дод. На вечере, посвященном *Десяти Сталинским ударам*, сразившим гитлеровскую военную машину, директор школы фронтовик Коган Мирон Яковлевич, преподававшей историю в старших классах, сказал, что в школьном коллективе есть человек, который принимал непосредственное участие в подготовке ряда важнейших фронтовых операций. Коган назвал Милушину.

В десятом классе у нас появился новый предмет «Логика». Преподаватель с гоголевским профилем, мужчина весьма subtilной наружности — нынешние школьники отнеси бы его к гейнаселению — заставлял заучивать определения красивых, но непонятных терминов: логический квадрат, силлогизм.

Находчивый Дод для себя решил вопрос просто. Когда очередь отвечать доходила до него, Серега доставал из портфеля изучавшуюся в десятом классе брошюру «Марксизм и вопросы языкознания», и уверенно вещал независимо от вопроса преподавателя: *мы должны терпеливо учиться правильному логическому мышлению у товарища Сталина*, а потом, полистав её со знанием дела, вслух читал с выражением до звонка на перемену. Преподаватель стоя *терпеливо* внимал. Понятно, какая отметка по логике была у Дода в аттестате зрелости.

У нас был, наверное, самый спортивный класс Москвы, более половины его тренировались в различных спортивных обществах. Серега занимался на велотреке стадиона «Юных пионеров», а я в «Трудовых резервах». Зал бокса размещался на улице Воровского, ныне Поварской. Сейчас этого здания без окон, похожего на большой сарай уже нет. На его месте стоит шикарный особняк, окруженный высоким кованым забором, кругом камеры видеонаблюдения, охрана у ворот. А мы входили с улицы сразу в зал, вещи аккуратно в кучках оставляли на полу. Вместо душа в углу кран с холодной водой.

У Сереги был первый спортивный разряд. Я отставал от Дода на один шаг — у меня был второй разряд. После войны спортивной категории кандидат в мастера спорта ещё не было, и

¹ вы уже нашли (нем.).

первый разряд отделял от мастера спорта хоть и большой, но *один шаг*. На молодежном первенстве Москвы я вышел в финал и стал перворазрядником. Мы сравнялись с Сергеем.

Соревнование за Нину было нашим главным занятием.

Однажды Серега опоздал на наше очередное свидание. Мы с Ниной шли по бульвару, она оглянулась и, прижавшись ко мне бедром, чмокнула в щеку: *Я хочу встречаться только с тобой. — А как же Дод?* — неуклюже промямлил я. Нина отстранилась и, опустив глаза, промолчала. Мы продолжали ходить втроём.

На тренировке ко мне подошёл невысокий сухопарый мужчина. У него был перебитый нос и красные набухшие надбровья. Он поднял в стороны мои руки в перчатках: *Хочешь перейти в «Динамо». Мастером быстро станешь — стипендия, матери можешь. Тебя твой тренер рекомендовал.* Это была реальная возможность обойти Серегу. Мне стал сниться один и тот же сон: *Я еду по велотреку, впереди Сергей, у него на раме сидит Нина, она держит в руках огромный значок мастера спорта и смеясь показывает его мне.*

В нашей коммуналке за стеной проживал демобилизованный артиллерийский капитан Павел Зогин. У него не было одной руки. Капитан учился в институте кинематографии на сценарном факультете.

Мы не получали пенсию за отца, поскольку он числился в пропавших без вести. Мама стирала Павлу. За глаза она называла его *наш капитан*. Мама работала приемщицей в какой-то артели, и каждая копейка была на счёту.

На Новый год, 1 мая, 7 ноября мама делала свой знаменитый форшмак с яблочным пюре, смешанным с молоком мужских особей селедок, и ставила на стол большую алюминиевую миску с винегретом. Она всегда предупреждала, что нельзя оставлять еду в алюминиевой посуде. Всю жизнь я не понимал смысла этого предупреждения: через несколько минут мне разрешалось под общий хохот вылизать миску.

Вечерами, которые иногда Павел проводил с нами, он рассказывал о послевоенном киночуде — итальянском неореализме. Звучали погусторонние имена — Алессандро Блазетти, Джузеппе де Сантиса, Витторио де Сика, Пьетро Джерми. Вооружённый неизвестным Доду знанием, я стал подавать голос во время прогулок втроём по арбатским переулкам.

Павел приносил с собой пол-литра или две четвертинки водки. Пустые бутылки я сдавал.

На этажерке стояла фотография старшего брата мамы, дяди Лазаря. Он был одним из первых электросварщиков на Ярославской железной дороге, имел бронь, но пошёл добровольцем на фронт и остался на Малаховом кургане.

Павел под Сталинградом получил контузию. Первый тост на наших коммунальных праздниках мы поднимали за Сталина, а со второй рюмкой Павел молча подходил к этажерке и стоял за-

крыв глаза. После третьей рюмки мамино лицо покраснело. На праздники она одевала своё единственное, подаренное Павлом платье, синее с большими плоскими металлическими пуговицами, которое он выменял на Тишинском рынке, главной в те годы московской толкучке. Я научился подглядывать в пуговицы как в маленькие зеркала и, если после праздничного ужина садились играть в шестьдесят шесть, удивлял своим мастерством в карточной игре.

Однажды я пришел с тренировки раньше обычного, у меня была сильно рассечена бровь. Сестренка спала, а мама сидела в обнимку с Павлом на краю кровати. Под столом лежали две пустые четвертинки.

Когда провожали маму в семьдесят пять, Павел приехал с букетом любимых маминых белых гвоздик. Он сильно постарел, отёкшее лицо, уставшие потухшие глаза. Ко мне он не подошел. Как сложилась его судьба? Удалось ли ему не сойти в обочину с дороги по имени *Кино*. Помнились слова одного из мэтров экрана, сказанные на популярной телепередаче «Кинопанорама»: *Чтобы стать успешным в нашем деле нужно совпадение, как минимум, четырех условий: везение, востребованность, покладистость и талант. Может, Павел появлялся в титрах под псевдонимом?*

Скоро Серега бросил велотрек, он стал первым *стилягой* в нашем классе. Стиляги появлялись в брюках дудочках, клетчатых пиджаках с широченными спадающими плечами и ботинках на толстой рифленой подошве. За стиляжье обличье можно было проститься с комсомольским билетом. Я снова был в отстающих.

Как-то Серега предложил собраться у него дома. У Дода был патефон. Нина пришла с подругой. Гостеприимный хозяин позвал за стол, на знакомом мне блюде лежала гора бутербродов с красной икрой и любительской колбасой. Нина по-хозяйски подливала чай, а Серега читал стихи. Потом Дод, загадочно улыбаясь, достал мягкий диск, вырезанный из рентгеновской плёнки, укрепил его на пластинке и повернул рычажок. Послышалось шипение, сквозь которое доносилась незнакомая ритмичная музыка. Это и был *стиль* — новый модный тогда танец, наверное, предшественник рок-н-ролла. Серега с Ниной выделяли такие кренделя. Мне показалось, что они так танцуют не первый раз. Я попросил Серегу поставить пластинку с популярный тогда «Голубкой», которую исполняла Клавдия Шульженко. Сначала для приличия я пригласил на танго подругу, от неё пахло модными тогда духами «Шипр». Когда мы танцевали с Ниной, она тихо спросила: *Ну хочешь, я сама скажу Доду?* — Я промолчал. Скоро стиль заменил рок-н-ролл. Но и он прошел мимо меня.

В нашем классе никогда не говорилось о взрослой стороне отношений между *полами*. Время другое было в стране, которую много лет спустя бывшая комсомолка в телемосте популярного Познера назвала *страной без секса*. Может, кто-то из одноклассников уже был в курсе *этого*. Но я к их числу не принадлежал.

Последняя школьная осень пятьдесят второго, впереди выпускные экзамены — десять предметов. Приходилось вставать в половине пятого утра и на кухне, где можно было зажечь свет, хоть как-то готовиться к занятиям в школе. После уроков я мчался в «Динамо», возвращался домой в начале одиннадцатого, голова и тело гудели.

Втроем мы встречались все реже и реже. Мне так хотелось, чтобы Нина увидела на моей груди заветный квадратик со словами «мастер спорта».

Тренер объявил основной и запасной составы сборной молодежной Москвы на поездку в Софию, где в июле предстоял матч четырех братских столиц: Будапешта, Бухареста, Москвы и Софии. Мою фамилию он назвал в основном составе. Радостный я спешил домой, у меня появился реальный шанс обойти Серегу без декламаций об итальянском неorealизме.

На кухне с напряженными лицами стояли мама и Роза Моисеевна. Женщины не ответили на моё приветствие. Краем уха я услышал, что Роза Моисеевна на идиш говорила о товарных поездках, в которых всех евреев повезут на Дальний Восток.

Это была какая-то ерунда. Как в советской стране, где в фильме «Цирк» главный Еврей страны народный артист СССР Соломон Михоэлс поёт негритянскому мальчику, такое могло быть?!

...Если бы не родимое пятно на правой щеке Дода, я бы долго высматривал его в толпе перед кладбищенскими воротами. Опираясь обеими руками на палку стоял он. Темные очки, во рту трубка, на голове несуразная панамка.

Мы обнялись. Палка шумно упала. Я чувствовал худое и вялое тело, вздрагивавшее от всхлипываний.

— Всё потом... потом... — твердил повисший на мне Серега.

Отставив прямую ногу, он нагнулся чтобы поднять палку. Я опередил его.

— Данке очень... Что сильно убогий? — Дод повернул ко мне лицо, криво улыбнулся и закашлялся.

Он выбил на асфальт остатки табака, достал платок и сосредоточенно стал протирать трубку.

Мы молчали. Сергей сунул трубку в нагрудный карман, снял очки. У него не было одного глаза.

— Это как? — дернул я подбородок в его сторону.

— Свалились с автострады. Нина была за рулём, я дремал на заднем и при ударе провалился между сиденьями. Она совсем...

— Когда это случилось?

— Восемь лет...Мы тебя вспоминали...-Серега отвернулся и рукой прикрыл глаза. — Она тебя ждала всю жизнь... Прости, что так получилось... Не думай, у нас нормально было, помогали друг другу...У тебя семья, дети есть?

— Нет.

— Почему?.. Извини... Ей детей иметь нельзя было... Ты хоть помнишь, что евреи на кладбище и в синагогу с покрытой головой входят. — Сергей протянул мне легкую кепку из белого полотна. — Вот захватила на всякий случай.

На кладбищенской аллее было немногочисленно. Легкий ветер обдувал лицо. Монотонный голос Сереги заглушала воронья перекличка.

...Неужели всё это было?!

Дод опекал меня и подначивал бороться за школьную медаль: *Рыжая тебе всё равно из-за антагонизма с литературой не полагается, а с серебром и с первым разрядом по боксу в институт нырнешь как на ринг между канатов. Не трухай, я тебе подмогну... Хочешь вместе...*

На зимние каникулы я уехал на сборы готовиться к матчу в Софии. Нагрузки были сумасшедшие — по три тренировки в день. К вечеру все падали на кровати, ноги и руки наливались свинцом, а голова была пустой. Я забыл про товарные поезда.

Сборы завершались, предстояло контрольное медицинское освидетельствование. После вечерней тренировки меня отозвал тренер в сторону: *Ты поезжай домой к матери. Я впервые увидел его смущенным. Он не смотрел мне в глаза. Что-нибудь случилось, — спросил я. — Сам разберешься. Мужиком надо быть всегда, с матерью побудь. Пока на тренировки можешь не ходить.*

Дома у нас была Роза Моисеевна. Новости ошеломили: арестована банда заговорщиков врачей, большинство из них были евреи, они имели план отравить руководителей страны, в числе арестованных родной брат отца Нины, и скоро всех евреев из крупных городов в товарных поездах повезут на Дальний Восток, чтобы уберечь от погромов разгневанного народа. Я ничего не понимал, а как же экзамены, София, тренировки.

Заболел Коган, уроки по истории отменили. От Розы Моисеевны мы узнали, что директора в ближайшее время сменят. Семья Коганов жила в школе, тогда в новых школьных зданиях предусматривалось жилое помещение для директоров с отдельным входом.

Серега предложил навестить директора: *Я у него уже три раза был. Мать дружит с его женой.* Но сходить к больному мы не успели.

В день похорон занятия для старшеклассников отменили. На заднем дворе школы на двух стульях стоял гроб, обшитый кумачом. Рядом три табуретки, на первой — ордена «Боевого красного знамени», два «Красной звезды» и медаль «За отвагу».

Руководила церемонией Евгеша. Впервые мы увидели её в военной форме с погонами капитана и наградами. Серега прошептал мне на ухо: *Она в лагере три года была под Воркутой, её оттуда в штаб армии переводчиком взяли, а потом — за линию фронта. Мирон за неё лично поручился. Он сам мне рассказал.*

Возобновились тренировки. Вечером мама мне прикладывала примочку из бодяги на глаз, заплывший от гематомы. Когда сестренка заснула, мама стала говорить тихо: *Сынуля, бываю ситуации, когда надо ощущать себя мужчиной. Ты у меня мужчина вдвойне, потому что спортсмен. Скоро станешь мастером спорта. Я горжусь тобой. Как у вас говорят, в боксе главное уметь держать удар. Тебе не нужно встречаться с Ниной. Она любит Сережу, и они поженятся, как только им исполнится по восемнадцать. Мужчина женится, когда в состоянии содержать семью, а чем я тебе могу помочь. Поверь мне, пройдет время — и ты поймешь меня. А сейчас школа, бокс, экзамены — сколько надо успеть!*

Я не спал всю ночь и решил объясниться с Серегой. Но утром страна вздрогнула и онемела — тяжело заболел Сталин. Четыре дня из репродукторов пронизывающий голос главного диктора Советского Союза Левитана сообщал об ухудшении сердечной деятельности Отца народов. Это было страшнее сводок Совинформбюро осенью сорок первого. А пятого марта советский народ и прогрессивное человечество осиротели. *Как жить дальше? Неужели опять война?* Так думало большинство, я был в их числе.

В актовом зале, где проходил траурный митинг, я со сцены, глотая слёзы, пообещал приложить все силы, чтобы продолжить дело Ленина — Сталина.

К Колонному залу через бульварное кольцо тянулся бесконечный людской поток. С Додом мы добрались до Рождественского бульвара, на сломанных ветках галоши, шапки и шарфы. Трубная площадь была перекрыта грузовиками и конной милицией. Серега сказал тихо: *Ходынка... Валить нах хаузе пора — дальше не пройдем... Смотри, по крышам народ к гробу рвется... Больше сочинение на тему «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» писать не будем, ферштейн, Шура.* Я спросил: *Ходынка это что?* Серега дернул меня за нос: *не видать тебе исторического факультета... В одна тысяча восемьсот девяносто шестом году от рождества Христова на Ходынском поле в первопрестольной взошедший на трон Николай II одаривал люд. Халява всегда сладка — народу полегло и покалечено было более трех тысяч... Вот так, Шура... Дело Ленина — Сталина пошли продолжать, без нас не управиться...*

Спустя месяц после похорон выпустили врачей. Оказалось, что их посадили поговору врача Тимошук, награжденной ошибочно орденом Ленина. Страна в оцепенении молчала.

Главную тему мы с Серегой по-прежнему не затрагивали.

На выпускном вечере под аплодисменты Доду вручили золотую медаль, а мне — серебряную. Оба подали заявления в знаменитое высшее техническое училище имени Баумана,

прошли медицинскую комиссию и стали ждать собеседования, которое абитуриентам — медалистам заменяло вступительные экзамены.

Когда Дод узнал, что меня исключили из команды на поездку в Софию, он положил мне руку на плечо: *Сейчас главное — институт. Времена меняются, ещё приглашать будут, а пока утрись, сын Давида.*

Со значками перворазрядников, мы толкались в коридоре среди медалистов, в ожидании вызова. К трем часам толпа поредела. Серега отвел меня на лестницу: *Ты обратил внимание на фамилии вызываемых? Похоже, семитская часть народонаселения не вызывает интереса у приемной комиссии.* Вышел полный мужчина с зачесом, прикрывающим лысину. Он обвёл стихшую толпу очкариков и носатых недовольным взглядом: *По всем поступившим в комиссию документам собеседование на сегодня закончено.* Толпа зашумела. Мужчина поднял руку: *Ваши заявления утеряны.*

Худенькая девушка в очках с огромной смоляной косой до талии протиснулась к говорившему: *Я выиграла олимпиады по физике и математике.* Мужчина с недоумением оглядел физико-математическое создание: *вас, таких победителей как собак нерезаных. А наше учебное заведение на весь Советский Союз одно. Нам не победители... олимпиад разных нужны, а строители коммунизма.*

Коридор галдел. Мужчина опять поднял руку: *Ладно пощем ваши заявления. Как найдем — назначим время.* Серега толкнул меня локтём: *Ясно, какое теперь будет собеседование для этих страждущих. Хляем отсюда в темпе вальса, надо искать что-либо подходящее для специфической части народонаселения, в коей мы с тобой, несмотря на принадлежность к спорту, имеем честь состоять.*

Но я всё-таки пошел на собеседование. В большой комнате по периметру сидело человек двадцать взрослых и умных людей. Посреди стоял вращающийся стул. Вопросы сыпались со всех сторон. Я не успевал отвечать, путался. Вывод комиссии был немолчим — *отказать ввиду явно выраженной нелюбви к точным наукам.*

Серега на собеседование не пошёл. Мы взяли документы и отнесли в институт Химического машиностроения, который располагался на улице Карла Маркса, недалеко от Курского вокзала. Миловидная женщина в приемной комиссии спросила: *Вы москвичи?* — Серега развел понимающе руки. — *С Арбата, нам общежитие не нужно.* Женщина бросила взгляд на знаки нашей спортивной доблести. — *Зарегистрируйтесь на кафедре физвоспитания и через неделю приходите, назначим день собеседования.*

Через неделю мы увидели свои фамилии в списках студентов, никакого собеседования не было. Мы были в одной группе

элитного машиностроительного факультета. *Ты знаешь*, — сказал Серега, — *нам лучше на разных факультетах учиться. Нужна самостоятельность.* Я всё понял.

Дод уехал в Сочи. Я догадывался — не один.

Неожиданно тяжело заболела мама, ей нужно было усиленное питание. Я перестал ходить на тренировки и устроился на пилораму недалеко от Курского вокзала. Работал по две смены. Сестренку Роза Моисеевна устроила в загородный детский сад от института, где работал Ефим Яковлевич.

В последний день августа пятьдесят третьего в самой большой институтской аудитории первокурсников поздравлял проректор по учебной работе Сычев, высокий с роскошной рассыпающейся копной седоватых волос. Последний раз мы сидели с Серегой рядом. Он толкнул меня плечом: *Помнишь евреечку в коридоре с черной косой — победительницу олимпиад? Вон впереди сидит красавица. Моя родительница считает, что на таких жениться надо. Сама не пропадет и мужа вытащит.* — Серегу хитро посмеялся.

Мы вышли на улицу. Загорелый, отдохнувший Дод о своем отдыхе не рассказывал. Он подвел меня к доске, где висели списки зачисленных на первый курс. *Смотри*, — сказал он, ухмыльнувшись, — *ну прямо синагога. Интересно, кто разрешил?*

Лекции, семинары, тренировки, соревнования — свободного времени не оставалось. С Серегой мы встречались в институтских коридорах. Однажды я увидел на его правой руке тоненькое обручальное кольцо. Впервые в жизни я напился.

...В конце аллеи Дод тронул меня за рукав и кивнул в сторону.

— Здесь мои лежат. — Он тяжело задышал, оперся на мое плечо, обмяк и стал протяжно кашлять. — Это с аварии, что-то в бронхах мешает.

На двухметровой плите черного мрамора с серыми поблёскивающими вкраплениями звезда Давида. Под ней портреты молодых Розы Моисеевны и Ефима Яковлевича. В самом низу золоченной крупной вязью «Вместе навсегда».

— Красивая пара, — задумчиво проронил я.

— С разницей в полгода ушли... Извини, не спросил про твою матушку, — Серегу погладил ладонью плиту.

— Недалеко от входа лежит... Вы в каком году свалили?

— В семьдесят пятом, как Брежнев послабление дал... Я тогда уже нигде не работал... Сразу в Канаду.

— А чего не на обетованную? Жалеешь?

— Что свалили? И да, и нет. Чего назад смотреть? Двадцать пять годиков за кордоном, целая жизнь... не выкинешь...

— Сейчас Россия другая. Но я бы и тогда не уехал. Моё это всё. Россия без меня может, я без неё не смогу. Пафосно для тебя звучит... Если что у нас не так — я лично в ответе...

К нам из Мозамбика или Канады министров не присылают. Шолом-Алейхем — прекрасный писатель, но он ведь тоже Россия.

— Романтик ты, старче. А раньше, вроде, таким не был. — Дод стал платком протирать надгробье. — Знаешь, почему Запад впереди?

— Почему?

— Реалисты они, их самые крутые романтики в России трудолюбивыми бы считались... Хотя ты тоже трудолюбив... Мы когда в Вену приехали, Нина написала, что у неё четыре языка, не считая русского. Её проверили в каком-то университете и сразу Канаду предложили. У неё сразу заладилась, а я два года в иждивенцах кашу варил... Там политика никому не нужна... Думал разбежимся. Пока языки освоил, работу искал — годочки оттикали. Ушло моё время... Не случился я, Шура... А ты состоялся.

— В каком смысле?

— В прямом. Я в журнале про тебя всё прочел... Ты хоть знаешь, кто в институт наш дал команду евреям-медалистам без ограничений принимать, только чтоб без общезнания? У института по жилью дефицит большой был...

— Кто?

— Проректор Сычев. Дворянских, чистых кровей был Дмитрий Иванович. Богу угодно таких сохранять для совести России. Большевики всю его семью вырезали. Он не боялся говорить: таланты анкетой не назначаются. Со временем, конечно, потрафило — только что Злодей-Ирод отошёл, никто толком ничего не понимал, борьба с космополитами на излёте... Никита силу набирал, ему коврижку народу надобно сулить. Вот новый вождь и придумал войну с космополитами на борьбу с «культом личности» поменять. На том и поднимался, пока сам не осознал, куда эта борьба завести может. Мы с тобой тогда уже разбежались, а мать моя к Эренбургу меня отвела, мэтр полистал мои опусы и посоветовал работать... Она про Сычева от Эренбурга узнала. Так что, Шура, нас с тобой и ещё пару сотен *таких* приютит дворянин Сычёв. Это он спас меня, когда я, захлебываясь от собственной значимости, орал на комсомольском собрании, что будущее мира — кибернетика, а Норберт Винер — Эйнштейн в теории управления. Из комсомола и института мог вылететь под фанфары. А кто космополитов-профессоров Гутмана и Гольдфарба в институт на кафедры привёл?!

— Я не знал этого.

— Ты всегда в нормальных координатах пребывал... Мать к Дмитрию Ивановичу ездила перед распределением. Тебя он к серьёзным делам пристроил. А я всё правду искал, со своей литературной галиматьёй толкался. Без Нины уехал бы мошку в тундре кормить. У неё разум был, а у меня сопля, да амбиции. Чего уж теперь ручками махать... Я и за бугром пытался по словесности протиснуться, да не сладил с гордыней. Теперь от неё только

трубка да палка остались. Сжег я всё... Не получился из меня Бунин... А теперь главное... Когда брата отца Нины арестовали по делу врачей, моя мать это всё и придумала. — Серега снял панамку, вытер ею лоб. — ...А я не возражал. Она твоей матери сказала, что если ты не перестанешь встречаться с Ниной, то не только в Софию не поедешь, а вообще из «Динамо» вылетишь.

— Не так. Мне мама сказала, что вы с Ниной собираетесь пожениться.

— Она умная женщина была и понимала, что ты выберешь Нину, а не Софию, и себе жизнь сломаешь.

— А ты ведь не побоялся.

— Я всегда знал, что эта большевистская камарилья рано или поздно закончится. Только вот история страны и история конкретных людей чаще разные штуки... к сожалению. Ну да ладно, снял с души камень. Живы будем — не помрём! — Серега прикрыл рукой лицо.

Когда мы остановились у могилы мамы, Дод прищурился и, поглядев на солнце, тихо спросил:

— Часто бываешь?

— По воскресеньям, если не в отъезде.

— Мудрая твоя матушка была. Она однажды мне сказала: в часу минута, как скажешь, так и будет. Сколько раз проверял. Верно!.. — Мы молчали. — Ну что, к Дмитрию Ивановичу? — Дод тронул меня за плечо.

На могильной плите крупными буквами было начертано: «Русскому дворянину».

— Ты поставил? — спросил я.

— Он одинокий был. — Серега зажмурился и тяжело вздохнул. — Скольким помог! Святой был...

— Поехали ко мне, Нину, родителей, Дмитрия Ивановича помянем, — я обнял Серегу.

— Уже поминал их. Прощай, Шура. Земля, хоть и круглая, да уж нет времени снова свидеться. Слава Богу, успел покаяться... Прости, если сможешь. Судьба индейка, а жизнь копейка — помнишь, кто сказал... Хотя у тебя со словесностью всегда не густо было...

Дома я открыл холодильник, достал бутылку «Посольской» с черной этикеткой и пошел в спальню. Окно было открыто, с улицы доносился шум.

Вася не подавал признаков жизни. Я постучал по его корпусу.

— Васенька, дорогой, ну что случилось? — я тряс его изо всех сил.

Вася вздрогнул и пошёл.

Алексей СОМОВ

/ Саранца /



Корабельная

Ты чувствуешь себя пустой бутылью,
в которой некий хмурый демиург
игрушечный кораблик день за днем
настойчиво и кропотливо строит.

Ему в подмогу, кроме ловких пальцев
и вечности (которой не бывает
ни много и ни мало) — инструменты
загадочные, им же несть числа:

тончайшие и умные пинцеты,
и кисточки из беличьих ресниц,
и что-то вроде дидипутских лапок,
чему названья даже и не знаю.

(Такая нудная неспешная работа —
отличный способ скоротать разлуку,
иль, скажем, непогоду переждать.)

И понемногу из дрянного сора,
из чепухи, из тряпочек и спичек
растет в бутылке маленькое чудо,
бессмысленнейшее из всех чудес:

еще чуть-чуть — и назовешь его
пиратскою фелукой, или даже
египетскою лодкой погребальной,
а может, каравеллою какой.

Все прочее (небритые матросы,
который век страдающие от
цинги, похмелья, боцманских придинок,

а вот и бравый боцман с медной дудкой,
а вот соленый злобный ветерок,
присевший в ожидании на рее) —

все остальное довообразишь
и аккуратно утвердишь на полке
каминной, по соседству с чудесами
того же плана: выцветшее фото
с чужой необязательной улыбкой,
собачка неизвестной пыльной масти,
обкатанный гольш «привет из Гагр»
и раковина сонная, витая,
хранящая далекий шум-шум-шум
игрушечного кораблекрушенья.

* * *

Когда сторит гемоглобин
и сердце больше ни хт арбайтен,
далеким утром голубым
откинусь тихо и опратно
скажу: я родину любил
гоните родину обратно

Пусть дело набело сошьют
статью и срок надпишут жирно
и малой скоростью сошлют
в сарапул строгого режима
на семь смешных корявых букв
где всё из глины или гнили
где я прочел мою судьбу
в раскисшей безымянной книге
хрущевок и особняков
в осколках крашеного гипса
на стыках рельс и мокрых сгибах
дворов колодцев сыпняков
где облачко средь синевы
застыло в неподсудной выси
и жесткокрылый серафим
в наколках сизых мне явился
вложил неловкие слова
и душу наскоро приделал

.....

Все ближе к милому пределу
не страшно будет истлевать

Пётр КАЗАРНОВСКИЙ

/ Санкт-Петербург /



Рассказ Петроградской стороны

А.Б.

Они шли по Большому, и я попался им навстречу, свернув с Бармалеевой. Тут-то мы и повстречались. А дело было вечером...

Далее суть содержания меняется — случилась перестановка. Это трудно объяснить, да и зачем.

Мы шли по Большому — где-то неподалёку от Бармалеевой — и повстречали Павла Евгеньевича, того самого заскорузлого мужичка, но отнюдь не простака, а — музыканта. Был вечер, и Павлу Евгеньевичу было вольготно в клетчатой рубашке.

Мы не преминули остановиться и поговорить с дяденькой: что же всё-таки он думает по поводу всего этого. Павел Евгеньевич застеснялся и попробовал развести руками, но, почувствовав, как ветер завывает в его широких, но коротких (или наоборот) рукавах, готовый сорвать рубашку, он быстро скрестил руки на груди и сделал вид, что доволен. Таким был этот Павел Евгеньевич.

По нашей стороне похаживали слухи, будто у него есть брат и он тоже Павел Евгеньевич. Но справляться несколько раз у нашего Павла Евгеньевича об этом мы не решались, довольствовались первым и, может быть, вторым разом...

Сейчас он стоял, гордо скрестив руки на груди, однако боясь быть названным Павлом Евгеньевичем.

— Дяденька, дяденька, дядя Павлик, — затрепетали мы, стора от предвкушения счастья быть свидетелями слов его, — ну как? Что?

Растроганный таким началом, Павел Евгеньевич походил с одной ноги на другую и начал: «Вы-то, вы-то как?»

Мы обрадовались, что всё снова хорошо. Тогда мы ещё понимали, что означают эти слова, после которых глаза Павла Евгеньевича предавались шуренью на разные манеры. И мы действительно поддавались этому гипнозу. После мы всегда шли, теснясь, по тротуару. Павел Евгеньевич что-то бормотал себе, а мы

создавали вокруг него круговорот. Интересно, что в такие моменты мы забывали друг друга, свой возраст и все, так сказать, каноны. Бывало, очнёшься оттого, что кто-то кричит, посмотрим — а это какая-нибудь бабушка с тревогой на лице и с палочкой в руках. Спрашиваем, что, мол, случилось. А она уже со слезами в голосе — что мы её через дорогу перевести обещались. А Павел Евгеньевич улыбнётся только и дальше идёт, из-за плеча своего на нас поглядывая. Мы бабушку, понятно, переведём через дорогу и за ним вдогонку. А его нет, ни там ни сям. Позже уже вроде попривыкли: отыскивали в какой-нибудь подворотне. Он там к стене прислонится и знай себе головой качает — вправо-влево, вправо-влево.

Сейчас же ничего подобного не произошло. Мы мерно кружились в курсе маленьких шажков, которые совершала его сутулая фигура.

Пробегая мимо лица Павла Евгеньевича, каждый из нас считал себя обязанным заглянуть в него. То, что мы там видели, вряд ли поддаётся какому-нибудь анализу, и мы думаем, ненужно об этом говорить.

На данный момент, когда то, о чём мы пишем, разрушилось, мы понимаем, что всё сказанное нам Павлом Евгеньевичем — ничто. Но тогда-то нам это ни в коем случае не казалось. Это правда.

Один наш знакомый однажды встретил с нами Павла Евгеньевича. Кружился с нами вокруг него. А как только дядя Павлик зашёл в свой парадный, он вслух усомнился в причине нашего восторга. Мы этого нашего знакомого прогнали. А Павла Евгеньевича мы долго после этого не встречали. Странно, но вряд ли, чтобы он слышал эти слова.

Однажды нас подозвала какая-то смазливая бабёнка и стала нам ни с того ни с этого задавать вопросы. Это бы ещё ничего, но она сама на них отвечала. «Чего вам надо от этого козла?! — она, видать, при всей смазливости не стеснялась выражений и держала их в руках и за щекой, так как карманов не было. — Он же жену бросил, работу хорошую бросил. Кто он вообще? Где он работает? Кто его знакомые? Вы его знакомые? Да вы над ним только и знаете что подтруниваете. А он рукавицу разинул. Старый кретин! Говорит, что он музыкант. Да музыканты в манишках ходят и в Мерседесах разъезжают. Ненавижу вас, бездельники хреновы!» И она, истоцившись, пошла прочь, размахивая, что называется крутыми бёдрами и острыми лопатками, выдающимися под обтягивающим платьем. Ну, что мы могли поделать, выслушав такое?! Мы лишь сделали вывод обо всей женской породе. А Павел Евгеньевич после этого как-то виновато улыбался.

Однажды, совсем не ожидая его встретить, мы шли по Большой Пушкинской. Был день, наступающая осень сокрушала листья с деревьев и разбрасывала их ворохи. Солнце уже спокойно относилось к работе своей: без пыли-без жару. Люди шли

как-то беспокойно, попеременно задирали голову и, опуская, плевались. Мы тоже посмотрели вверх и увидели Павла Евгеньевича, стоящего на крыше. Конечно, все вам могут подтвердить, что музыки не было. Но это не так. Он там дирижировал. Павел Евгеньевич заметил нас и, не переставая, стал нам мигать и щуриться. Мы стали водить хороводы под торжественную музыку его. Зашло солнце, вышла луна, мы ушли домой, а он всё дирижировал. Мы смотрели из окон и видели дирижёра на фоне жёлтой луны. И всю ночь мы не могли уснуть, ворочаясь в своих кроватях, — гремела музыка.

Потом началась зима. И мы не понимали, почему в этом есть какая-то закономерность. Теперь нам всё стало понятно.

И после концерта Павел Евгеньевич долго не показывался нам. Наверно, он боялся, что нам не понравилась его музыка. А когда встретил, то не узнал нас. Но это и не мудрено.

Была зима, и мы безнадежно ходили по нашей стороне. Вдруг кто-то из нас затрепетал и вымолил, что идёт Павел Евгеньевич. Мы пустились к нему. И, правда, были ошарашены. Он и ухом не повёл, когда мы стали кружить вокруг него. А надо сказать, что это стоило нам большого труда. Было холодно — и все мы были забинтованы в одежды.

Он шёл с человеком непонятной внешности, челюсть которого явно была стеснена какими-то внешними обстоятельствами. Синий нос его был на сторону приплюснут. Павел Евгеньевич выглядел тоже неприглядно. Прежде всего, его клетчатая рубашка с короткими рукавами была надета поверх пальто, которое, в свою очередь, было застёгнуто невпопад.

Теперь, когда всё это разрешилось, мы думаем, что это был вовсе не Павел Евгеньевич.

Через несколько времени после той встречи, — согласитесь, странной — мы опять встретили Павла Евгеньевича. Он бы строг в одежде своей, как-то непривычно подтянут и сутул. Из карманов его пальто торчали горлышки бутылок. Он изредка дотрагивался до них и благоговейно нежно похлопывал. Мы, как водится, окружили его. Стали задавать вопросы, он же ничего нам на это не ответил, но видно было: нас припомнил. В его лице случились перемены — оно было измождено до голубого отлива. На протяжении всего нашего пути до парадной Павла Евгеньевича мы пытались встроиться в ритм его шагов. Но ритм его не имел членораздельности. Мы же не были обаятельными танцорами. Да и зима влияла на нас.

Непонятно чем, но мы были расстроены. И так до весны не встречали Павла Евгеньевича.

Но наступила весна, поначалу обрадовавшись этому, мы вывалили на улицу. Потом, когда наши головы расплавились от жары, мы нехотя додумались, что это всё глупо и лучше было бы, если бы всё осталось по-прежнему.

На улице, куда мы вывалили, было много народу. Но только один человек отличался ото всех. Это был Павел Евгеньевич. Он был очень легко одет, и на него было страшно смотреть. Хотя он и не показывал чувства холода наружу. Вероятно, он тоже обладал тою же бесшабашностью в одежде, что и мы: если один день мало-мальски тёплый, то следующие просто не могут быть холодными.

Мы окружили Павла Евгеньевича и стали спрашивать его, как дела, однако, уже боясь подвоха — вдруг не узнал?! — но нет, — он улыбнулся и, сощурившись, сказал: «Вы-то, вы-то как?» Мы обрадовались, мы были искренне счастливы и побежали вокруг него мерным гуськом, заглядывая ему в лицо. Но что-то изменилось там. Какая-то тревога жгла и расточала его, и его подмигивания и прищурки изрядно поистерлись с памяти кожи его немного занемогшего лица. Но разве мы думали тогда об этом?! Нам было хорошо. Нам было счастливо.

В другой раз, в следующую нашу встречу с дядей Павликом, мы опять были довольны. Мы были как слепцы. Мы не замечали каких-то непонятных, но явных устремлений Павла Евгеньевича.

Но вот в третью нашу встречу по весне мы оказались сломлены. Как обычно, предаваясь хороводу, заглядывая в лицо дяденьке, мы чуть было даже не остановились. Он прекратил мигать и во все глаза уставился куда-то в сторону. Он остановился. Мимо прошла девушка в белом платье. Павел Евгеньевич порвал наш круг — и мы впервые видели от него такие скорые движения, как он — побежал.

На следующее утро мы уже бродили по Большому, ожидая встречи. И дождались.

Павел Евгеньевич в чёрном костюме, высокий — да такой, что ему невозможно было, как обычно, заглянуть в глаза, — бледный, с тростью в одной и цветами в другой руке, вышел и попался нам навстречу. Он, похоже, этого не ожидал и попытался сделать вид, что не узнал нас. Мы же попытались сделать вид, что этого не заметили, и выстроились в хоровод. Но он уехал.

До позднего вечера мы ждали его. И когда уже потеряли нить времени, увидели Павла Евгеньевича. Он нам слегка улыбнулся и едва заметно подмигнул. Мы были рады этому обстоятельству. И с новым неистовством чувства стали кружить свой хоровод. Мы и не обратили внимания, что Павел Евгеньевич слегка усмехнулся, и лицо его приняло скучающее выражение. Мы дошли до его дома, вовсе не собираясь так быстро отпустить. Но что-то внесло замешательство в наш хоровод. Очнувшись от какой-то паники, мы не нашли Павла Евгеньевича нигде. И дверь, кажется, не открывалась и не закрывалась. Мы припали ушами к дверной щели: с лестницы как будто доносились усталые звуки шагов.

Мы боялись обидеть дядю Павлика, но всё его поведение, отношение к нам свидетельствовало, что мы всё же сделали ему как-то плохо. Мы мучились. Каждый день встречая высокого,

красивого Павла Евгеньевича, мы ощущали его отчуждение, он отдалялся от нас. Мы ничего не понимали тогда: зачем ему костюм, зачем ему такой торжественный вид, зачем цветы, зачем каждый день куда-то ехать... Теперь мы, наверно, всё понимаем.

И дни наши превратились в жизнь. Они текли. И это было как-то особенно мучительно, потому что, видать, испытывалось впервые. Мы не хотели этого и каждый день ждали Павла Евгеньевича. Того Павла Евгеньевича, старого, — не этого высокого, красивого, холодного до нас. А этот Павел Евгеньевич являлся нам каждый день и, казалось, как-то высокомерно удивлялся, что мы его не узнаём. Мы, сгрудившись, смотрели ему вслед, как он мягко удалялся, размахивая тростью.

Печально наблюдать перемены в человеке, особенно когда они ему не к лицу. Но скоро мы убедились, что всё время предавались заблуждению. Человеку невозможно измениться. Можно только изменить себе. А это добра не несёт.

Поздно вечером майских суток, когда в одиннадцать вечера с пятидесяти метров уже можно узнать человека, мы прогуливались по Большому. Верно, мы ни на что не надеялись. И, скорее всего, именно это наградило нас. А главное — поразило.

Невдалеке мы увидели небольшого роста человека в чёрном пальто. Ненароком приблизившись к нему, мы воскликнули: «Павел Евгеньевич!» Да, это был он. Для того, чтобы заглянуть ему в глаза, надо было нагибаться градусов до 60. Его чёрный пиджак сам собою превратился в пальто, и полы волочились по тротуару. Делая невнятные шаги, Павел Евгеньевич остолбенело смотрел в землю. Мы окружили его, присели на корточки и стали тихо спрашивать: «Павел Евгеньевич, дяденька, дядя Павлик, ну как? Что?» Он поднял голову, посмотрел на нас, подмигнул всем взглядом и, разведя руки, свёл их в хлопок, выкрикнув: «Да ну!..» Другим бы обязательно показалось, что это развязный тон; мы же уверенно услышали в голосе дяди Павлика стократное разочарование. Он нам невнятно улыбнулся. Нам было, правда, его жаль. И мы на корточках попрыгали вокруг него, пока он шёл домой, даже не думая заглядывать ему в лицо.

Наутро мы ждали его у парадного. Но он не появился. Следующие дни он также не показывался...

И мы решились на отчаянность. Мы пришли к нему домой, сами, без приглашения. Его квартира предстала нам в виде небольшого коридора, довольно просторной комнаты и всего остального. Но смотрели мы всё в комнате. Она была проста и светла. Почти у стены стоял рояль, рядом — стол, заваленный какими-то вещами. У другой стены стоял диван, на котором лежал голый по пояс Павел Евгеньевич. Его клетчатая рубашка с короткими рукавами изорванной валялась на полу тут же. Чёрный пиджак с грязными полами нещадно смятым, скомканным — в ногах у лежащего. Павел Евгеньевич был без движений. Одна рука его была неловко подогнута под себя, другая лежала на жи-

воте. На щеках его были хорошо заметны красные и голубые сосуды. Нос — прям и бел, глаза и губы — плотно сомкнуты. По лбу проходила странной формы морщина. Единственное, что мы не помним совсем в Павле Евгеньевиче, — так это его волос: какого они были цвета, и были ли вообще. Мы не знаем, спал Павел Евгеньевич или умер, но мы не стали его пытаться разбудить. Далее мы обратили внимание на картину, стоявшую на стуле:

Был изображён наш Большой проспект, совершенно пустой, без машин; светлая пасмурность оставляла тени на домах; но главное — посреди проезжей части кружилась прекрасная пара. В мужчине мы узнали Павла Евгеньевича, в чёрном костюме; его партнёршей была девушка в белом платье. Непонятно было, летят ли они. Или это солнце восходит. Но картина была озарена каким-то неясным лучом... Танцующие отражались в стёклах вершин. Картина нам очень понравилась, и мы покружились вокруг неё.

Затем — стены. Одну стену занимала полностью фотография людей в чёрных фраках с белыми манишками. Мы стали её разглядывать и узнали в одном Павла Евгеньевича. Другая стена пестрела надписями. Наверное, это был дневник дяди Павлика. Мало ли что там было написано! И мы ушли.

На другой день мы отправились вновь домой к Павлу Евгеньевичу. Открыв дверь, увидели совсем другую квартиру: из множества комнат стали выходить старухи и, негодуя на нас за беспокойство, побежали на нас в прихожую. Мы стали им кричать, где Павел Евгеньевич. Они же, злобно шепча, шипя, выпроваживали нас за дверь. Выходя на улицу, мы встретили девушку и спросили, не знает ли она Павла Евгеньевича, музыканта. Она нам улыбнулась и ответила, что дом только что заселён, оправившись от капитального ремонта. Мы перешли на другую сторону Бармалеевой и обвели глазами весь дом. Никаких изменений не заметив, вышли мы на Большой и там увидели всё привычным.

С тех пор прошло... Да какая разница, сколько времени прошло с тех пор. Мы его не считаем. Оно проходит мимо нас.

С тех пор мы впали в сомненье. Было ли всё это? Был ли сам Павел Евгеньевич?

С тех пор мы совершенно не встречаемся. Каждый из нас — один. Что-то уже мешает нам быть вместе и кружиться в хороводе. А может, не для кого кружиться... А может, нет именно Павла Евгеньевича, дяди Павлика. А что если его и не было?..

Иногда мы, сами того не понимая, собираемся на Большом. И что-то непонятное тянет убежать обратно, домой. Нам не хочется видеть друг друга. Может, это и стыд. Но иногда мы всё-таки собираемся и степенно прогуливаемся по Большому. Мы делаем вид, что для нас нет ничего неясного, непонятного. А так ли на самом деле? Никто не вспоминает о Павле Евгеньевиче, никто не говорит о дяде Павлике.

Мы все боимся. А что — если этого не было?

Весна 1988, лето 2010

Наталья АЗАРОВА

/ Москва /



В этом сентябре юбилей поэта-и-мудреца Б. Конструктора. Несколько стихотворений, обращенных к Борису, написаны, в основном, в разных сентябрях, наверное, потому что это самое чудесное и равноденное время для рождения. С добрым-мудрецом-разговоры теперь будут называться «ленивые беседы».

С Днем Рождения!

ленивые беседы

продолжив жить
сегодня Бог
из стольких склянок
для продолженья выбрал дождь

из лёгких капсулок
сочится небо
летают потолки
по седине

из розовой грозы
недребезжащей
потрескивает кисточками бабочек
в стакан

темнеет
нам читает
разомкнутая кома
речь

Б. Констриктору

не замызгай мозг
; нещадномудрый!

домашнее письмо Б.К.

пол пути пол Бога
пологое болотистое благо
положено и радугу выращивать на грядке

для радуг-близнецов есть термин но забыла
я ехала так широко как петь в воротах
вспоминая ты
я уплетаю корюшку за корюшкой
лицом к зеленой ширме доброты

P.S.

Б.К.! приезжай в
 пунические одуванчики
борскую тюрю арабского неба

18 апреля 2008

Б. Констриктору

сентябрь рождение величием со смерть
гуртом цепляясь движутся друг к другу
 вещи деревьев всё выше
ценой травой плывёт прицеп солнца
 а воссиянная висела
 напоминает злая псина спины
очная осень цветёт нецветочно
 язвы звонки завязи
 густые гости
 прободение добра
а я теплом увилывая повелевая
 мне так одновременно
и реет населённый ленью пунктир
 решение шрифта
 небесного

15 сентября 2008

Б.К.

и я вовлечена во смерть
в уже ни-облачное небо
день выдался вперёд своей длиной

я столько способов способней
но не вижу

11 марта 2010

ЛЕНИВЫЕ БЕСЕДЫ

боря
я своё гонишь
какбудто Богу
не хватает места

когда
душа забилаась в мозг
ейбудто
незачем вылазить

с неба свалились вёсла птиц
богостремительно
и
богобежно

я
моисей воскресного посла
уселась на обед
посередине

14 июля 2010



Александр ЛАСКИН

/ Санкт-Петербург /

Сарра и Николаевна¹

Повесть из романа

*Не пугайся — только дай
Обернуться птицей.*

Ицик Мангер²

Глава первая. Детство Сарры

1

Чаще всего люди пребывают среди живых, а исторические авторы больше всего времени проводят среди мертвых.

Да и заботы у них не такие, как у других. Ведь нет никого беззащитнее их подопечных.

Все время чувствуешь за спиной чужое присутствие, а, обернувшись, не обнаруживаешь никого.

¹ Для того, чтобы иметь представление о документальном романе «Дом горит, часы идут», читателю следует воспользоваться опытом составления детского конструктора. Первым отрывок из романа опубликовал журнал «Петербург» (№1–2, 2010). Затем была публикация нескольких глав в интернет-журнале «Toronto Slavic Quarterly» (№ 31, 2010). Журнальный вариант первых двух частей напечатала питерская «Нева» (№ 5, 2010). Предлагаемая вашему вниманию третья часть — наиболее самостоятельная во всем романе. В ней рассказана история Сарры Николаевны Левицкой (1888 — 1966) — этой замечательной женщине в первую очередь мы обязаны знанием о главном герое книги Коле Блинове. Тут следует с благодарностью упомянуть ивановского ученого Е.В. Таланова, познакомившего меня с архивом Левицкой. Еще надо несколько слов сказать о самом Блинове. Жил Коля в Житомире, учился в Женевском университете, вместе с женой Лизой воспитывал двоих маленьких детей. 23 апреля 1905 года во время погрома он попытался встать на защиту евреев и погиб от рук погромщиков. Помня об этом важнейшем для книги событии, вы можете приступать к чтению «повести из романа».

² Пер. с идиш М. Фаттахутдиновой

Потом вновь начинает казаться, что кто-то есть. Ясно видишь, как один говорит другому: эх, куда его занесло!

Так и существуешь вместе с этим элизиумом. Однажды возникает уверенность, что ты один из них.

Правда, не то чтобы уходишь безвозвратно. Отвлечешься на текущие дела и опять возвращаешься к своим героям.

2

В первую очередь, конечно, имя. Уж очень многое в этой истории оно определяет.

У остальных детей Левицких имена как имена, а одну девочку назвали Саррой.

Ясно, что такое не бывает просто так и тут должны быть особые причины.

Главная заключалась в том, что бабушкина сестра была игуменьей, и родители решили ее помянуть.

Почему именно Сарра стала Саррой? Ведь это имя могла получить одна из ее сестер.

Видно, кто-то указал на нее. Пусть, мол, у третьего ребенка в этом семействе будет такая судьба.

Наверное, следовало поостеречься. Сами знаете, чем подчас оборачиваются такие вещи.

Не станешь же объяснять погромщикам, что Библия принадлежит не кому-то одному, а всем.

Впрочем, что для Левицких призыв к осторожности? У них скорее принято лезть на рожон.

Неслучайно глава этого рода Михаил Бодиско участвовал в восстании на Сенатской.

С тех пор и повелось у них выходить на площадь. Делать то, что считаешь наиболее правильным.

Правда, мать Сарры, Мария Михайловна, не очень настаивала. Не вмешайся сама девочка, то называться бы ей Таней.

3

По поводу Тани тоже было указание. Ведь Сарра родилась в день покровительницы Московского университета.

Некоторое время существовала под двумя именами. Сама точно не знала, какое из них главное.

На вопрос, как ее зовут, отвечала: «Са...», а потом себя поправляла: «Таня».

Однажды был сделан окончательный выбор. Мать сказала, что ее зовут: «Та...», но она ее оборвала.

Да какая же «Та...», когда «Сарра». Искать для себя поблажек она не намерена.

Ее сверстницы мечтают о кавалерах, а ей вот чего хочется. Чтобы было не проще, а сложнее.

Сразу после того, как она определилась с именем, ей пришлось отвечать за свои слова.

Представьте длинную аллею вроде тех, что украшают прозу Тургенева и Бунина.

Правда, о возвышенном думать трудно. Больно противно звучит голос над ухом.

Впереди Сарры бежит Володя и выкрикивает ее имя. Изо всех сил раскатывает букву «р».

Она могла бы объяснить с мальчиком. Сказать, что не меньше чем он имеет право называться русской.

Это был бы слишком легкий путь. Раз ей послано испытание, она постарается с ним не разминуться.

Кстати, как будет лучше: что-то сказать в лицо обидчику или, напротив, сомкнуть уста?

Левицкая пока ничего не знает о Блинове. О том, как он протягивал вперед руки и шел навстречу врагу.

Словно говорил: ничего, кроме собственной жизни, я предложить не могу.

Сарра решила уйти в себя. Показала, что не станет опускаться до разговоров.

Она продемонстрировала, что считает себя Саррой. Даже эти «р» принимает на свой счет.

Как это соотносится с усадьбой под Тулой? Она не видела тут противоречия.

Как-то у нее выходило быть русской и еврейкой. Саррой и Николаевной в одном лице.

4

Имение — лучший способ жить наособицу. Это в городе ты один из многих, а тут пребываешь в единственном числе.

Конечно, есть еще домочадцы, но каждый из них тоже существует сам по себе.

Кстати, точка зрения помещика Тургенева отличается от позиции помещиков Левицких.

Мир писателя ограничен по меже. Его поэтическое хозяйство равно земельным владениям.

Мало того, что на соседа он смотрит со стороны, но и с крестьянами его многое разделяет.

Никогда не переступит этой границы. Помнит не только о положении автора, но об имущественных правах.

Левицкие с этим не согласны. Считают, что куда правильной ничем не отличаться от других.

Однажды Сарра пострадала от этого равенства. Против нее объединились крестьянские дети.

Она не стала говорить, что имеет все основания. Что уже в каком поколении им принадлежит эта земля.

Просто взялась за снежки. В честном сражении отвоевала право играть вместе со всеми.

Кстати, о писателях-помещиках. У Левицких что ни сосед, то критик, или романист.

О Тургеневе уже упоминалось. Правда, в Саррины времена дружбу вели с Толстым и Грановским.

Возвращаются, к примеру, из города. Проезжая мимо Ясной Поляны, непременно заглянут на огонек.

Часто такие встречи похожи на интервью, — мол, чем порадуете, дорогой граф? — но у них все по-другому.

Каждому хочется взять реванш. Как можно дольше держать внимание стола.

Бывало, самую интересную историю рассказывал не Толстой, а Саррин отец.

Говорят, кое-что Лев Николаевич использовал потом в своих произведениях.

Наутро гости еще не проснулись, а он уже примеривается: куда бы приспособить эту деталь?

Ближе всех Левицким Грановский. Не только территориально, но и потому, что они состоят в родстве.

В их присутствии куда-то девается профессорский лоск. Если хозяина потянет читать лекцию, то соседи его отвлекут.

5

Вряд ли это получилось просто так. Следует долго готовить почву, чтобы она дала плоды.

Началось все с дедушек. Даже когда они оставили этот мир, их присутствие ощущалось.

Каждый сделал что-то особенное. К примеру, дедушка со стороны отца решил разбогатеть честным путем.

Да что Иван Иванович — не русский, что ли? Не понимает, что раз ты задался такой целью, то не следует воротить носом.

Оказалось, задача вполне достижимая. Не пришлось ни в чем покрывать душой.

С тех пор так и повелось. Жили не как получится, а в точности по его рекомендациям.

В двенадцати пунктах дедушка зафиксировал основные правила. Много раз на дню сверялся с этой бумагой.

Удостоверится, что все нормально. Вроде ни одним советом не пренебрег.

Были некоторые проблемы с шестым и седьмым, но он все же себя удержал.

Хорошо, что существуют эти законы. Что мир не несется сломя голову, а стоит на прочных основаниях.

Это, конечно, не предел. Надо и дальше совершенствовать семейную конституцию.

Иногда Иван Иванович единоличным решением вводил временные запреты.

Ведь ситуация меняется постоянно. В один период что-то можно, а в другой уже нельзя.

Во время Крымской кампании он не приветствовал столь любимые его близкими чаепития.

Мол, как же это так. Наши солдаты страдают в окопах, а мы тут расслаживаемся.

По той же логике следовало отменить обеды, но эта жертва показалась ему непосильной.

Дело не в том, что обидно расставаться с привычным весом. Куда больше жаль разговоров.

Ведь в столовой не только едят. Здесь решаются самые важные проблемы.

Еще здесь приобщаются к традиции. Ставят вопрос о месте и роли каждого члена семьи.

Ответ будет совершенно конкретным. По правую или левую руку, в середине или конце стола.

В том же порядке прислуга разливает суп. Начиная старшими и заканчивая младшими, терпеливо ждущими своей очереди.

6

К освобождению крестьян Иван Иванович отнесся с опаской. Все же одним ограничением меньше.

Как-то, знаете ли, боязно. Уж очень безбрежна окружающая действительность.

Да и человек склонен к неадекватности. Только почует свободу и пустится во все тяжкие.

Еще хорошо, если запьет. Хуже, когда открывшиеся возможности потратит на ерунду.

Свобода — это пустота, в которой надлежит установить стрелки и указатели.

Не у всех это получается. Кому-то нравится, когда за них это делают другие.

Тогда уж лучше не пробовать. Все же запреты гарантируют хоть какую-то мораль.

Умер дедушка с распятием в руках. Словно приготовившись предстать перед Всевышним.

Этот человек всегда имел в виду то, что больше и существенней его самого.

Многие это чувствовали. Поэтому на похоронах собралось невиданное количество людей.

Сперва они шли за гробом, а потом долго не расходились. Чувство у всех было такое, словно он где-то недалеко.

7

Существовал еще один дед, Михаил Андреевич Бодиско. Во многом противоположность Ивана Ивановича.

Еще упомянем его брата Бориса. Они совсем юными стали участниками истории.

Несмотря на то, что им достались не первые роли, но кое-что успели почувствовать.

Как молодым людям без таких испытаний. Они всегда там, где порох, дым и огонь.

Братья не состояли в тайном обществе и имели право отойти в сторону. Впрочем, какие они тогда мужчины и офицеры.

Да и как повзрослеть, ни в чем не участвуя? К вечеру они уже знали, что самое главное произошло.

Можно было подводить итоги. Постараться взглянуть на события не вблизи, а издалека.

Например, спросить себя: в какой мере гражданам дано вмешаться в судьбу страны?

Еще надо было понять: случайно они оказались на площади? Было ли это их стремление или чье-то еще?

Жизнь Бориса оказалась короткой. Видно, если тебе суждено быть убитым, то это рано или поздно произойдет.

Брата отправили на Кавказ. Он так отчаянно бился с горцами, будто хотел что-то недосказанное досказать.

Тут и нашла его пуля. Это могло произойти в двадцать пятом, но она, немного подзадержавшись, догнала его в двадцать восьмом.

8

В жизни Михаила совпало окончание морского корпуса и это восстание. Сперва один экзамен, потом другой.

Следственная комиссия учла его возраст. Ему досталось не пожизненное заключение, а только семь лет.

Хоть это не вечность, но тоже кое-что. Тысячу раз поразмысляешь, почему вышло так, а не иначе.

В крепости давали читать только Библию. Впрочем, в его ситуации вряд ли нужно что-то еще.

Через пару лет пришла ясность. К концу срока он окончательно в этом утвердился.

Когда после тюрьмы его направили на усмирение польского бунта, то эти выводы пригодились.

Неслучайно выпало это испытание. Ему предлагали взглянуть на восстание не изнутри, а извне.

Надо сказать, Михаил держался твердо. Ни разу не выстрелил в тех, кого считал невиновными.

Зато уток бил без всяких сомнений. Затем всей ротой добычу жарили и с удовольствием ели.

Опять Бодиско подводил итоги. Думал о том как в эпицентре истории сохранить себя.

Что с того, что на нем военная форма? Человеку принципиально это не помешает.

Иногда ощущение отдельности переходило в неуравновешенность. Однажды что-то нашло, и он накричал на крестьянина.

В голове мелькнуло: значит, зря выходил на Сенатскую, если позволяешь себе такое.

Потом взял себя в руки. Вспомнил свечу на столе и выделенную ею важную мысль.

Когда пришло отрезвление, он бросился к крепостному и встал перед ним на колени.

Это тоже неадекватность. Впрочем, у Бодиско по-другому никак не получается.

Хотя собственный суд — не каторга, но и не пустяк. Эту минуту не забудут ни обидчик, ни обиженный.

9

Вот ведь как. Мог быть вполне рядовой день, а вышел красный день календаря.

С тех пор в жизни участников декабрьского восстания такие вещи случались постоянно.

Самые скучные ситуации поворачивались неожиданной стороной. Начинали сверкать как вымытая посуда.

Как оказалось, существование каторжанина неоднозначно. Удовольствия совсем не исключены.

Комендант Бобруйской крепости оказался либералом. Если бы не обязанности по службе, то он бы примкнул к восставшим.

Впрочем, и в своем зависимом положении он кое-что позволял. Часто арестанты отправлялись в город.

У местных барышень голова шла кругом при виде такого количества отменных молодых людей.

Окружающее пространство тоже начинало меняться. Скромные комнаты превращались в дворцовые залы.

То, что танцующие натывались на диваны, только прибавляло веселья и шума.

Когда у Бодиско возникали какие-то трудности, он сразу вспоминал эти праздники.

Значит, дело исключительно в ракурсе. В том, что уж очень мрачно мы смотрим на все.

Небольшое усилие, и все изменится. Откуда не возьмись появится дирижер.

Дирижер будет не то чтобы настоящий. Настоящие главным образом машут палочкой, а этот по большей части сидит в тюрьме.

10

Потомки Бодиско тоже считали, что это вопрос веры. Там, где начинаются сомнения, там возникают страхи.

Этим Левицкая и спасалась. Скажет себе, что все в порядке, и сразу становится легче.

Еще помогало то, что у нее два дедушки. По одному поводу она вспоминала Ивана, а по-другому Михаила.

Первый подавал пример правильно прожитой частной жизни, а второй общественной.

Правда, вернувшись из ссылки, Бодиско тоже полюбил частную жизнь. Даже сочинил сказку для детей.

Произведение получилось не отвлеченное. Этот человек всегда думал о главном.

Текст он не записал. Видно, надеялся на то, что близкие смогут сохранить его в памяти.

Так что Сарра вмешалась вовремя. Еще немного, и нечего было бы восстанавливать.

Удивительно, что это не беловик, а черновик. Кажется, она вспоминала не только сюжет, но интонацию.

Вновь искала единственно-правильный вариант. Десять раз зачеркивала и начинала опять.

Так и должна осуществлять себя преемственность. В многократных попытках что-то уточнить.

Ну что с того, что какие-то фразы звучат неуклюже. Именно в них лучше всего живет устная речь.

Сарра не только слышала, но представляла дедушку. Удобно устроившись в кресле, он приступал к рассказу.

Его борода и шедеюра так подходили к этой роли, словно он их надел специально по этому случаю.

Да и хаат выглядел почти как хаат волшебника. Не хватало только чамы.

Дети сидели тихо как на спектакле. Больше всего боялись, что это чудо когда-нибудь закончится.

«Ей было 16 лет, и она любила жизнь. — говорил Михаил Андреевич, — Однажды ей приснился сон. Стоит она на высокой горе и перед ней расстилается Вселенная. И видит она, что незримые руки подносят ей венец, весь свитый из ярких звездочек, но то были не звезды, а светлей их искрились сотни детских глаз, которые открылись к свету и знанию... Девушка протянула обе руки, чтобы схватить венец, но он тихо плыл мимо, а Голос сказал: «Подожди выбирать». И увидела девушка другой венец, весь сверкающий и переливающийся алмазами, но то были не алмазы, то были слезы, бесчисленные слезы больных и раненных, отертые нежной и любящей рукой сестры милосердия. Затрепетала девушка и протянула руки и за этим венцом, но он так же тихо плыл мимо, а Голос сказал: «Подожди». И вот раздвинулись рамки вселенной перед глазами зачарованной девушки. Предстали несметные толпы людей, она услышала крики: «Тебе, тебе венец бессмертия и славы!» И увидела она лавровый венок художников и артистов. Всем существом потянулась к нему девушка. Но сжалась рамки Вселенной, погасли огни, умолкли хвалебные голоса, исчезли толпы народные, и увидела перед собой девушка старинный деревенский садик, заросший сиренью и жасмином и там, в аллее из роз, стоял юноша — избранник ее сердца. На лице его были улыбка и слезы. Он протягивал ей терновый венец, в котором среди острых шипов алели несколько

царственно-прекрасных роз. Он сказал ей: «Моя любимая, моя невеста, пойдем со мной. Тернист и труден будет наш путь, но будут на нем яркие розы счастья».

И стала она молить и просить Незримого, чтобы дал он ей все эти венцы, потому что все они были прекрасны, но Голос сказал: «Оставь что-нибудь другим. И радуйся, что нет ни одной женской доли, самой одинокой и беспросветной, в которой бы не цвела хоть одна пышная роза, не сияла бы хоть одна лучезарная звезда».

Теперь понимаете, что за люди выходили на Сенатскую площадь. Какие слова были в их словаре.

Вряд ли их недоброжелатели соединяли в одной фразе «пышные» и «лучезарные».

Что говорить, лексика устаревшая. Впрочем, людей, которые бы так думали, тоже сейчас нет.

Смысл этой истории заключался в том, что никому не дано уйти от судьбы.

Вот и дедушка не уклонялся. Участвовал в восстании, сидел в крепости и, наконец, воевал.

Не отдал предпочтения ни одному из венцов. Не считал, что милосердие хуже славы или наоборот.

Тут ведь не одно и другое, а все вместе. Если попадают розы, то они в тоже время и тернии.

Нет венцов лучше или хуже, удобней или неудобней. Еще попросите, чтобы не кололся и спасал от дождя.

Ну а это диковинное на сегодняшний взгляд стремление все называть с большой буквы?

Как недружелюбна была к нему жизнь, а он не разучился самое незначительное видеть как огромное.

Надо сказать, в семейной истории венцы упомянуты дважды. Возможно, между тем и этим примером существует связь.

Правда, неизвестно, что было сначала. Тот, что из сказки Бодиско или другой, из стихотворения Плещеева?

11

Саррина мать догадывалась, что стихи имеют шипы. Правда, не все способны о них уколоться.

Для этого нужно не различать настоящее и будущее. Чувствовать те угрозы, которых еще можно избежать.

Необязательно это что-то глобальное. Порой опасность не больше комариного укуса.

Вот, к примеру, слово. Эту подробность даже в лупу не всегда разглядишь.

Впрочем, кто знает, о какой камешек споткнешься, потеряешь равновесие, и полетишь вниз.

12

В их доме любили плещеевский «Подснежник», но на одну страницу в этой книге был наложен запрет.

Был у Христа-младенца сад,
И много роз взрастил он в нем,
Когда же розы расцвели
Детей еврейских созвал он.

Они сорвали по цветку
И сад был весь опустошен.
«Как ты сплетешь себе венок?
В твоём саду нет больше роз».

«Вы позабыли, что шипы
Остались мне», — сказал Христос.
И из шипов они сплели
Венец терновый для него.

И капли крови вместо роз
Чело украсили его.

Видно, потому розы напоминают кровь, что на Христа-младенца ложится тень гибели. В финале он уже тот, кого распяли на кресте.

Да и дети какие-то странные. Если им надлежит сплести венец, то они и есть его убийцы.

Только одно слово неприлично торчит. Невозможно объяснить, почему дети не соседские или какие ещё.

Видно, автор чего-то не рассчитал. Поставил определение так, что оно стало главным в строке.

В обращении со столь малыми величинами надо быть осторожней. Стараться, чтобы одно соотносилось с другим.

Когда Сарра выросла и нарушила запрет, то ещё раз полюбавалась своими родителями.

За это время она во многом разобралась. Не только какая-то формула, но целые страницы были ей не страшны.

13

В двенадцать лет Левицкая себя спрашивала: если бы она действительно была еврейкой, то была бы она хоть на йоту хуже?

Ответ был: конечно, нет. Значит, надо доказать тем, кто думает иначе, что дело в их воспалённом сознании.

К этой задаче Сарра отнеслась так же серьёзно как к гимназическим обязанностям.

Какая отличница без собственной библиотеки? Без возможности постоянно учиться?

Протянул руку к заветной полке — и тебе открылось что-то новое. Можешь эти знания нести дальше.

На мелкие расходы дети получали по двадцать копеек. Так вот, она их тратила не на мороженое, а на книги.

Вскоре сложилось отличное собрание. Здесь было все, что нужно начинающей еврейке, в диапазоне от Авраама до Якова.

При этом Левицкая не забросила кукол. Возможно, рассказывала их на диване и читала вслух.

Куклы не возражали. Подобно кошкам, они старались во всем походить на своих владельцев.

Интересно, была ли среди них хоть одна черноволосая и с крупными чертами лица?

Можно размышлять дальше: часто ли они ссорились? Наверное, одни стояли за темных, а другие за светлых?

14

Долгое время преодолеть дистанцию не удавалось. На многое Сарра смотрела не как на свое, а как на чужое.

Однажды еврейский мир для нее открылся. Кто-то в считанные минуты поменял ее оптику.

Это странное чувство пришло на украинском базаре среди шума и толчеи.

Разумеется, здесь были слышны голоса евреев. Все же в черте оседлости они вели себя более раскованно.

До того дошло, что лавку украсили вывеской на иврите. Прежде эти буквы она видела только в книгах.

Здесь буквы вели себя активно. Обращались не только к посвященным, но к любому прохожему.

Удивительно показалось и то, что речь шла о конкретных вещах. Одно слово означало — «пирожные», а другое — «конфеты».

«Я не помню сколько времени стояла... Вот тогда я поняла, что живу на земле, называемой «пространством для жизни евреев».

Так в поздние годы Сарра писала на языке эсперанто. В этот период все ее единомышленники были в то же время эсперантисты.

Пока поговорим не об этом ее увлечении, а о самом языке. Так же как иврит, он имел своего автора.

Правда, творец эсперанто Земенгоф на Всевышнего смахивал лишь в той степени, в которой тот походил на еврея.

Больше всего он напоминал Корчака. Тот же рост, маленькая борода и светлый взгляд из-под очков.

Оба умудрялись совмещать художественное творчество и врачебную практику.

Звали Земенгофа Лазарь Маркович. Родился он в польском городе Белосток.

Так что тревога чувствовалась с детства. Вокруг проживали люди многих наций, но любви между ними не наблюдалось.

Вот он и попытался их примирить. На основании многих языков создать один.

Проблемы тут те же, что у Сарры. Так что, занявшись эсперанто, она не изменила своим целям.

В процитированной фразе несколько смыслов. То есть сперва был один, а потом прибавились другие.

Очевидно, что «место для жизни евреев» с каждым годом становилось все меньше.

Причем не столько за счет территории, сколько благодаря тем, кто ее населял.

Закончилось все пятачком колючей проволоки. Евреям разрешалось жить только здесь.

Потом пространство сжалось до закутка газовой камеры. Да и времени оставалось ровно пара минут.

Глава вторая. Варианты судьбы

1

Так начинался Саррин путь из русских в еврейки. Вряд ли из варягов в греки получилось быстрее.

Порой ее охватывало отчаяние. Казалось, ситуация окончательно зашла в тупик.

Потом она брала себя в руки. Понимала, что раз приняла это решение, то надо терпеть.

Может, лет через двадцать приблизится к цели. Пусть даже через тридцать или пятьдесят.

Конечно, евреи бывают разные. Многие примиряются с обстоятельствами и плывут по воле волн.

Кое-кто возглавлял это движение. Указывал своим соплеменникам самый простой путь.

Этих можно было сразу узнать. Мужчины не курили сигары, а показывали, как красиво они лежат между двух пальцев.

Ну а дамы навешивали такое количество всего, что им завидовали новогодние елки.

Еще женщины носили удивительные прически. Некоторые могли называться «копна», а другие «водопад».

Сарра недолго ходила на их собрания и всякий раз чувствовала неловкость.

Все же лучше обойтись без украшений. Не изменить своим двум платьям и одному пальто.

Главное остаться верным слову «ха-иври», означающему «прибывший с той стороны реки».

Еврей — всегда другой. Даже когда он обоснуется на новом месте, его все равно считают пришельцем.

Так что подковырок не избежать. Наверняка поинтересуются: не явились ли вы откуда-то отсюда?

Еще рукой махнут в том смысле, что где-то там проживают люди, которые обречены странствовать.

Такой неугомонный народ. Мы-то с вами корнями вросли в землю, а их что-то гонит по свету.

Трудно еврею оставаться незаметным. Самому скромному помогут выделиться.

На тот случай, если они захотят раствориться в толпе, в Испании их обязали носить круглые шляпы.

Потом ситуация упростилась еще больше. Нацепил желтую тряпицу, и вся твоя жизнь видна наперед.

Вряд ли тут что-то оставалось неясным. Правда, кто-то по вредности обязательно хотел уточнить.

Ну да, согласен, — ха-иври. Впрочем, с другой стороны иногда виднее, чем изнутри.

2

Если Сарра чувствовала себя некомфортно среди богатых, то это значило, что надо искать в другом месте.

Вдруг неожиданная подсказка. То есть такое событие, которым грех не воспользоваться.

К ней постоянно обращались с просьбами. Знали, что этой барышне есть дело до всего.

Впрочем, за Хьену из Стародуба просить не надо. Достаточно упомянуть о ее непростом положении.

Можно пошутить по тому поводу, что тут не одно положение, а целых два.

Во-первых, она на последнем месяце, а во-вторых, у нее нет крыши над головой.

Причем не одиночка, отстаивающая свои права. Напротив, лучшая половинка счастливой пары.

Да и не из тех, кто не способен себя защитить. Все же несколько раз участвовала в отрядах самообороны.

Не только вилами не брезговала, но крепким словом. Однажды так сказала громадам, что они стусевались.

Всякий раз с ее помощью удавалось отбить гадов. Только погром начнется и сразу рассеивается.

Правда, на сей раз ситуация больно сложная. Угораздило ее полюбить русского учителя Рвачева.

Любила Хьена так же как защищалась. Всю меру ответственности брала на себя.

Не желала знать, что тут есть варианты. Совсем не всегда от любви бывают дети.

Вскоре она забеременела. Все сделала так, чтобы не было путей к отступлению.

Ее мать и отец из того же теста. Не желают видеть родственником христианина.

Да это уже невозможно. Для того, чтобы вступить в брак с учителем, Хьена приняла его веру.

Рвачев оказался человеком на удивление спокойным. Его жена держала оборону, а он терпеливо ждал.

Есть такие люди, которых представляешь с указкой в руке. Кажется, рухнут стены, а они не прервут урока.

Впрочем, случившееся больше, чем взрыв или пожар. Это потрясение всех основ.

3

Вот он, еврейско-русский вопрос. Его задают не все русские и все евреи, а лично Хьена и ее муж.

Да и ответить предстоит не всем разом, а чете Рвачевых. Когда у них появится сын, то он добавит свое у-гу-гу.

Роль Сарры тут не последняя. Ведь это она с помощью подруги помогла им уехать в Тулу.

Как видите, опять Тула. Хороших людей в этом городе было явно больше, чем в каком-то другом.

Возможно, Левицкая немного завидовала. Вот бы она стала еврейкой так же легко как Хьена русской.

Да и маленький Рвачев не давал покоя. Хотелось, чтобы у нее в животе тоже кто-нибудь поселился.

Немного освоился, а потом постучал. Мол, чувствую себя готовым к воссоединению семьи.

Сарре представлялось, что они наконец вместе. Она, ее муж и их первенец.

Самым неясным местом на этой картине был муж. Приятелей у нее сколько угодно, но они давно женаты.

Значит, у нее не один ребенок, а, по крайней мере, десять. Ведь чужие дети для нее все равно, что родные.

4

Везения Левицкая ждала пассивно, но по части усложнения своей жизни ею предпринимались разнообразные усилия.

Разумеется, судьба в этом помогала. Все время поставляла какие-то сюжеты.

Только Сарра разобралась с Хьеной, как на ее пути возникла учащаяся акушерских курсов Ревекка Вольф.

Барышня была удивительно тихая. Невозможно представить ее разрезающей пуповину.

Тут нужен кто-то менее хрупкий. Умеющий это сделать в одно касание и недожасшей рукой.

Впрочем, у Ревекки не было выхода. Раз она поселилась в Петербурге, то следовало перестать бояться.

Почему-то государство выделяло евреек, занимающихся родовспоможением.

Тут что-то вроде бартера. Ты помогаешь новым гражданам выбираться на свет, а тебе разрешают жить в столице.

Никакая деятельность не была отмечена столь высоко. Если, к примеру, ты ученый, то в столице ты гость.

Трудно не быть петербурженкой. Особенно если ты отравлена этими масштабами и не видишь себя на другом фоне.

Наверное, это следствие былой ущемленности. После тесноты и скученности хочется вырваться на простор.

Чтобы если главная улица, то не отдельные прохожие на немалом расстоянии, а слаженное движение толпы.

Такие ощущения успокаивают. Начинаешь понимать, что большой город — это общее дело всех, кто в нем живет.

5

Левицкая предложила отличный вариант. При этом обязательно служить акушеркой.

Надо поменяться паспортами, а, вместе с паспортами, правами и обязанностями.

Левицкая попросится с Тульским именем. С этих пор ее малой родиной станет черта оседлости.

В порядке обмена ей достанутся еврейские родственники, а дед-декабрист перейдет к подруге.

То же произойдет и со сказками. Одна получит леших и водяных, а другая диббуков.

Придется Сарре сосуществовать с этими диббуками. Привыкать к тому, что души умерших поселяются в ком-то из близких.

Так беременная женщина вдруг понимает, что из них двоих главный тот, кто еще не появился на свет.

Видно, после смерти человек опять ищет лоно. Снова откуда-то изнутри требует внимания к себе.

Впрочем, сейчас не получится так просто. Каждой барышне следует постараться.

Можно посмотреть, как трактуется в театральной теории вживание в новые обстоятельства.

Бывает, перевоплощение от избытка сил. Скучно в одном образе и хочется попробовать себя в разных качествах.

На сей раз перевоплощение от сострадания. От того, что другой тебе интересен больше тебя самого.

Непростые это ощущения. В поздние годы Сарра постаралась в них разобраться.

Кое-что ей объяснил чешский писатель. В это время все поголовно читали «Репортаж с петлей на шее».

Она перефразировала его слова: «Я люблю вас, люди!» и предложила свой вариант: «Надо уметь перевоплощаться, люди!»

Значит, перевоплощаться — все равно, что любить? Когда переживаешь за кого-то, то начинаешь чувствовать себя им.

6

Они вплотную приблизились к опасной черте, но тут вмешалась Мария Генкина.

По какому праву меняетесь судьбами? Для чего присваиваете то, что вам не принадлежит?

Скорее всего, Мария просто испугалась. Поняла, что тут не избежать неприятностей.

Что-то будет наверняка. Если не погромы, то брошенное сгоряча короткое слово.

Кстати, тоже три буквы. Самый что ни есть привычный в наших обстоятельствах мат.

Не лучше ли, чтобы каждый остался при своем? Евреи терпели, а русские взирали на это со стороны.

Для чего настолько усложнять себе жизнь? Она и без того не обещает быть легкой.

Еще имеет значение то, что барышни трепетные. Согласятся, а потом будут долго приходить в себя.

7

Непросто Левицкой. По самому скромному поводу ее охватывает волнение.

Иногда короткое знакомство не только оставляло царапину, но потом еще долго мучило.

В детстве Сарра познакомилась с революционеркой Верой Нейман и сразу принялась ее обожать.

Впечатление было настолько сильным, что она не решалась вступить в разговор.

Это напоминало игру в прятки. Одна вела себя независимо, а другая так и норовила куда-нибудь спрятаться.

Как-то они пересеклись на улице. Левицкая замешкалась и попала в объятия Веры.

Нейман спросила: «Почему, вы так побледнели?», а Сарра что-то пробормотала в ответ.

Ситуация так бы и осталась непроясненной, если бы Вера не расширила свой вопрос.

«Когда она посетила нас, — вспоминала Сарра, — мама попросила ее написать что-нибудь по-еврейски. Незаметно я взяла этот листочек. А вернувшись в Киев, с помощью одной из одноклассниц, узнала, что на листочке было: «Разрешите мне пожать вашу руку!»

Выходит, иврит — это язык тайн. Он позволяет высказать то, что не произнесешь ни на каком другом.

Значит, ей необходимо его выучить. Не только потому, что он приближает к евреям, но потому, что избавляет от страха.

Можно представить, как бы они побеседовали. На слова: «Разрешите пожать руку», она бы ответила: «Давайте с вами дружить».

Сам Бог писал этими буквами. Ставил перекладинку рядом с палочкой, палочку рядом с перекладинкой.

Он избрал не только этот народ, но их наречие. Счел его наиболее подходящим для откровенного разговора.

8

Сарра принялась учить иврит. Это был еще один путь, который мог привести ее к цели.

Только кажется, что тут нет проблем. Что надо просто взять учебник и начать с буквы «алеф».

На самом деле многое приходится преодолевать. Самое неприятное, если кто-то спросит: ну зачем это вам?

Что на это ответить? Не будешь же рассказывать, что всю жизнь она пытается стать Саррой.

Еще о том, как она боится, что ничего не выйдет. Сколько было вариантов, а что-то не получается.

Наверное, стоило взять учителя, но она решила, что пусть будет не легче, а сложнее.

Сперва она не исключала партнерства. Предложила Марии читать вместе письма от ее матери.

Генкина снова запротестовала. Никак не могла понять, для чего ей лишние знания.

Пришлось Сарре обходиться своими силами. Действовать исключительно с помощью словаря.

Продвигалась буквально по слову в день. Через пару месяцев подошла к концу страницы.

Кажется, она угадывала интонацию. Машина мама беспокоилась: не мерзнешь ли, доченька? купила ли новое пальто?

9

Самые близкие люди считают, что Сарра специально все делает наоборот.

Для всех пасха — главный праздник, а у нее — мрачное настроение. Ведь в эти дни чаще всего бывают погромы.

Мысль о воскресении одного не мешает думать о других казненных. У них-то точно не было вариантов.

Они могли рассчитывать лишь на слезы жен и детей. На заупокойную молитву и братскую могилу.

Скорее всего, это было предчувствие. Тайно жившая в ней тоска по Блинову.

Она еще не знала, что его будут звать Колей, но уже понимала, на что он должен решиться.

Опять спросим: что это за характер такой? почему ей всегда хочется чего-то особенного?

В первую очередь, имеет значение книжность. Явное предпочтение второй действительности.

Это не идеализм, а потеря ощущения реальности. Нежелание считаться с тем, что есть.

Еще вспомним, что усадьба, где она выросла, не просто территория, а целый мир.

Судить жизнь в Соковнино следует по законам, ими самими над собой признанными.

Уже упоминалось, что Левицкие жили легко. Деликатесам предпочитали квас с луком и постным маслом.

Не забудем о невозможности кого-то ущемить. Как это встать на коньки, если у крестьянина их нет.

Насколько открытое это существование, а есть здесь тайные зоны. В смысле, сюда — пожалуйста, а дальше — нельзя.

Комната, где мучительно умирала сестра Сарры Маша, просто закрыта на ключ.

Если бы кто-то пренебрег запретом, то он бы увидел, что тут все осталось по-прежнему.

Даже часы показывают ту минуту, после которой начиналась жизнь без нее.

Словом, черная дыра. Каждого, кто к ней приближался, охватывал нестерпимый холод.

Вот ты торопишься куда-то, но внутренний голос напоминает: остановись.

Постоишь немного в растерянности, а потом опять возвращаешься к своим делам.

Впрочем, Левицкие переживали и по менее важным поводам. Совсем не умели жить спокойно.

Когда кто-то покидал имение, то волновались оба. Тот, кто уезжает и тот, кто пришел его проводить.

Острее всего ощущалось одно мгновение. Поезд шел все быстрее, а ты бросал в окно букет цветов.

Уже упоминалось о том, что недалеко от Соковнино находится Ясная Поляна.

Тут нет ничего странного. Где еще проживать автору «Войны и мира» как не вблизи своих героев?

Дело не только в том, что Левицкие — люди невозвратимой эпохи шестидесятых годов.

Куда важнее невосприимчивость к благополучию. Убежденность в том, что оно не может быть смыслом всего.

10

Казалось бы, чего еще этим людям? Можно целую вечность ловить бабочек и пререкаться с эхом.

Если один день отличается от другого только предложениями меню, то им такое не по душе.

От однообразия впадают в тоску. Готовы завязать какой-то узел, только бы потом его развязывать.

Вот и Сарра так же. Нечего удивляться, что в конце концов у нее родился план.

Она решила перебраться в черту оседлости, поближе к еврейским проблемам.

Разные люди в это время тяготились духовными накоплениями и надеялись изменить свою жизнь.

Правда, о том, чтобы принять на себя чужую судьбу, речи не было. Да и стать жертвой хотелось только ей.

Тут недалеко до тюрьмы. Первый ее арест непосредственно связан с этими идеями.

Ее желание жить вместе с несчастными совпало с рекомендациями партии эсеров.

Предполагалось, что под видом человека нужной профессии Сарра станет участницей общей жизни.

Как раз начиналась всероссийская перепись. Эта деятельность вполне совместима с агитацией.

Почему-то ей отказали. Возможно, эсеров среди статистиков стало столько, что на это обратили внимание.

Оставалось вести пропаганду в своем имении. Уж этого ей никто не запретит.

Тут началась эпидемия скарлатины, что тоже небесполезно в смысле конспирации.

К примеру, даешь микстуру, а заодно успеваешь подсунуть что-то из последних изданий.

Мол, вы уже лучше себя чувствуете и можете поразмышлять о том, почему даже здоровому у нас нелегко.

Поселилась Сарра не в барском доме, а в деревне. Так ей хотелось выглядеть своей.

Все полки заставила пузырьками. Здесь же мелькали обложки разных расцветок.

Вскоре явился урядник. Унюхал, что тут лечат не только скарлатину, но болезни социального устройства.

Впрочем, обыск начался с бутылочек. Известно, какие прищипки в ходу у боевиков.

Потом видит: да тут же склад! Действие этих брошюрок будет посильнее касторки.

Кстати, урядник свой, соковнинский. Кому как не ему защитить хозяйскую дочку.

Нет, не вступился. С видимым удовольствием открывал шкафы и вытаскивал содержимое.

Возможно, это тоже что-то вроде бунта. Куда как приятно насолить своему барину.

Скорее все же дело в законах. В том, что полиция подчиняется не местным властям, а непосредственно государству.

За все про все Левицкая получила год крепости. Сперва испугалась, а потом поняла, что справится.

Главное, не ограничились в правах. Значит, уже следующим летом можно приниматься за дело.

Так начиналась биография нашей героини. Почти так же как у многих ее сверстниц.

Немного посидеть для барышень этой эпохи считалось само собой разумеющимся.

Жаль только, что Сарра не помогла евреям. Впрочем, полученный ею опыт когда-нибудь пригодится и им.

Глава третья. Те же и революция.

1

Странное наступило время. Самые неожиданные вещи оказывались возможны.

Если в стране произошла революция, то почему не случиться чему-то подобному в отдельной судьбе.

Для этого требуется совсем немного. Отправиться в синагогу и совершить гиюр.

С чего лучше начать? Сарра пошла к московскому раввину Якову Исаевичу Мазе.

Конечно, раввин знает разгадку. Не существует такого вопроса, на который он бы не мог ответить.

Власти и те с ним считаются. Что-то им подсказывает, что Бога скорее всего нет, а Мазе есть.

Возможно, причина в его уверенности. Даже когда он беседует с Троцким, то чувствует себя первым.

Ну вроде как не раввин пришел в Кремль, а вождь Красной армии явился в синагогу.

Впрочем, вежливость ему так же положена как убежденность в своей правоте.

На сей раз комплимент вышел сомнительный. Вряд ли стоило напоминать Льву Давидовичу, что у них много общего.

Это же ясно, что силы не равны. Для одного главное быть евреем, а для другого социал-демократом.

Раввин сделал свои выводы. Подумал, как просто людям дается предательство.

Еще он решил, что это и есть исход. Когда-то их племя покидало Египет, а теперь из евреев оно уходит в никуда.

Если Троцкий считает еврейство слишком скромной площадкой, то Сарре ничего больше не надо.

Мазе ответил: скорее «нет», чем «да». Больше волнение и тревога, нежели надежда и благодарность.

На сей раз он предпочел осторожность. Все же речь не о нем, а о совсем юной барышне.

Хотелось, чтобы она задумалась. Обратила внимание на то, что ее сверстники поступают иначе.

Иногда, чтобы не осложнять себе жизнь, даже отказываются от своих близких.

Мол, не намерен быть сыном кулака. Меняю свою невыразительную фамилию на говорящую фамилию Комиссаров.

Еще лучше Марксов. Совсем правильно именоваться Марксовым-Энгельсовым.

Еврею не до таких тонкостей. Уже хорошо, если из Фридберга он превратится в Филимонова.

Почему-то гостье надо было дойти до конца. Сам творец должен был принять ее за еврейку.

Поэтому, с тем, что раввин всегда говорит последним, она считаться не собиралась.

Продолжала настаивать на своем. После того, как аргументы были исчерпаны, в ход пошли слезы.

Яков Исаевич был не менее тверд. Больно симпатичной показалась ему эта девушка.

Хоть он и отвел Сарру от края пропасти, но спокойствия это не принесло. Уж очень ярко горели ее глаза.

2

Мазе верно почувствовал: она так просто не остановится. Чуть передохнет и начнет сначала.

Иногда вдруг мелькнет: все уже случилось. Если это меня не отпускает, то цель близка.

Услышит, что кого-то назвали жидовкой и бросается на обидчика с кулаками.

Соседи по трамвайной давке не разделяют ее рвения. Считают, что важнее занять место у окна.

Если же место твое, то остальное не имеет значения. С интересом разглядываешь текущие мимо пейзажи.

Сарра же никак не успокоится. Еще усугубит ситуацию и начнет говорить с еврейским акцентом.

Это чтобы было ясно, что если кто-то захочет высказаться, то следует прямо обращаться к ней.

Кое-кто веселился по этому поводу. С каких это пор усадебные барышни ведут себя так?

Что на это ответить? Как известно, у Левицких принято выходить на площадь.

Даже площадка трамвая для нее все равно, что площадь. Уж насколько здесь тесно, а она начнет с широкого жеста.

Можно не сомневаться, ответ будет соответствующим. Одним она скажет: «Я — русская», а другим: «Я — еврейка».

3

У Сарры часто такой жест. Неслучайно соученицы по Бес-тужевским курсам запомнили ее на трибуне.

Трудно сказать, к чему она тогда призывала: хорошо сдать сессию или постоять ночью за билетами на Шаляпина.

С этими билетами был связан такой план. Предполагалось, что их разыграют, а деньги внесут в кассу взаимопомощи.

Сарру поддержала только наша знакомая Маша Генкина. Все остальные отравились спать.

Вот откуда это чувство избранничества. Ведь рядом действительно не было никого.

В довершение ко всему пришлось пострадать. На подругу с крыши упала большая сосулька.

В качестве итогов этой ночи можно было предъявить пять билетов, шишку на голове и чувство исполненного долга.

Уже говорилось, что упомянутый жест остался у Сарры надолго. Да и соизмерять голос ей не всегда удавалось.

Бывало, сядет за письмо и сразу возьмет на три тона выше. Не всякий адресат выдержит такой напор.

Мы уже цитировали эти слова: «Я же хочу принести эту память молодежи, помня слова Юлиуса Фучика: «Пали целые поколения героев. Полюбите же хоть одного из них, как сыновья и дочери. Гордитесь им, как великим человеком, который жил для будущего»».

Столько всего было в жизни Левицкой, что пора бы научиться ся уравновешенности.

Это в девятнадцать можно находить поддержку в цитатах и думать, что с ними ты вроде как не одна.

В финале письма интонация меняется. Словно Сарра нашла в толпе собеседницу и дальше разговаривает только с ней.

Уж не почувствовала ли она смущение? Мол, «рада, что могу закончить этими словами», а за громкий голос прошу извинить.

4

Директору детского сада жест тоже не помешает. Особенно если она призывает строиться по группам.

Хотя государство детей отличается от государства взрослых, но тут есть много общего.

Именно Сарра устанавливала режим. Не только в смысле прогулок и мертвого часа, но определенного уровня демократии.

Любой строй начинается с вопроса: лучше всем вместе или каждому наособицу?

Верится, что она предпочла вольницу. Ведь ее саму воспитали в таком духе.

Когда кто-то из ее подопечных раскидывал кубики, то его не наказывали, а вежливо просили собрать.

Дошкольникам под ее началом было куда комфортней, чем их родителям под большевиками.

Тут вообще не было вариантов. Что такое: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» как не приглашение ходить парами?

Впрочем, пролетарии — это не главное. Можно сказать о пламени из искры или о слоне из мухи.

Даже заключенные образовывали коллективы. Сперва берут одного, а потом приплюсовывают заложников.

Не удивительно, что сперва арестовали дядю, Николая Матвеевича, а затем племянниц Варвару и Сарру.

Впрочем, дядю тоже посадили за кого-то. Тут своего рода дурная бесконечность.

Вряд ли это только акция устрашения. Добивались, чтобы в Оре не оставалось достойных людей.

В этом городе нет более яркого человека, чем адмирал Яковлев. Когда он надевает ордена, то борода прикрывает первые два ряда.

Потом следуют три или четыре. Последний нависает над широким ремнем.

Любопытный может разглядеть: это — Святой Владимир с бантом, а это — Святой Владимир с мечами.

Редко встретишь столь прямую осанку. В скором времени людей этой породы будет вообще не сыскать.

Чтобы показать родственникам, что их камеры находятся невдалеке друг от друга, органам пришлось потрудиться.

Впрочем, жизнь настолько тесная, что увернуться сложно. Сестры надеялись отсидеться в Туле, но их быстро разыскали.

Через пару дней семейство было в сборе. На свободе оставалась только Анна Михайловна, безутешная тетка и жена.

5

Надо поподробней рассказать о Николае Матвеевиче. Таких людей Сарра называла небожителями.

Совсем не потому, что их место на небе. Больно странно их присутствие на земле.

Впрочем, Яковлев никогда не лез на рожон. Еще до революции вышел в отставку и перебрался в Орел.

В точности по совету одного остроумца. Тот утверждал, что главное вовремя выйти покурить.

Николай Матвеевич сделал вид, что если его занимают какие-то перемены, то это изменения цен на хлеб.

Правда, борода и прямая спина остались при нем. С такой внешностью даже человек в пижаме выглядит как адмирал.

Вел себя Яковлев тоже иначе, чем все. Буквально ни толики искательности.

Обращаясь к продавцу, не просил, а приказывал. Так про-износят: «Отдать швартовые!» и «Свистать всех наверх!»

6

После ареста он чувствовал себя как на капитанском мостике. Все сделал для того, чтобы остаться в памяти потомков.

Морской офицер — это навсегда. Пусть противник сильнее, но сдаваться он не намерен.

Да и ситуация не то чтобы чрезвычайная. Вот когда «Петропавловск» подорвался на mine, это была катастрофа.

Тогда утонул его друг адмирал Макаров. Морские пучины вернули только его пальто.

Кажется, пальто сохраняло контур, жест и тепло. Сразу представлялись рукава в полете.

Матросы опускались на колени, подносили полу к губам, и целовали как флаг.

Если Николай Матвеевич пережил это, то неужто он сейчас проявит слабость?

Все же ордена к чему-то обязывают. Они получены не только за прошлые, но за будущие подвиги.

Столь же важен долг начальника императорской шхуны. Хотя уже давно нет ее хозяина, но этих обязанностей с него никто не снимал.

Очевидно, что предстоял не морской бой. На этот раз будут сражаться не корабли, а люди.

На спасение рассчитывать не приходится. Впрочем, если успеть что-то выкрикнуть, то потом не обидно умереть.

7

Времени оставалось совсем мало. Было ясно, что заключенных везут на расстрел.

От того момента как они оказались на вокзале и до того, как их посадили в вагон, есть несколько минут.

Если Яковлев имеет право выбрать место гибели, то пусть все произойдет сейчас.

Смысл обращения был тот же: «Свистать всех наверх!», но уже в середине фразы его сбили с ног.

К охранникам присоединились те, кто в ожидании поезда прогуливался по перрону.

В считанные мгновения люди потеряли человеческий облик. Из обычных граждан превратились в стаю зверей.

Никто не уступал другому права разорвать жертву. Непременно хотел это сделать сам.

Потом все опять заторопились к чемоданам и удобно расположились в купе.

Затем настал черед тех, кто ехал без поклажи. Их подгоняли прикладами и погрузили в вагон для скота.

8

В прежней жизни сидельцы привыкли к простору. В их хозяйство входили дом, поле и лес.

В камере невозможно переменить позу, не вторгаясь на территорию соседа.

Так они существовали, постоянно задевая друг друга. В конце концов, превратились в единое тело.

Тем удивительней появление новичка. Странно видеть, когда кто-то ведет себя независимо.

Если, к примеру, барышню арестовали на улице, то ее взяли вместе с сумочкой и манто.

Впрочем, уже через несколько дней от этого лоска не остается почти ничего.

Неслучайно охранник просит выйти «с вещёй». Единственное число тут в самый раз.

Что за богатство у заключенного? Фуфайка, железная ложка и огрызок карандаша.

9

Каждый день мать девочек Мария Михайловна вела дневник. Старалась ничего не пропустить.

Конечно, делалось это не для посторонних, а только в порядке разговора с собой.

Органы не различают частное и общественное. Не без удовольствия залезают туда, куда не следует.

На сей раз добычу тоже использовали по полной. Не вложили в дело, а пустили по рукам.

Вынесли вопрос на партийное собрание. Для большей убедительности записи читали вслух.

«Это была сцена, достойная пера Гоголя. — писала Сарра, — Каждый с наслаждением приводил характеристики других лиц, но, когда дело доходило до него самого, начинал запинаться, путаться... Кто-нибудь другой перехватывал тетрадь, продолжал читать, пока дело не доходило до него самого, здесь опять чтец запинался, смущался, что-то бормотал...»

Все завершилось так как у Николая Васильевича. «Немая сцена», или, говоря попросту, столбняк.

Трубный глас сообщил о том, что прибыл ревизор. Все замерли в том положении, в котором их застало известие.

Охранник хотел схватить арестованного, но кажется за руки держали его самого.

Следователю тоже было не развернуться. Долг велел написать: «Расстрелять», а он выводил: «Освободить».

Все это случилось потому, что Сарра написала письмо Ленину. Еще удивительней было то, что он его получил.

На отдельном листе начертал резолюцию. Продемонстрировал, что даже устремленность к цели не делает его совсем слепым.

10

Целый год детский сад прожил без Сарры. Существовал как корабль без руля и ветрил.

Многие стали забывать директора, как вдруг она объявилась. Вновь стала командовать пижамами и горшками.

Как уже сказано, случилось это при непосредственном участии высших сил.

Неизвестно как бы повернулась судьба девочек, если бы вождь не пожалел для них нескольких минут.

Почему он сосредоточился на этих песчинках? Чаше всего столь малые величины он просто не брал в расчет.

Правда, его подчиненные оказались менее внимательны. Даже не удосужились сохранить ее письмо.

Волевались только о произведениях патрона. Была бы их воля, они бы каждую его фразу выбили в мраморе.

Надо сказать, такая работа уже велась. В разных местах появлялись доски с ленинскими изречениями.

Со временем очередь должна была дойти до резолюций. До всех этих «расстреливать нещадно и повсеместно».

Кстати, номер на письме Дзержинскому, содержащему эти слова, не такой простой.

Вроде обычный входящий: 13666/2, а, если приглядеться, то обнаружишь число дьявола.

Тем странней его мягкость, которая на самом деле есть решительность: а что если не так, а наоборот?

Вот бы резолюцию с просьбой освободить Сарру, Варю и Марию Михайловну поместить на стену орловского центраа.

Это означало бы, что никакая ситуация не безнадежна. В конце туннеля непременно появляется свет.

Уж как старались люди, поставленные для охраны его текстов, но и эту бумагу они умудрились проморгать.

Наверное, отвлеклись на что-то, а ее нет. Примкнула к стае из трехсот семидесяти исчезнувших ленинских телеграмм.

В хвосте пристроилось Саррино письмо. Таким же крохотным пятнышком оно удалялось к горизонту.

Сохранился только след. В журнале исходных документов от 29 сентября 1920 года есть пометка:

«Осинскому и жене Милютина на заключение об аресте Левицкой».

Вот вам третья оплошность его помощников. Иногда наваливается столько дел, что уже не вспомнить фамилии жены министра земледелия.

11

Легко представить, какие трудности преодолела Сарра, чтобы написать это письмо.

Больно сложный жанр. Тут буквально каждое слово должно быть на месте.

Сперва надо выбрать форму обращения. Все же одно дело — «дорогой», а другое — «уважаемый».

Странно разговаривать с Лениным как со своими близкими. Ведь между ними нет ничего общего.

Так что пусть будет «уважаемый». Ее дед, Михаил Андреевич, даже дворню называл так.

С первой строки должно быть понятно, что дело безотлагательное. Что так дальше продолжаться не может.

Конечно, она понимает, что это лава. Они в ней не первые и не последние.

Не правильной ли спросить, почему берут самых ярких? Нет ли тут какого-то умысла?

Ведь если машина работает, то не сама по себе. Кто-то жмет на педали и крутит руль.

Уж как в их доме принято рассуждать на глобальные темы, но на сей раз Сарра решила сказать о частном.

К примеру, о том, что у них особенная семья. Кто же не слышал о братьях Бодиско.

В этот момент карандаш вождя завис над строкой. Ведь он считал декабристов своими предшественниками.

Кстати, октябрьское и декабрьское восстания произошли недалеко друг от друга. Пешим ходом десять минут.

Да и время примерно то же. Ноябрь в Петербурге не очень отличается от декабря.

Правда, в двадцать пятом войска стояли строго по линии, а в семнадцатом рассыпались как горох.

Можно поразмышлять о том, почему в одном случае так, а в другом иначе, но об этом как-нибудь в другой раз.

Существует более важная тема. Если бы в прежние времена брали в заложники, то он бы пострадал за брата.

Тогда прощай, революция! После одиночки у него бы точно поубавилось решительности.

Выходит, Сарра, Варя и Мария Михайловна — это вроде как он сам. В том смысле, что он мог оказаться на их месте.

Еще прибавим стремление к пропорциям. Пусть, к примеру, шесть дней строгости, а один вроде как выходной.

Тут даже не другим даешь волю, а себе самому. Хотя бы ненадолго пытаешься сменить пластинку.

Может, Ленин просто растрогался? Подумал, что если он это сделает, то ему зачтется.

Конечно, не сейчас, а потом. Придется же когда-нибудь отвечать на Страшном суде.

Его спросят, был ли он всегда одинаково ровен, а он скажет, что у нас никто не считается с реальностью.

В такой стране мы живем. У нас поэт больше, чем поэт, а директор детского сада больше, чем директор детского сада.

У нее тоже своя миссия. Ей, видите ли, хочется объединить не только дошкольников, но всех на свете людей.

12

Между Саррой и Лениным установились столь тесные отношения, что через год она написала опять.

Значит, даже вождь мирового пролетариата не имеет права выдавать индульгенции.

По крайней мере, если ее вновь арестовали, то первая его резолюция имела срок давности.

Началась эта история с того, что Левицкая вместе со всеми отправилась на сельский сход.

Вот какие перемены за эти месяцы. Она стала настоящей крестьянкой и уже не отделяла себя от односельчан.

Во-первых, поняла, что доить коров и косить сено так же естественно как знать грамоту.

Тут тоже свои «а», «б» и «в»... Со временем они начинают складываться в слова.

Вскоре Сарра бегло «читала» крестьянскую жизнь. Понимала, что вот это значит то, а это другое.

Не только читала, но сама была автором. Начиная день плеском воды в умывальнике, а завершала грохотом ведер.

Коровы и лошади принимали Левицкую за свою. Сразу отличали ее руки от чужих.

Местные жители тоже относились хорошо. В таких вопросах они всегда брали сторону животных.

Могло показаться, что она всю жизнь провела в этих хлопотах. Никогда не была помещичьей дочкой и студенткой-бестужевкой.

13

Сход был не рядовой. Надлежало принять решение о ликвидации Советской власти в отдельно взятой волости.

Наверное, исходили из того, что если власть ввели постановлением, то так же ее можно отменить.

Вот, кстати, подтверждение того, что Сарра только свидетель. Больно нелепая это затея.

Впрочем, до голосования не дошло. В самом начале явились милиционеры и всех арестовали.

У крестьян не было ничего, кроме бумаги и карандаша. Даже вилы оставались в сених.

Зато пришедшие экипировались по-настоящему. Для большего впечатления прихватили пулемет.

Впрочем, обошлось без стрельбы. Вполне хватило красных книжиц и грозного выражения на лице.

14

Через пару дней взяли Анастасию. Видно, для обнаружения заговора недостаточно одной Сарры.

В эти годы еще действовали кое-какие правила. Считалось, что нельзя арестовывать просто так.

Пришлось следователю постараться. Он буквально рыл носом, но все-же обосновал арест.

Кстати, в названии этой профессии есть долженствование. Мысль о том, что одно следует за другим.

Так что выкрутиться не получится. Раз поставлена такая задача, то что-то найдется.

Правда, этот случай особенный. Крестьяне ни за что-то не хотели заниматься оговорами.

Больше всего их пугали не железные кулаки чужой власти, а нагоняй родной помещицы.

«Вот придет Мария Михайловна с пулеметом, — говорили они, — и всех расчехвостит».

Воображаешь, как Саррина мама отстреливается и в то же время пытается разобраться с моноклем и шляпкой.

Вряд ли у нее что-то получится. Даже выбор между книгой и зонтиком ей давался с трудом.

За эти месяцы Сарра многому научилась. Отлично понимала, что после истории с дневником опасность возросла многократно.

Придется ей брать ответственность на себя. Пытаться найти выход из этой ситуации.

Все же у нее был один сторонник. Хотя два раза — это слишком много, но она решила ему написать.

Представим как вожь окидывает взором пространство го-р. В разных концах страны люди умоляют его о помощи.

Почему-то он вновь выбирает ее. Тысячу просьб оставляет без внимания, а тут проявляет милость.

Нет, говорит он, таково мое мнение. Я по-прежнему считаю, что Левицкие имеют право на жизнь.

15

Опять Сарру просили покинуть камеру «с вещёй». Для заключенного это событие даже более важное чем арест.

Не представить эти ощущения. Как это — сперва сидеть в тюрьме, а потом идти по улице.

Можешь заглянуть куда угодно. Тем более, что возможностей не десять, а сто тридцать пять.

Хочется сразу всего. На рынок, в магазин, в парикмахерскую, в кино и в кафе.

К сожалению, рядом нет тетки Анны Михайловны. Она ненадолго пережила гибель мужа.

Власти понимали, что обойдется без их участия. Слишком много у нее разных болезней.

В те годы не выдавали справок с причиной смерти. Впрочем, легко представить, что в этой бумаге могли написать.

Вариантов не так много. Если пуля и тюрьма — прочерк, то остается — двадцать второй крошечный год.

Сарра и Анастасия долго помнили эту историю. Со временем стало очевидно самое главное.

Во-первых, вспоминался Пономарев. Хотя тюремный опыт у Сарры немалый, но такой надзиратель единственный.

Вот действительно шутник. Наденет красный колпак так, чтобы верх свисал на ухо, и направляется в камеры.

Почему-то заключенные не радуются его появлению. Наверное, чувствуют, что это не просто игра.

Если лицо надзирателя краснее головного убора, то на ночь назначен расстрел.

Он вроде как предупреждает и, в то же время, заявляет о том, что его участие не будет формальным.

В этом колпаке он был не просто Пономарев, а палач Пономарев. Почти государство и практически сама смерть.

Глава четвертая. Эсперанто и еще одна тюрьма

1

Уже упоминалось, что в двадцатые годы Сарра увлеклась языком эсперанто.

Как обычно, усложнила себе жизнь. Самостоятельно осилила программу первого года и поступила на второй курс.

Институт эсперанто собрал знаменитые имена. Тут преподавали Варанкин, Инцертов, Свистунов, Иодко.

Главное, конечно, Эрнест Дрезен. Основное его сочинение — «История международного языка. Три века исканий».

Что-то такое мог написать заядлый сионист. Его труд назвался бы: «История Израиля. Две тысячи лет пути».

Дрезен жаждал объединения с помощью эсперанто, подобно тому, как евреи уповали на союз под знаком Сиона.

Общие корни в данном случае представляли корни основных мировых языков.

Разумеется, заплатились все. Уж если учеников не пожалели, то учителей и подавно.

Сарре тоже грозили десятью и даже двадцатью пятью годами, но уже через несколько лет ее освободили.

Выходит, что не всякая нелогичность против нас. Порой что-то становится не хуже, а лучше.

Впрочем, сначала поговорим о том, как в эту эпоху оказывались за решеткой.

Тут почти не требовалось усилий, а уж если подкачало происхождение, то это происходило само собой.

Левицкая могла оказаться здесь по общей очереди, но она все же опередила события.

Помимо протоколов допросов, есть в ее «деле» кое-что любопытное для тех, кто увлекается филателией.

Вряд ли австралийский барс, английский король и американский президент долго украшали ее папку.

Скорее всего, именно марки стали первыми жертвами и с конвертов переместились в альбом.

То же, можно сказать, ссылка. Тут они пребывали не в гордом одиночестве, а среди тысяч подобных.

Уж как радовался сын следователя. Прямо не отставал от отца: «Откуда, папа, это у нас?»

Тяжелая рука покровительственно ляжет на голову мальчика: «Нет ничего, что наши люди не могут достать».

Вот так через несколько лет мать немецкой девочки будет объяснять, что эту куклу отец прислал с фронта.

Выходит, совсем не страшно быть солдатом германской армии или носить лычки советских органов.

По крайней мере, их дети были уверены, что там, где получают подарки, служить весело и легко.

2

Все же у Сарры была счастливая рука. Несколько писем принесли ей удачу.

Уж как ее отговаривали писать Ленину. Уверяли, что она ситуацию только усугубит.

Как видите, результат оказался положительный. Тюремные затворы не устояли перед его резолюцией.

Что касается эсперантистов, то письма — это их обязанность. Чем больше адресатов, тем шире распространение языка.

В дополнение к этой была у Сарры еще одна забота. Она протезировала тяжелой промышленности.

«...первым моим шагом в области международной корреспонденции, — писала она, — было напечатать в «Интернационалисте» (издававшимся тогда в Голландии) о моем желании переписываться с металлстами всего мира. Моим девизам тогда стало «Экспорт революции, импорт техники». В ответ на мое объявление посыпался целый град писем, зарубежных каталогов, патентов и т.д.»

Из тяжелой промышленности ее перевели в легкую. Швейная фабрика в Мыггицах имела особую форму допуска.

Ну а что вы хотите? Только у нас делали кальсоны с начесом и лифчики на вате.

Ну а широченные юбки. Когда они раздувались на ветру, то возникала реальная опасность улететь.

Сарра не почувствовала перемены. Не отказалась ни от одного из адресатов в двадцати пяти странах.

У каждого из них спрашивала: как увеличить скорость наших станков? отчего наши ткани рвутся, а ваши нет?

Вскоре образовался союз тех, кто вытягивает нити и развязывает узлы советской легкой промышленности.

За эту задачу взялись всем миром. Испанцы, бельгийцы, французы, китайцы, американцы.

Один корреспондент прислал в свернутом журнале необходимый шуруп для станка.

Как видите, дьявол в детали. Этой подробности достаточно для того, чтобы оказаться в тюрьме.

Почему-то Сарра об этом не подумала. Впрочем, ее начальство тоже не сразу забеспокоилось.

Не только не забили тревогу, но поддержали ее идеи. По ее протекции на фабрику пригласили бельгийца Смитса.

Смитс тоже из тех, кто не считается с реальностью. Когда его просят помочь, он сразу отправляется в путь.

На этот раз бельгиец опоздал. Сарру арестовали в восемь утра, а он приехал к десяти.

Все же назад не попросился. Такие люди считают, что обещания превыше всего.

Скажите, удивительно? Чтобы существовать так, следует на многое закрыть глаза.

Еще страннее осторожность. Когда Сара писала письма, то всегда помнила о том, что позволено, а что нет.

Самая благородная тема заведет куда не следует. Стоит упомянуть свои обращения к Ленину и сразу надо сказать о тюрьме.

Так что, стоп, Сарра. Если и начинать разговор по этому поводу, то как-нибудь отвлеченно.

Видно, и на противоположном конце это понимали. Поэтому письма получались такими, что их можно было отправлять в «Правду».

Сразу представляешь не только текст, но большое фото на первой полосе газеты.

Люди на берегу бурно размахивают руками. Они приветствуют не пароход, а льдину.

Дело в том, что льдина особенная. Когда норвежские моряки узнали о смерти вождя, то решили вытесать его бюст.

Пустили этот бюст в море. Немного поплутав, он достиг родины изображенного.

По дороге его потрепало. Борода совсем растаяла, но кепчонка сидела как влитая.

Сюжет, надо сказать, рождественский. Уж если не в прессе, то под елкой он будет в самый раз.

Потом взглядишься и видишь: да тут имеются явные признаки контрабанды.

Хоть бы какая печать скрепляла появление бюста, но он приплыл только по воле волн.

Еще хорошо, что это вождь революции, а ведь тем же путем мог отправиться более опасный объект.

Как не заметить двойного стандарта. Больно неравное положение у этой скульптуры и детали для машины.

Вот какой респект ледяному идолу. Прямо никакого удивления по тому поводу, что этим идиолом оказался он.

3

О лагере Сарра почти не написала. Ограничилась фразой, что у нее все было примерно так, как об этом пишут журналы.

Мол, если хотите что-то узнать обо мне, то перечитайте «Ивана Денисовича».

Иные книги открываешь легко, а эту тяжело. Кажется, даже слышишь скрип петель.

Может, и не хочешь входить, а надо. Все же то, что находится за этой дверью, было твоей жизнью.

Видишь стол, стул, кровать, парашу и, наконец, себя, нервно вышагивающую по камере.

Обозначив эту ситуацию, Сарра не пошла дальше. Решила, что лучше рассказать о другом.

Вот, к примеру, скрипач Зейферт. Почему-то большую часть лагерных записок она посвятила ему.

Начало рассказа эпическое: «В Маринский лагерь прибыл этап. Для заключенных — это всегда большое событие: новые люди, сравнительно недавно бывшие еще на воле. Новости, впечатления, может быть, новая дружба... На этот раз с этапом прибыл Зейферт (возможно, эта фамилия неточна) — талантливый скрипач из оркестра киевского оперного театра...»

Самое удивительное, что Зейферт оказался в лагере вместе со своей скрипкой.

Выходит, инструмент тоже арестовали. Впрочем, пока музыкант играет, он вроде как на свободе.

Для Зейферта играть значит говорить. Жаловаться, перебирать события прошлого.

Смычок летает туда и сюда. Снова и снова прикасается к самым болезненным точкам.

Сам Зейферт замкнутый, а его скрипка — болтушка. Рассказывает обо всем, что его мучает.

«Внук был светом его очей, — пишет Сарра, — единственной радостью и надеждой. Судьба этого мальчика была такова: отец его за несколько лет перед арестом старого скрипача получил какое-то высокое назначение в Москву и уехал туда, бросив жену и сына. Отца своего (скрипача) он звал с собой, но старик не захотел оставить внука и невестку... Теперь, в заключении, он мечтал лишь о том, что после освобождения, будет вместе с внуком играть вдвоем на двух скрипках».

Такова жизнь арестованного, что сегодня ты играешь Моцарта, а завтра чистишь мерзлую картошку.

Самое неподходящее для пальцев занятие. Товарищи по несчастью решили его от этих обязанностей освободить.

Начальство — ни в какую. Считает, что он здесь не для того, чтобы заниматься музицированием.

Солагерники поделили между собой норму Зейфера, но от холодного погребя его не уберегли.

«Руки скрипача, — продолжает Левицкая, — были спасены, но он схватил воспаление легких и через несколько дней умер в лагерной больнице... А оказалось, что юридически он уже свободен: за несколько дней до рокового для него дня чистки картошки наказание было отменено, и только какие-то формальности задержали отправку документа об освобождении»

Дальше начинается история столь же рождественская как сюжет о ледяной голове Ленина.

«Внук его тоже оказался талантливым скрипачом и в год смерти дедушки, будучи еще пионером, отправлен из Киева в Москву на сбор юных, подающих надежды музыкантов. На Московском вокзале группу юных музыкантов встретил представитель Министерства культуры, а с ним отец маленького Зейферта, приглашающий его поехать к нему и жить у него. Мальчик отказался, а, когда удивленный представитель Министерства, спросил о причине отказа, мальчик объяснил, что не хочет ехать к этому человеку, так как не считает его своим отцом, потому что тот бросил его и мать, оставив их в бедственном положении, что своим настоящим отцом он считает дедушку, которого уже приказано отпустить на волю из лагеря, но выполнение приказа почему-то задерживается, и он — внук — просит, чтобы дело было ускорено».

Ах, если бы все было так. На самом деле свободным позволялось немногим больше, чем тем, кто находится в заключении.

Сами видите, что играть на скрипке в тюрьме разрешается, а защищать своих близких нельзя ни здесь, ни там.

Правда, Сарра не очень считалась с правилами. Пользовалась любой возможностью кого-нибудь поддержать.

Уже говорилось, что нет никого беззащитнее мертвых. Так что помощь нужна не только при жизни, но и после смерти.

Вот она и старается: «... в Киеве я сделала попытку разыскать внука Зейферта или кого-то из его знакомых. В таком случае, может быть, удалось бы добыть более подробный материал. Но прошло слишком много времени и попытка эта не удалась. А жаль: мне хотелось написать на эту тему рассказ. К этому желанию меня приводил не только трогательный образ старика с его беспредельной любовью к скрипке и к внуку..., но и нечто другое: когда редактор журнала говорил с моей знакомой о ее лагерных воспоминаниях, он ей прямо предложил заменить фамилию Зейферта какой-нибудь русской фамилией, да и самого скрипача сделать русским. Моя знакомая с негодованием отказалась».

Как вы понимаете, это случилось при Хрущеве. Прошло лет двадцать, прежде чем позволили вспоминать.

Левицкая сразу воспряла. Так что знакомая, написавшая о Зейферте, это скорее всего она сама.

Что касается редактора, то понять его можно. Слово «лагерь» разрешили, а слово «еврей» пока нет.

Оттепель она и есть оттепель. Странно от апреля ждать того же, чего от августа.

Да и торопиться ни к чему. Хорошо, что солнце преобладает, но все же рановато ходить без пальто.

Вместе с травой постепенно пробиваются слова. Сперва одно, а потом еще и еще.

В пятьдесят шестом по радио впервые за многие годы вспомнили об эсперанто.

Сарра что-то делала на кухне и прямо замерла с полотенцем в руках. Чувство было такое, словно ее окликнули.

Диктор уже говорил о чем-то постороннем, а она растерянно вытирала слезы.

Вместе с нею в разных концах страны плакали по крайней мере сто бывших лагерников.

4

Порой черновицкие портные говорят удивительные вещи. Один называл «литературу» — «литераторой».

Вобщем-то, правильно. Всякий роман или поэма находится в каких-то отношениях со священными текстами.

Сын этого портного, Ицик Мангер, стал поэтом. Попытался что-то сделать в обозначенной отцом области.

Он писал то, что нужно всем. Уж если прочтешь, то что-то непременно застрянет в памяти.

Это даже не стихи, а песенки. Бывало, напечатают, а уже на другой день кто-нибудь сочинит мелодию.

Почему-то сразу забывали об авторе. Казалось, эти тексты существовали всегда.

Так что Ицик конкурировал с Моцартом. Сколько раз он убеждался, что его творения живут своей жизнью.

Вот песенка об одиноком деревце. О сыне, который просит у мамы разрешения поселиться в его ветвях.

Плачет мама: «Ой, сынок,
Не было бы худа —
Там на ветке, не дай Бог,
Схватишь ты простуду».
«Полно, мама, не рыдай,
Осуши ресницы,
Не пугайся — только дай
Обернуться птицей».

Все мамы говорят одно и то же. Мол, дурная погода, льет дождь, нужно непременно надеть шарф.

Не понимают, что одежда тянет вниз, а тому, кто обернулся птицей, необходимо быть абсолютно свободным.

«Вот взлетаю — тяжело:
Книзу тянет ноша,
Не дают взмахнуть крылом
Шалька и калоши».

Песенка имела отношение и к Сарре. Когда она ее впервые услышала, то сразу представила себя.

Сколько раз один ее внутренний голос предупреждал о последствиях, а другой говорил примерно так:

«Видишь, мама, плачу я,
Сил у птицы мало:
Ах, зачем любовь твоя
Крылья мне связала!»

Сарре так хотелось присоединиться к тем, кому скучно на земле, что удержать ее было делом безнадежным.

Снова деревце одно
И тоской томится —
Ведь с ветвей его давно
Разлетелись птицы.

Конечно, птицы тоже ходят. Семят ножками, быстро и отрывисто вертят головой.

Иное дело, если они летят. Тут в их распоряжении не метр земли, а все бескрайнее небо.

Удивительное это чувство. Кажется, ты не только воспаряешь, но еще становишься собой.

Глава пятая. Путешествие Сарры в Святую землю

1

Не то чтобы у Сарры совсем не было мужчин. Несколько раз дело почти доходило до замужества.

Потом все срывалось из-за ерунды. Как-то даже неловко об этом рассказывать.

Во время первой посадки она подружилась с левым эсером Александром Щербаковым.

Если люди знакомятся в комнате, где им прочли обвинительные акты, то это о чем-то говорит.

Чувству, родившемуся совсем близко от гибели, безусловно можно верить.

Пока с помощью азбуки морзе влюбленные разговаривали не только о личном, но и об общем будущем.

Щербаков предупреждал, что надежд почти нет. Скорее всего, к власти придут большевики.

Так что сидеть придется не раз. Ей — за происхождение, а ему — за принадлежность к боевикам.

После тюрьмы они решили обвенчаться, но почему-то особенно не торопились.

Сперва Сарра повоспитывала приятеля. Он написал о своих чувствах, а она отчитала его за отсутствие выдержки.

Надо иметь мужество о таких вещах говорить прямо. Она предлагала подумать и попытки возобновить.

Люди живут в одном городе и пишут друг другу письма. Словно все еще чувствуют себя сидящими в разных камерах.

Вскоре Сарра узнала, что Александр болен. Тогда она написала, что во всем винит только себя.

Письмо вернулось в связи со смертью адресата. Так неожиданно она стала вдовой.

С этих пор в ее кармане лежала его фотография. Иногда дотронется и сразу мелькнет: это Саша, мой муж.

2

Так все кончается чаще всего. По крайней мере, в ее жизни по-другому не бывает.

Приходилось утешаться фантазиями. Стараться с их помощью изменить жизнь.

Ах, какие были мечты у Сарры! Представлялось, что у нее подрастают мальчик и девочка.

Как-то само собой нарисовалось будущее детей. Возникла уверенность, что сын непременно займется литературой.

Оттолкнулась от этого допущения и пошла дальше. Пусть сын пишет стихи, но его не печатают.

В те годы подобных историй было сколько угодно. Если человек талантливый, то ему никак не пробиться.

Рассчитывать можно только на пять-шесть экземпляров машинописи и десять-двадцать читателей.

Все же что-то в этом сюжете оставалось неясным. Поэтому слишком далеко она в него не вторгалась.

«Заканчиваю рассказ о своем детстве, — писала Сарра, — стихотворением, посвященным моей маме ее старшим внуком — талантливым поэтом (стихи его так и не увидели свет), написавшим цикл поэм о славянских богах. Нижеприводимое стихотворение является вступлением к этому циклу».

Как вы догадались, стихов нет. Видно, она испугалась, что выйдет хуже, чем могло получиться у сына.

Вообще-то, она из тех, кто готов во всем помогать своим детям, но именно это должен был сделать он один.

3

Представлялось, что дочь не уступает сыну. Правда, тут была решимость иного рода.

У него — упорство писать и не печататься, а у нее — ходить на вызовы и лечить больных.

Подпольный поэт и участковый врач чем-то похожи. Кстати, оба известны в узких кругах.

Если Сарра выдумала своих детей, то для каждого из них следовало придумать историю.

Вот это, конечно, для дочери. В ее непростой жизни определение «милый» будет не лишним.

Как это слово соотносится с чем-то неодушевленным? Достаточно поставить его рядом и сразу появляется душа.

«А милую веточку увядающей сирени я хранила долго, долго. А когда она совсем превратилась в прах, я опустила ее в воду никогда не замерзающего ручья, протекающего за нашим домом: чистое должно возвращаться в чистое. И ручей с этих пор стал называться: «Милый». А почему «Милый»? Об этом я не сказала никому: я решила сохранить эту тайну и открыть ее только моей дочке, когда ей, так же как и мне тогда, будет 17 лет.

Нечего и говорить, что в то время, далекое время, у меня дочки не было в помине, да и будущий ее отец еще не появлялся на моем лесном горизонте».

Как тонко положены краски. Через то, что было на самом деле, видишь то, что еще произойдет.

Вот так она существовала. Не боялась к первой реальности подмешать что-то такое, что сразу ее делало второй.

4

Даже человеку, умеющему воспарять, надо где-то жить. Нельзя же пребывать между землей и небом.

У вышедшего из тюрьмы вариантов почти нет. Все большие города для него закрыты.

Сарра понимала, что ей остается только Иваново. Все же этот город для нее не чужой.

В здешнем Энергетическом институте ее брат, Михаил Николаевич, заведовал кафедрой.

Между прочим, крупный ученый. Если электропровода протянулись на всю страну, то во многом благодаря ему.

Помните ленинскую задачку? Складываем советскую власть с электрификацией и получаем коммунизм.

Так вот Левицкий не связывал одно с другим. Впрочем, и начинал он тогда, когда большевики еще не вышли из тени.

В одиннадцатом году опубликовали его «Коммутации электрических станций». Этот труд лежит в основании русской энергетики.

Биография Михаила Николаевича после революции путаная. Одно десятилетия как бы и вообще нет.

На вопрос, чем он занимался с двадцать второго по тридцать третий годы, мы не найдем ответа.

Именно столько лет разделяют его избрание профессором ленинградской Технологички и начало службы в Иваново.

Скорее всего, вспомнили, что Левицкий работал в Бельгии и Америке, и от него решили избавиться.

Не исключено, что с остановкой в таком месте, где особенно приятно вспоминать Филадельфию и Льеж.

Потом Михаила Николаевича выпустили. Все же специалисты его уровня были наперечет.

Так центр отечественной электротехники переместился в Иваново. Здесь он находился до тех пор, пока ученый не вернулся в Ленинград.

Случилось это в сороковом году, а в сентябре сорок первого началась блокада.

Выходит, Левицкий приехал сюда умирать. Ему выпало полгода до войны и немного после.

В начале блокады он погиб. В эти месяцы умирали в основном не от голода, а от осколков снарядов.

Вот такая история. Хоть Иваново не убергло Михаила Николаевича, но этот город спас его сестру.

5

Лучше бы это сказали Толстой или Чехов, но они на этой теме долго не останавливались.

Если же Достоевский интересовался евреями, то его внимание было еще хуже чем безразличие.

Может и хорошо, что это Александр Исбах. Этот автор по самые плечи погружен в свою эпоху.

Во-первых, воевал, во-вторых, сидел. Если хочешь что-то узнать о времени, то эти обстоятельства наиважнейшие.

Скорее всего, Исбах чувствовал и понимал многое, но на бумаге не осталось почти ничего.

Практически нет такого писателя. Даже самые дотошные люди переспросят: «Кто-кто?»

Что тут скажешь? Если человек несколько раз едва не погиб, то вам это что-то говорит?

Скорее всего, второй раз его взяли за «Художника». За вызываемые этим рассказом ассоциации.

К счастью, читателей было столько, что проследить за каждым было никак нельзя.

К тому же, автор, как уже сказано, малоизвестный. Напиши это Бабель или Замятин, сидеть бы Сарре еще раз.

6

Время от времени в нашем отечестве оказывается востребованным честное слово.

Сами разрешат, а потом сами же дадут понять, что в правде больше нужды нет.

Потом еще какая-то необходимость. Срочно понадобилось что-то антифашистское.

Так что Исбаху повезло. Его «Художник» не залег в ящик стола, а оказался кстати.

Сарра никому не давала покоя с этим рассказом. Останавливала знакомых на улице и начинала хвастаться.

Вы представить себе не можете! Открыла журнал, а там то, что нам нужно больше всего.

Вот так работает сарафанное радио. Всего за несколько дней идея охватила массы.

Неизвестно, как обстояли дела в Перми или Сызрани, но в Иванове об Исбахе заговорили.

В записках Сарра помещает «Художника» на почетное место. Начинает с него главу о своих убеждениях.

Рассказ не цитирует, а пересказывает. Видно, делает это в три тысячу первый раз.

«Место действия: русский город, захваченный фашистами. Главное действующее лицо — высококультурный старик-немец... Художник и музыкант. В центре его мастерской — портрет Людвига Бетховена, перед которым старик благоговел, а рядом портрет — другого Людвига — сына художника, погибшего на сибирской каторге. В этих двух портретах все самое заветное, самое святое для старого художника».

Когда много раз повторяешь одно и то же, то что-то пропускаешь. Начинает казаться, что ты это говорил.

Она не объяснила почему Сибирь. Без того ясно, что сын служил в немецкой армии.

Тут ведь нет вариантов. Если ты достиг призывного возраста, то изволь становиться фашистом.

Можно было этим воспользоваться. Упомянуть о том, что Людвиг сражался за их идеи и попал в плен.

Старик решил, что отвечать будет он один. Что его расстрелянный мальчик тут ни при чем.

«Фашистский сержант принимает старика-немца за еврея и в своем зверском бескультурье начинает хлестать картины как «жидовскую пачкотню». Заслонить грудью Бетховена старик не успел, но перед портретом сына встал непоколебимый как изваяние. Удары хлыста падали уже не на портрет сына, а на лицо отца и брызги крови окропляли светлое лицо сына. Потом старика арестовали, а картины свалили в кучу и сожгли».

На другой день Художника вызвали в комендатуру. Ему предлагали работу по специальности.

Все-же у военных слишком много дел. Как-то не с руки им заниматься живописью.

Ну а старик не только спасет свою жизнь, но и отметит день рождения фюрера.

Гитлер на портрете будет как на фото, но только еще красивее. Пусть его взгляд обжигает, а рука взмывает вверх.

«Художнику будет предоставлено все необходимое для создания картины, перед ним открываются блестящие перспективы. Но старик молчит, неотрывно смотря в переносицу лейтенанта. И столько было презрения в его молчании, что лейтенант в бешенстве приказывает увести старика».

Вот это уж точно финал. Вести себя так упрямо значит самому проситься на плаху.

«На площади в землю вкапывается несколько столбов, около каждого из них куча горячего материала, бидоны с керосином. И вот под конвоем появляются три полуобнаженных, исполосованных изнуренных фигуры. У каждого на груди доска с надписью: «Я — грязная еврейская свинья». Среди всех, прихрамывая, идет художник. Он дряхл и стар, но, когда под ним запылал костер, и седая борода порыжела от огня, он крикнул молодым голосом: «Слушайте все! Все слушайте! Я — не еврей, я немец, из Франкфурта, но я не хочу быть немцем, если они немцы». Он показывал на фашистов. «Они позорят Германию! Звери! Позор! Настоящие немцы проклянут вас! Они придут! Гнев мира накажет вас».

Вся жизнь Левицкой прошла в толпе. В лагере это были барак или колонна заключенных, а на свободе собрания и очереди.

Художнику выпало оказаться на площади. Хотя бы на миг подняться над ситуацией и стать ее центром.

Сарра не только не претендует ни на что такое, но одну эту мысль называет «дерзки-глупым тщеславием».

Значит, существует тщеславие раскланиваться на сцене и — тщеславие взойти на эшафот.

Вот что ее беспокоит. С одной стороны, надо поступить так, а с другой, права на это у нее нет.

«...По психологии моего решения перейти в иудейство было сходным с психологией этого художника: мою нацию осквернили погромщики, черносотенцы, высокопоставленные изуверы вроде Победоносцева и Николая Кровавого. И я не хотела оставаться в одном лагере и пользоваться привилегиями, даруемыми принадлежностью к лагерю насильников. Повторяю, я не сравниваю это мое желание к подвигу Художника Исбаха, как нельзя сравнивать каплю воды с океаном. Но это касается только размеров. По существу же вода есть вода, независимо от того, является ли она каплей или безбрежной стихией».

Существуют художники и поклонники. Первые творят, а другие понимают их как никто другой.

Как видно, это и есть ее миссия. Память о кумире она сумеет сохранить не хуже настоящей вдовы.

Еще Сарра единомышленница всех жертв. Как только это понадобится, она к ним примкнет.

7

Неизвестно, что было сначала: этот рассказ Исбаха или несколько строчек о Николае Блинове?

Ясно, что тут есть внутренняя связь. Один сюжет что-то добавляет к другому.

История о Блинове свалилась неожиданно. Левицкая читала книгу по еврейской истории и вдруг наткнулась на это имя.

Особенно автор не распространялся. Просто сообщал, что во время Житомирского погрома тот встал на защиту евреев.

Эти несколько строчек Сарра восприняла как сигнал. Если это действительно так, то она не одна.

Конечно, есть Художник, но это все же персонаж. Скорее, не человек, а предположение.

Еще, конечно, дедушка Михаил Николаевич. Уж они с Блиновым точно поняли бы друг друга.

«Перед глазами встал тот исторический период, моя юность, мои переживания в связи с Кишиневским погромом. — писала Сарра. — Было мне тогда 15 лет, жила и училась в Киеве, в закрытом учебном заведении и о погроме узнала лишь после его окончания, из газет. Принять участие в самообороне я, значит, никак не могла. Но при суде над самой собой могут ли иметь вес объективные причины? В те дни я буквально плакала от бешенства и злобы на самую себя, что стояла в стороне от этого ужаса. И вот эти строки о Блинове. Блинов не стоял в стороне. Он сделал то, что должна была сделать я. Вот точно я солдат, назначенный на смертельно-опасный пост. И этот солдат — я — не явился на этот пост. Вместо меня на мое место пошел другой и был убит. И этот другой был Блинов. И Блинов был убит. Не я, а он...»

Странно ощущать такую зависимость. Считать, что твои и чужие действия тесно связаны между собой.

Причем речь не о соседе из квартиры напротив, а о неизвестном юноше из девятьсот пятого года.

Казалось бы, что ей этот Коля? Подумала о нем с благодарностью и можешь долго не вспоминать.

Наверное, кто-то бы так и сделал, но уж точно не женщина из породы плакальщиц.

Такая у нее миссия — не забывать. Чуть ли не каждую минуту провожать своих мертвых.

Раз она берет ответственность за Блинова, то тут все должно быть по-настоящему.

В первую очередь, надо поехать в Житомир. Ведь если искать следы, то прямо на месте.

С этой минуты к задаче стать еврейкой прибавилась еще одна: во что бы то ни стало прорваться в прошлое.

8

Хорошо бы на что-то опереться. Взять в помощь какую-то толковую фразу.

Если речь о еврейских проблемах, то значит и мудрость должна быть еврейская.

Сколько всего в этих афоризмах и поговорках. Сразу видишь того, кто их произносит.

Сначала надо подготовиться. Лицо становится таким серьезным, словно ответ получен свыше.

Что за музыка без увертюры? Даже когда еврей танцует, то сперва засовывает пальцы за обшлага.

Так что не удивимся паузам. Как иначе отличить главное от второстепенного?

Больше всего Сарре нравилось: «Где какой бедолага, то уже мой родственник».

Если какая-то сложная ситуация, то она вспомнит эти слова и сразу успокаивается.

Ведь действительно не в гостях. Пора бы привыкнуть, что иначе у нее не бывает.

Кстати, о танцах. Возраст у нее не такой, чтобы пускаться в пляс, но чего только не бывает во сне.

С каждым тактом скорость увеличивается. Пальцы держат жилетку, а локти вращаются так, что, кажется, полетишь.

Вот она поднимается в воздух и движется со скоростью перистых облаков.

Интересно, что там, внизу? Этот городок может называться Витебск, Житомир или Туняядовка.

Скорее всего, Туняядовка. То есть то, чего наверное нет, но вполне может быть.

В полете больше думаешь о возвышенном, но все же замечаешь человечка под зеленым забором.

Совсем не стесняется тех, кто над ним. Сосредоточенно занят своим делом.

Вот так и в нашей жизни. Кто-то парит в воздухе, а другому совсем не до того.

Даже во сне Сарра помнила, что первыми взлетели герои Шагала. Видно, и сейчас они где-то здесь.

В полете особенно не побеседуешь. Перебросишься парой словечек, и легишь дальше.

О чем думает человек на воздушном просторе? О том, что свобода не безгранична.

Для того нам и даны Священные книги. Кроме тех запретов, что касаются всех, тут есть особые требования к художникам.

Так и слышишь голос главной книги евреев: «...никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли».

Что тут, казалось бы, можно сделать? Как остаться верным заветам и все же выразить себя?

Шагал рассуждал так: если нельзя запечатлеть одно и другое, то следует их поменять местами.

Поэтому у него все настолько перемешалось, что не разобрать, где верх, а где низ.

Вот она, еврейская изворотливость. Из любой ситуации эти люди не только найдут выход, но создадут нечто исключительное.

Ну что-нибудь вроде все тех же парящих влюбленных или коровы с дояркой в голове.

Это настоящая еврейская голова — а идише копф. Вместившая все самое важное для своей носительницы.

9

Раз мы упомянули древнюю книгу, то не станем ее откладывать в сторону. Поищем что-то для нас подходящее.

Это место в Торе звучит так же, как в Библии. Разница только в переводе.

«Предпочитаю я стоять у порога дома Б-га моего, чем жить в шатрах беззакония» или «Желаю лучше быть у порога в доме Божием, чем жить в шатрах бесчестия».

Вот и у Левицкой разница лишь в отдельных словах. Смысл тот же, но интонация немного другая.

Сарра не цитирует, а толкует и объясняет. Перелагает на язык собственной судьбы.

Жить и стоять у порога, считает она, не одно и то же. Все равно, что находиться внутри и снаружи.

Зато странствовать и познавать — близкие понятия. Стучишься в разные двери и что-то тебе открывается.

10

Конечно, никаких шатров у Сарры не было. Бараки встречались, а шатры — нет.

Что касается беззакония, то вряд ли псалмопевец представлял такие масштабы.

Впрочем, кое-какие пропорции соблюдались и у нас. Должен же кто-то лечить людей и преподавать физику.

Правда, по ночам просыпались все. Понимали, что звонок к соседям звонит также и по тебе.

Никто не путешествовал просто так. Прежде чем куда-то направиться, следовало застаться причиной.

Все же одно дело, если это поездка для обмена опытом, а совсем другое, когда что-то померещилось.

Сарре именно померещилось. Почудилась какая-то точка и она стала к ней приближаться.

В хрущевские времена стало ровно наоборот. Все, что прежде запрещалось, теперь было разрешено.

Никто не думал о поводе. Считалось достаточным походить по лесу и попеть у костра.

Ну вроде как на смену фигуративной пришла абстрактная живопись. Свободные поиски вместо программы.

Сарра симпатизировала новым веяниям, но помнила, что у нее собственный путь.

Если ей надо в Житомир, то не потому, что она чувствует себя вольным странником в поисках неизвестно чего.

Другое дело, что ее ждет в этом городе. Говорят, улицы в нем такие кривые, что не знаешь, куда они приведут.

11

Так надеются на встречу со Святой землей. Считают, что раз она существует, то Бог тоже есть.

Да и в доме Бога возникают похожие ощущения. Если надет талес и внесен свиток, то он где-то недалеко.

Путь Сарры привел ее в синагогу. Ей почему-то показалось, что именно с этого следует начинать.

Дом Бога открыт для всех. Даже для тех, кто не знает, как правильно к нему обратиться.

«Помню только волну тепла, идущую ко мне от собравшихся там женщин (в синагоге, как известно, женщины собираются отдельно от мужчин. В большинстве случаев на хорах), — писала Сарра. — Думаю, что мое тепло они так же почувствовали. Любимый мой художественный образ — это человеческий Гольфстрим. Гольфстрим человеческих душ. И, пожалуй, единственным моментом моей жизни, когда я почувствовала этот Гольфстрим и было вот это минутное свидание с совершенно мне неизвестными женщинами».

Вот-вот. Прежде она тоже ощущала что-то подобное, но так сильно это случилось в первый раз.

Напоминает, знаете ли, посещение рая. Хотя вокруг чужие лица, но кажется, что это свои.

У евреев с верой особые отношения. Два тысячелетия у них не было государства, но зато у них был Бог.

Он смотрел за ними строже, чем государство. С утра и до ночи старался упорядочить их жизнь.

Тут все имело значение. Например, есть следовало не то, что хочется, а то, что он разрешает.

В субботу его власть была абсолютной. Позволялось читать только молитвы и думать исключительно о высоком.

Следовало постоянно себя с ним соизмерять. Зажигая свет в комнате, помнить о том, что он будет недоволен.

Сарра немного удивлялась. Бог ее детства был снисходительным, а этот жестким и требовательным.

Правда, тепло, как уже сказано, чувствовалось. На хорах было почти так как в Иерусалиме к концу дня.

12

Едва Левицкая что-то ощутила, как ей напомнили, что еще не время разгудивать по синагогам.

На улице она встретила соседку по хорам. Уже собралась ее приветствовать, но та решительно воспротивилась.

Сарра сразу обо всем догадалась. Ее подозревали в том, что она явилась в храм не ради себя.

То есть и ради себя тоже. В том смысле, что такая работа оплачивается особым образом.

Суммы начиная от тридцати серебряников. В зависимости от того, каким оказалась улов.

Левицкая обиделась, а потом успокоилась. Люди чаще всего предпочитают простые отгадки.

В самом деле редко в синагоге увидишь светловолосых. Если только они заглянули сюда по упомянутой служебной надобности.

Кому-то определили базар, а кому-то Божий дом. Не происходит ли тут чего-то недозволенного.

Когда-то так являлся Иван Блинов. Напоминал о том, что судьба молящихся не всегда зависит от высшей силы.

Существуют вещи, которыми небеса вряд ли интересуются, а полицейский их решает на раз.

13

Это, конечно, не главное. Если Сарра оказалась здесь, то важно лишь то, что связано с Колей.

Сперва следовало отправиться на Русское кладбище и разыскать его могилу.

Ей сразу начало везти. Кто-то будто специально знакомил ее со стариком-гробовщиком.

Возможно, это был тот самый Семенов, которого когда-то упоминала «Вольнь». Тогда ему было двадцать, а сейчас семьдесят.

От долгой работы на этом поприще стал Семенов как бы еще одним кладбищенским памятником.

Знал буквально всех мертвых. Ведь это он снаряжал их в самое долгое путешествие.

Делал не на глаз, а тютелька в тютельку. Так, чтобы ничто не помешало в их непростом пути.

Конечно, старик помнил этого Колю. Был он совсем юный и со страшными шрамами на лице.

На похоронах собралось много людей. Обычно эта церемония тихая, а тут вышло что-то вроде митинга.

Евреи даже закрыли глаза на то, что это суббота. Вели себя так, словно это понедельник или среда.

В этот день к ним относились так почтительно, словно они родственники покойного.

Они и есть родственники. Пусть не в жилах, а по житомирским камням текла их кровь.

У гробовщика всегда есть срочная работа, но на этот раз он не мог не принять участия.

Стоял и думал примерно так. Вот — сделанный им гроб и лежащий в нем юноша, а это — толпа людей.

Почему, когда делаешь гроб с душой, в него поселяется кто-то непустячный? Или крупный чин, или просто хороший человек.

Где сейчас его могила? Так устроена жизнь в этих местах, что одни покойники прибывают, а другие уходят навсегда.

Бывает, захочешь помянуть, а уже негде. Ведь не только у людей, но у захоронений есть земной срок.

14

Все же встреча не лишняя. Раз Сарра решила попасть в тот день, то один свидетель у нее есть.

Правда, старик ничего важного не вспомнил. Это даже меньше застрявшей в памяти фразы о Коле.

Раз он не знает, то вряд ли ей что-то светит. Впрочем, она не торопится уходить.

Вот захоронения его соседей. Судя по датам, они познакомились еще на этом свете.

Видно, в отношениях живых и мертвых случилось что-то непоправимое. Почти ни одной ухоженной могилы.

Иногда видишь: человек солидный и его посмертный дом вполне соответствует прижизненному положению.

Потом все пошло наперекосяк. Какими-то вихрями перевернуло надгробие и разломало ограду.

Вряд ли у Коли оставался шанс. Уж если железо не устояло, то что он со своим крестом.

Вдруг, представьте, небольшое надгробие, а на нем выбито: «Поручик Иван Петрович Блинов».

Сарре захотелось памятник обойти. Она сделала шаг в сторону и увидела доску из темного мрамора.

Буквы почти стерлись, но все же при желании можно прочитать: «Николай Иванович Блинов. Убит 24 апреля 1905 г.»

Ну, здравствуйте, Коля! Не так много понадобилось усилий для того, чтобы эта встреча состоялась.

Что касается гробовщика Семенова, то что тут скажешь? Он хотя бы был бескорыстен и деньги наотрез отказался принять.

15

Поиски продолжались. Теперь следовало отправиться в краеведческий музей.

Музей — тоже кладбище. Слоняешься среди табличек, как среди памятников, и пытаешься что-то понять.

Почему-то главный стенд посвящен восстанию на «Потемкине», которое, как известно, произошло в Одессе.

Видно, броненосец отвечал за пятый год. Свидетельствовал о том, что в этот период не было ничего более важного.

Потом сразу случилась Октябрьская революция, а затем Отечественная война.

Знаем, знаем эту логику экспозиций. Одно они открывают, а другое прячут поглубже.

Левидкая отправилась к заведующей. Решила узнать, нет ли в музее интереса к Блинову.

Может, что-то слышали, но смутно. Ведь шансов попасть в витрину у него нет.

На этот счет имелась целая теория. Суть ее заключалась в том, что совсем не все подходит для демонстрации.

Иногда и хочешь взять фото, а затем взглядишься: это эсер или, еще хуже, бундовец.

Неважно, что эсер нашел место среди пяти ленинцев. Комиссии вполне хватит этого одного.

Сарра сделала вывод, что Коля не был большевиком. Да если бы и был, то имел бы право на немногое.

Все же он завершил жизнь почти как Гдаля Шмуэльзон. Голым человеком на голой земле.

Кстати, и потом числился как жертва. На полу морга Еврейской больницы был неотличим от своих соседей.

Даже последний его жест — не твердый и требовательный, а мягкий и умоляющий. Будто прозревающий во врагах людей.

Только потом стало ясно, что тут есть высший смысл. Что погибнуть в данном случае и значит победить.

Кстати, с «Потемкиным» музейщики что-то напутали. Видно, слишком много раз смотрели фильм Эйзенштейна.

На самом деле броненосец был почти как Коля. Его матросы понимали, что надежд никаких, но для них главное было начать.

16

Дальше — к бывшему типографскому рабочему Вейсману. В пятом году он участвовал в отряде самообороны.

Как вы знаете, типография во время погрома не работала. В эти дни собирали не металлические буквы, а камни и бульжники.

С Колей Вейсман не пересекся. Уж очень на большом расстоянии это происходило.

Тут не одно, а сто сражений. Не только за каждый дом, но за такую мелкую единицу человеческого счастья как перина.

Уже говорилось, что погромщики любят пустить пух в таком количестве, что апрель превращается в декабрь.

Несколько перин Вейсман отбил. Защитил право людей своей нации нежиться в теплых постелях.

Везучий человек этот рабочий. Он смог миновать не только этот погром, но многие другие испытания.

Кому-то участие в самообороне настолько осложнило жизнь, что не помогло даже членство в партии.

Вейсману все неплохо. Ко всем революционным праздникам он получал по грамоте.

На сей раз Левицкая тоже ничего не узнала о Коле, но что-то поняла о жизни как таковой.

Исторический момент можно представить как скопление разных людей.

В этой гурьбе Сарре были известны двое. Жаль только она не запомнила их имена.

Опять ей что-то мерещилось. Совсем юный Вейсман тихо стоял на пепелище.

Несмотря на принадлежность к рабочей ячейке, он обращался к Богу. Просил, чтобы день поскорей завершился.

Невыносимо думать, что это случилось только что. Пусть хотя бы сегодня превратится во вчера.

Гробовщика Семенова Сарра видела в толпе. Там, где кончались спины, в открытом гробу лежал Коля.

Если на кладбище человек в шапке, то значит он здесь работает. Уже не ощущает дистанции между собой и смертью.

Семенов не только снял шапку, но чувствовал в глазу щекотание. Это набухала и собиралась выкатиться слеза.

17

Так она двигалась. От второстепенного к самому что ни на есть основному.

Ей предстояло обойти всех, кто что-то знал о Блинове. По этим рассказам составить его портрет.

Задача оказалась нелегкой. Все, к кому она обращалась, реагировали неадекватно.

В глазах так и светилось: зачем это вам? какая нужда погнала вас из дома?

Что на это ответить? Она не только не состояла в родстве с Колей, но даже не писала документальный роман.

Скорее всего, ее путешествие напоминало детскую незаконную вылазку на чердак.

Прелюбопытное, надо сказать, место. Будто на том свете тут собралось все, что не участвует в жизни.

Ватный Дед Мороз спит среди игрушек как египетский царь в похоронной ладье.

Ручка оплакала свое прошлое и окончательно высохла. В ее положении остается только прислониться к чернильнице.

У чернильницы тоже дела неважные. Прежде она стояла полная до краев и все надеялась отдать кому-то свою влагу.

Сейчас ее глубины принадлежат пауку. Отсюда он готовится начать завоевание мира.

Кое-где видны его поползновения. В скором времени их будет все больше.

Словом, картина печальная. Кажется, что минувшее доживает свои последние дни.

18

Сарру будто предупреждали: не ходите на чердак! только наглотаетесь пыли!

Что за радость перетряхивать рвань? По модели представлять тех, кто это носил?

Несколько раз ей не открыли дверь. Пришлось переговариваться через замочную скважину.

Ощущение возникало такое, словно ее не слышат. Будто собеседник прячется где-то в глубине комнаты.

Лишь один человек был с ней откровенен. Посоветовал все делить на двадцать пять.

Еще он сказал, что если бы Коля погиб сегодня, то его бы никто не считал героем.

Сарра прямо опешила. Возможно ли, чтобы такой подвиг совсем не вызвал отклика.

Потом подумала: а почему нет? Тогда погромщики проиграли, а сейчас им принадлежит все.

Памятники они ставят только себе. Чуть не на каждом шагу напоминают, что это их государство и их власть.

19

Это было четырежды опасно. Поэтому Левицкая говорила не все, а почти все.

Иногда Сарра спохватывалась и, во избежание ненужных толкований, начинала что-то объяснять.

Ох, уж эти оговорки! Словно весь текст писался для себя, а отдельные фразы для посторонних глаз.

Что с того, что Блинов был эсером? Если хотите знать, одно время эсеры играли прогрессивную роль.

Затем имя Вождя революции ставилось рядом с Данте, Пушкиным и Толстым.

С Данте, пожалуй, согласиться можно. Ведь Ленин тоже был создателем Ада.

Конечно, этого Сарра не имела в виду. Всячески подчеркивала, что не только не против, а почти за.

Казалось бы, для чего это рвение? Уж если она встала на этот путь, то оправдания не помогут.

Видно, не хотелось пропасть из-за ерунды. Из-за того, что здесь кого-то не упомянула, а тут не вставила нужную цитату.

Есть куда более важные поводы. Ну хотя бы то, что она, Сарра, живет не как все.

20

Вскоре Левицкая опять отправилась в Житомир, предварительно определив цель поездки как «борьбу с антисемитизмом».

Вот так, не больше и не меньше. Впрочем, скорее все-таки меньше, чем больше.

Речь не шла о том, чтобы излечились все. Если несколько человек избавятся от недуга, то это кое-что.

Работы такого рода с избытком в Иванове, но ей хотелось начать с Житомира. Ведь это делалось в память о Коле.

В первую очередь, следовало показать погромщикам, что помимо ненависти есть что-то еще.

Задача, как понимаете, непростая. В считанные минуты противники докажут обратное.

Да и что могут руки против кулаков? Если одна такая гиря опустится, то, считай, разговор окончен.

Сарра придумала обходной маневр. Решила начать работу с самых маленьких.

Остановилась на детях окраинной Малёванки. Некогда в этом районе компактно проживали громилы.

От внуков и правнуков — самый прямой путь к их взрослым родственникам.

Неплохо бы стать директором детского сада. Как мы помним, однажды это у нее получилось.

В какой уже раз — горшки, слонявчики, варежки на веревочках и растянувшаяся на два дома колонна детей.

Впереди Сарра с флажком. Как бы в размер тех демонстрантов, которых она вывела на улицу.

Впрочем, важнее всего собраться в большой комнате. Пусть эти вечера называются: «Сказки народов мира».

Она будет пересказывать Библию. Между прочим упомянет, что первые люди были евреи.

У родителей голова пойдет кругом. Кто-то выскажется в том смысле, что лучше бы дети ругались матом.

Очень странно это на фоне прошлого. Выходит, зря их предки не любили эту нацию.

Все решат, что дело в имени Сарры. Что если бы ее звали Марией, то она вела бы себя иначе.

Дети возразят, что Мария тоже еврейка. Речь, понятно, не о последней Марии, а о самой первой.

21

Опять представим еврейских мудрецов. Вот они сидят в Холмове и обсуждают исход из Египта.

Говорят так взволнованно, словно вспоминают. Будто это их сандалии прожигал песок пустыни.

Вся ночь прошла за этими разговорами. Время читать утреннюю молитву, но тема не исчерпана.

Все знают примерно одно и то же, но это им не мешает. Каждый непременно найдет, что уточнить.

Как вы догадываетесь, эти прения случились в сейдер во время праздника Песах.

На столе — фрукты, рыба, овощи, яйца. Это разнообразие следует не только съесть, но обсудить.

Вот, например, яйцо. Сразу возникает вопрос: почему Всевышний придал ему такую форму?

Вышло нечто идеальное в своих пропорциях. С какой стороны не посмотришь, все одно и то же.

Потом понимаешь, что ситуация сложнее. Чтобы в этом убедиться, следует яйцо разбить.

Нет ничего доказательнее груды шелухи и всем своим маленьким тельцем дрожащего содержимого.

Примерно так «вещь в себе» становится «вещью для нас», а точка оборачивается открытым финалом.

Какой тут можно сделать вывод? Все окончательные формы лишь до поры до времени.

Вот и мы так же. Хотя фараонов не стало меньше, но в каждом поколении кто-то покидает Египет.

Прежде выходили всем народом, а сейчас пробиваются небольшими группками.

Всякий раз получается, что свобода — это путь. Движение не только вглубь, но и вовне.

Потому Иван Блинов отправился так далеко, что нет никого свободнее путешественника.

Затем процесс пошел по нарастающей. В двадцать восьмом году Москву покинул театр «Габима».

Не кто-то один сорвался с места, а весь небольшой театральный народец. Не исключая костюмеров и осветителей.

Так всем коллективом перебрались в Палестину. Решили не только играть на иврите, но жить на этом языке.

Сарра тоже знала, что ее усилия не напрасны. Уж насколько кружной у нее путь, но он непременно ее выведет.

(Окончание в сл. номере)



Михаил ОКУНЬ

/ Аален — Санкт-Петербург /

* * *

И нет ни воли, ни покоя,
 Ни мимолетного лица...
 Скажи, но что там золотое
 Мерещится мне без конца? —
 Играет, бьет последним блеском,
 Скрывается среди дерев,
 Стремится к дальним перелескам,
 И пропадает, умерев...

* * *

Уж подкатит — так подкатит!
 Покупай пальто на вате,
 По инерции живи.

Мочегонного бы чая —
 Только с ним и замечая,
 Как струится селяви.

Август

Дождик хлещет по жестянке —
 С утра такая жесьть.
 Киснет суп в литровой банке —
 Надо б съесть.

В Петербурге — месяц лета
 Поливает, как всегда.
 И пришила газета
 Не туда.

Сборник стихов 70-х годов

В вокзальном киоске за тридцать
копеек... В вагоне раскрыл.
А дома на полке пылиться
оставил. И думать забыл.

И сборник — с Луи Буссенаром
и томом, где видный марксист
оправдывал ссылки и нары, —
довеском ушел в «Букинист».

И нынешний вьюнош безусый —
не без графоманских грехов —
глядишь, да оттяпнет со вкусом
от нищенских этих стихов.

* * *

На фабрике немецкой, вот сейчас...
В.Набоков

Под клейким небом снег месить —
А всё же приближаясь к марту!
Успеть в контору проскочить,
Магнитную отметив карту.

Ухватки лихо перенять —
И, движителем став прогресса,
Цилиндр в конус загонять
При помощи ручного пресса.

И незачем смотреть назад...
А впереди — на сто процентов —
Нальет кофейный автомат
Стаканчик мокко (тридцать центов).

Поэт

Где его никто не слышит,
Где гроша никто не даст —
Там стихи упорно пишет
Пожилой энтузиаст.

Эпилептик

Лезет в голову всякий «сурьёз» — о невнесённой лепте,
О бытии без цели и упорства.

А вспомнилось вдруг, как бился эпилептик
На привокзальной площади Зеленогорска.

Как его выгибало, дрючило, колотило!
Пузыри, пена, об асфальт куда как крепко.
А потом, глядь, отпустило, —
Сел на лавочку, утерся засаленной кепкой.

И банальное приходит: не так ли и ты? —
Душит, душит, кровь стучит, вибрируют перепонки,
Еще малость — и кайки, кранты!
А глянешь на небо, сядешь в сторонке...

Репино

Словно временем палимы
Этого поселка дни...
До «Пенат», Илья Ефимыч,
Не добрался, извини!

Но зато по Первой Новой
Шел — а там без сверхзадач
Доживают век хреновый
Скелетоны финских дач.

У «элит-кафе «Барашка»» —
Пищевых отходов бак,
Облюбованный компашкой
Непородистых собак.

От гостиничной рутины
Тошно барышне одной,
И амбре гниющей тины
Носит ветер заводной.

* * *

Отдай меня в дом престарелых —
На койке казённой лежать
И тел стариковских опрелых
Хронический запах держать.

Мой сын, в этом месте последнем,
 Последним витком холодным,
 Клянусь! — не испорчу обедни,
 Речам предаваясь пустым.

В достатке тушенки и риса
 До белого кипариса
 От сосен карельских горелых...
 Отдай меня в дом престарелых!

Портрет

То ль наказаньем, то ль подарком
 Приснятся оные года
 И госпиталь, где санитаркой
 Трудилась бабушка тогда.

Случалось, что вела к обеду:
 Супец, перловка, хлеб, кисель...
 Я объедал больных, и беды
 Могли проистекать отсель.

И раз со стенки кабинета,
 Где оказался я один,
 Мне погрозил во френч одетый
 Усатый грозный господин.

Но не успел призвать к ответу.
 Больницы нет, бабули нету...
 Под Кремль зарылся берендей.
 А новые фотопортреты
 Уже для нынешних людей.

* * *

А.Гельгиссеру

Забуть о ленинградской пьяни,
 Которая «поэты тож»,
 Снимать квартиру в Перпиньяне...
 А впрочем, душу не тревожь, —
 Нам никогда не жить у моря,
 Наш век до тошноты другой.
 И не пытайся априори!
 (И рыбный рынок — дорогой.)

На Стрелке Елагина острова

Львы елагинской Стрелки.
Залив недвижный, мелкий.

Заколоченные домики старого парка.
Колонна — подобием свечного огарка.

Катера на приколе у сухого дока.
Серебристая ива, помнящая Блока.

* * *

Что мною движет? —
ничто не движет...
Февраль снежки на прутик нижет,
и коль сегодня выходной,
то надо выпить по одной.

А где-то глинистое море
утесы харит, дрючит, порет,
и вот подмытый великан
уже насажен на кукан.

А в море рыба-зеленуха,
тридцатилетняя старуха,
лежит на каменистом дне
и вспоминает обо мне.

Да, мы встречались... Город Сочи,
где нынче всяк на игры дрючит,
давал сациви и приют.
Теперь там сваи в землю бьют,
и Путин катится на лыжах
в кольце шутов, седых и рыжих.

* * *

Коварны мартовские иды...
Бронежилет или хитон —
Равно до проходной Аида
На «скорой» будешь довезён.

Белеет кипариса крона
И, как маразм, крепчает явь.
Пустой? — тогда не жди Харона,
А лучше дуй, касатик, вплавь.

Римма ЗАПЕСОЦКАЯ

/ Санкт-Петербург – Лейпциг /



Проверка таланта

Этим летом неожиданно подошел к своему то ли завершению, то ли к началу новой главы один слишком затянувшийся судьбоносный сюжет. Мне предложили роль в авторском фильме, и я ответила, вроде в шутку, что всю жизнь об этом мечтала. На самом деле даже и не мечтала, ведь я сама погубила свою детскую мечту. Чтобы сыграть эту роль, я потратила на дорогу трое суток и деньги на билеты, пересекла несколько государственных границ, обрекла себя и на другие лишения. И всё это показалось мне небольшой платой за такую чудесную возможность. А ведь я когда-то, хотя и вопреки желанию, но своей волей сделала всё, чтобы это не осуществилось, и, возможно, нарушила написанный в иной реальности сценарий предназначенной мне судьбы. Так я, во всяком случае, вижу это, опираясь на весомые для меня доказательства.

А начинался этот судьбоносный для меня сюжет так. Мне было одиннадцать лет, и я занималась в кружке художественного слова. У меня была четкая дикция, хорошая память, так что тексты я запоминала быстро и без напряжения. Мне нравилось читать стихи с выражением, «художественно», но когда наш кружок побывал на спектакле старших школьников — играли «Снежную королеву», я просто задохнулась от восторга и поняла, кем я хочу стать, когда вырасту, — конечно же, актрисой. И я сразу стала мысленно перевоплощаться в своих будущих героинь — прекрасных, жертвенных и отважных. Правда, за год до этого, в десятилетнем возрасте, я начала писать стихи и сочинять роман, поэтому уже знала, что мое призвание — литература, но это как-то в моем сознании одно другому не мешало. И тут внезапно передо мной встал тревожный вопрос: а вдруг у меня нет актерского таланта — и я не смогу осуществить свою мечту? Как я это тогда себе представляла, актерский

талант — когда так чему-то или кому-то подражаешь, что не отличить — «как в жизни». И я стала думать, кому и чему бы мне подражать, чтобы проверить наличие таланта.

Думать, впрочем, долго не понадобилось: объект для подражания был перед глазами. В нашем классе училась Галя Ивикова, симпатичная, доброжелательная и аккуратная девочка с длинной толстой косой — в общем, во всех смыслах положительная. И у этой славной девочки был один очень болезненный для нее недостаток — она сильно заикалась, и это было связано с каким-то органическим поражением органов речи. И вот я решила научиться говорить, как бедная Галя, чтобы в случае успеха доказать самой себе и другим наличие у меня актерского таланта. И некому было меня вразумить, остановить — ведь я ни с кем не поделилась своей главной на тот момент тайной.

Я сразу же целеустремленно приступила к осуществлению своего замысла — при каждом удобном случае что-то спрашивала у Гали, буквально смотрела ей в рот и пыталась запомнить, как она произносит слова и отдельные звуки. Конечно, я старалась проделывать это незаметно, так что «объект» ни о чем не подозревал, а я дома перед зеркалом усиленно тренировалась, пытаюсь копировать не только само заикание, но и мимику — судороги и спазмы, искажавшие красивое личико несчастной девочки. Мама, наблюдая мои гримасы, не сомневалась, что я просто балуюсь, сердилась и требовала, чтобы я прекратила это безобразия. Чтобы в этот момент, по возможности, не попадаться ей на глаза, мне часто приходилось тренироваться не перед большим зеркалом, а пользоваться маленьким карманным зеркальцем и прятаться в каком-нибудь закутке.

Всё это происходило весной, в конце учебного года. Я окончила пятый класс, а летом мне исполнилось 12 лет, началась гормональная перестройка, свойственная переходному возрасту, и эффект моих тренировок с целью проверки таланта превзошел все ожидания. «Успех» был полным — так сильно я начала заикаться, и не «понарошку», не «как в жизни», а на самом деле — в реальной моей только начинавшейся жизни. Осенью я пошла в шестой класс уже в другую школу — наша семья переехала из Фрунзенского в Куйбышевский район. Учительница вызвала меня как «новенькую» и попросила, чтобы я представилась классу. И я не могла этого сделать — сказать, как меня зовут, просто произнести два слова. Спазмы и судорожные подергивания искажали мое лицо, произнесение каждого звука было мукой. Конечно, волнение первого дня в новом классе усиливало мой «свежий» логоневроз, щёки мои пылали от стыда и усилий все-таки произнести эти два слова — имя и фамилию. И я помню до сих пор обращенные ко мне взгляды — недоумённые, насмешливые, а иногда и сочувствующие. Наконец,

запинаясь на каждом слогe, я все же сказала, как меня зовут: Илона Миртова — и села на место, ничего не видя, перед глазами был туман.

Прежние мои одноклассники, включая Галю Ивикову, так никогда и не узнали, что со мной приключилось в результате проверки таланта. Я и раньше отличалась повышенной нервно-стью, страдала головными болями, а с приобретением логоневроза у меня прибавилось комплексов и понизилась самооценка. Что толку было мне в наличии таланта, если я сама невольно растоптала свою мечту?

Только через два года, после настоятельных советов родственников и знакомых, мама повела меня к логопеду, но я отчего-то в тот момент совсем не волновалась и поэтому без всякого заикания пересказала предложенную мне картинку. Врач был в недоумении и сказал маме, что у меня всё в порядке с речью и я не нуждаюсь в лечении. Так что мама еще раз уверилась, что при желании я могу нормально говорить, и отругала меня.

Родители мои через несколько лет как-то встретили на улице родителей Гали Ивиковой. Конечно, разговор у них зашел о здоровье и успехах детей. И мама после этого сказала мне с укором: «Ты почему-то так плохо стала говорить, а вот Галя... она сейчас почти не заикается». И вдруг смутная тревога охватила меня: я почувствовала, что это как-то связано — мой логоневроз и странное, при органическом заболевании, значительное улучшение речи Гали Ивиковой. Конечно, это могло быть просто совпадением, но для меня всё очевидней становилась связь этих двух фактов. Я вспомнила, шаг за шагом, историю наших с Галей отношений и моего к ней «подключения», состоящую из трех эпизодов.

Эпизод первый — это первое полугодие первого класса, когда мы еще читали «Букварь» (а во втором полугодии уже перешли к учебнику «Родная речь»). И я отчетливо помню этот «Букварь», открытый на той странице, где было напечатано по складам: «Шу-ра. Му-ра». И рядом: «Ма-ма мы-ла ра-му». Я, по близорукости, сидела на первой парте, как раз напротив учительского стола. Наша учительница вызвала к столу Галю Ивикову и дала ей задание — прочитать эти слова. Галя стояла прямо передо мной, держа в руках раскрытый «Букварь», и тщательно пыталась произнести первый слог «шу». Она, бедная, вся побагровела от напряжения, лицо ее искажала судорога, и я не могла на это смотреть, так мне стало ее жалко, такое сочувствие к ней внезапно охватило меня. И я, опустив глаза, увидела вдруг у этой аккуратной девочки на чулке, на коленке, маленькую дырочку. Я до сих пор помню ту дырочку — таким всеохватным было мое напряжение, так я всеми силами хотела помочь бедной Гале произнести наконец этот не поддающийся ей слог

«шу». В тот самый момент, как я предполагаю, и произошло нечто, давшее свои плоды через пять лет. Это «нечто» было вспышкой эмпатии — абсолютным сопереживанием.

Эпизод второй — это уже третий класс. Я вдруг без всякого внешнего повода совершила совсем не характерный для меня поступок. Никогда больше ничего подобного я не делала, поскольку это противно моей натуре. Именно исключительность моего поведения выглядит очень странной, если не рассматривать этот эпизод как звено в цепи. Я как будто предчувствовала, что Галя Ивикова невольно станет причиной моего несчастья, и пыталась отгородиться от нее заранее, более того, хоть чем-то ей навредить. Я фактически оклеветала бедную безобидную девочку: будто она взяла у меня из пенала резинку и не захотела отдавать — и сделала из этого пустяка, вдобавок не имевшего места в действительности, целую историю. В результате разборки моя мама пожаловалась родителям Гали на поведение их дочери. В общем, мы с Галей в то время перестали общаться, она ничего не понимала и только издали смотрела на меня недоумённо и растерянно. О, как же мне было стыдно! Но я ничего не могла с собой поделать, я как будто хотела сделать ей больно даже таким абсурдным способом. Но, как я теперь понимаю, этот «обратный ход» уже не мог меня спасти от уготованной мне участи. Пусть неосознанно, но два года назад произошло «подключение», и запущенная программа только ждала подходящего момента, чтобы реализоваться.

Эпизод третий — это та уже описанная ситуация, которая возникла в конце пятого класса, когда я решила проверить, есть ли у меня талант, и объектом для подражания выбрала Галю Ивикову. Она к тому времени уже забыла эпизод двухгодичной давности, когда я возвела на нее напраслину, и мы снова стали общаться. Вот такой незапамятной была эта девочка, у которой я, судя по всему, взяла часть ее ноши. Так уж получилось.

Сюжет, оплодотворенный в момент эмпатии, когда мне было семь, и проявившийся через пять лет, как результат проверки таланта, набирая обороты, всё расширяясь, подобрал всю мою жизнь. И вот я все-таки сыграла в кино предложенную мне роль — не главную, но ключевую. Но смогу ли когда-нибудь выйти за пределы этого сотворенного мной сюжета — мне неизвестно.

Материнский инстинкт

Каким мощным бывает материнский инстинкт! В нем заложены и огромная энергетика, и всеохватная интуиция, и многое еще, что не поддается определению. Не однажды поражаюсь я силе этого инстинкта у моей матери, на которую, в

сущности, совсем не была похожа — ни по внешности, ни по характеру, ни по интересам. Мама моя была травмирована пережитой ею ленинградской блокадой, она никогда внешне не выражала свою любовь. И между тем меня поражала сила ее материнского инстинкта.

Вот две истории, в которых в полной мере проявилась ее материнская интуиция.

Первая история случилась, когда мне было тогда пятнадцать лет — и я, очень худая и сутуловатая полудевушка-полуподросток, как-то под вечер возвращалась домой. Помню, стояла теплая летняя погода, на улице было еще светло, люди шли по своим делам. Пройдя по улице Марата, я дошла до садика и свернула в первую подворотню нашего дома. И тут почувствовала, что кто-то идет следом. Обернулась и увидела парня. Хотя это мог быть просто прохожий, я почему-то сразу почувствовала тревогу. Мне предстояло пройти еще две подворотни — мы жили в самом дальнем дворе, в пристройке, на третьем этаже. Войдя во вторую подворотню, я убедилась, что парень идет в том же направлении. Конечно, это могло быть совпадением, но я уже почти не сомневалась, что он преследует меня. Расстояние между мной и ним было довольно большим, и я могла бы побежать и попытаться от него оторваться, тем более что в детстве и юности я быстро бегала и даже иногда побеждала в отрядных соревнованиях на спринтерские дистанции. Но я не побежала и даже не пошла более быстрым шагом. Потом, когда я стала старше и опытнее, я научилась в подобных ситуациях убыстрять шаг (но не бежать!), а тогда — нет, наоборот, всем своим видом показывала, что то ли не замечаю опасности, то ли игнорирую ее. Что-то мешало мне показать свой страх — некое чувство, которому я сама долго не могла дать определения.

Через много лет после этого случая я как-то беседовала с одной журналисткой, и разговор вдруг зашел о моем странном «не женском» поведении, когда я не могу себя заставить побежать, чтобы спастись от преследования, или закричать, когда опасность уже очевидна, — в общем, о моем притупленном инстинкте самосохранения. Моя собеседница неожиданно не стала, как другие, недоумевать по поводу этой моей «неадекватности», а сказала, что считает такое поведение совершенно нормальным, потому что женщины просто физически более слабые, но прежде всего они люди, разумные существа женского пола, созданные по образу и подобию Божьему, и у них есть, должно быть, такое же чувство собственного достоинства, как и у сильной половины человечества. Для меня ее слова были просто бальзамом на душу, ведь до этого разговора «ненормальность» моего защитного поведения оставалась для меня за-

гадкой. Оказывается, это безымянное смутное чувство, руководившее моими реакциями в подобных ситуациях, называется чувством собственного достоинства!

Так вот, в тот раз я размеренным шагом начала подниматься по лестнице, а парень вошел в парадную и побежал за мной. Он бежал вверх по ступенькам, а я «спокойно» шла, не убыстряя шага, хотя сердце сжималось в нехорошем предчувствии. Он догнал меня, когда до двери нашей квартиры оставался всего один пролет, толкнул в угол и сам встал почти вплотную. Было ему на вид лет семнадцать, и внешне он был вполне симпатичный, но вот взгляд... Я сразу поняла, что он не в себе: зрачки были расширены, его холодный и острый, как бритва, взгляд буквально пронизывал меня. От него не пахло алкоголем, а о наркотиках я тогда ничего не знала, но, вероятно, он был под воздействием галлюциногенов. «Что вам надо?» — прошептала я, и он ответил: «А ты не знаешь?» Вот из таких двух реплик состоял наш диалог. Мое сердце застучало, как набат, я всё сильнее сжимала в руке заранее вынутый из портфеля длинный ключ от нашей двери, собираясь воспользоваться им как холодным оружием. Но как это сделать, я представляла плохо, и наметила вражеский глаз как наиболее уязвимое место для удара. Я начала напряженно рассматривать свое «оружие», и парень тоже отвел свой бешеный взгляд от моего лица и направил его на ключ. В этот момент я обреченно поняла, что не успею нанести удар первой, что он отреагирует быстрее.

И тут у меня появился реальный шанс избежать опасного развития этой ситуации: по лестнице мимо нас спускались соседи с верхнего этажа. Что стоило мне если не закричать, то хотя бы просто обратиться к ним за помощью, попросить вмешаться... Но какая-то глупая стыдливость и застенчивость не позволили мне этого сделать. Я промолчала, соседи прошли мимо и вышли на улицу. Парень, который явно напрягся, ожидая, что я позову на помощь, оскалился и еще ближе придвинулся ко мне. Я подняла глаза на дверь нашей квартиры — она была так близко, и там, за этой дверью, было мое спасение. О, если бы мама была дома и случайно прямо сейчас открыла дверь! Все мои чувства были так напряжены в этот критический момент, так устремлены на вожденный дверной прямоугольник...

И тут наша дверь действительно открылась, мама вышла на лестничную площадку, увидела меня с парнем и позвала: «Илона!» И я, вздохнув с облегчением, оттолкнула парня, воскликнула: «Подонки!» — и гордо прошествовала наверх, в квартиру. Мама, увидев такую мою реакцию, начала кричать что-то угрожающее, так что парень сломя голову побежал вниз. Помню, я сразу же спросила у нее: «Как же ты почувствовала, что я рядом, что мне нужна твоя помощь?» — и мама ответила: «Мне показалось, что ты меня зовешь».

Вторая история произошла осенью 1976-го. Я рано утром пришла с суточного дежурства, меня знобило: сильный воспалительный процесс вызывал высокую температуру. Уже больше недели я была больна — у меня от одной таблетки антибиотика олететрина возник аллергический язвенный стоматит. Я простудилась, а больничный не хотела брать, только что устроившись на новую работу — в теплоцентр при Публичке. До этого я работала в Колтушах, в лаборатории поведения приматов, и отношения между сотрудниками там настолько шокировали меня, что я пребывала в постоянном стрессе. А тут еще обязали сдавать кандидатский минимум, и это подтолкнуло меня подать заявление об уходе по собственному желанию — очень уж всё это было противно: и работать в таком коллективе, и сдавать экзамен по диалектическому и историческому материализму. Надо сказать, у меня к тому времени уже не оставалось иллюзий относительно советской власти и тогдашнего нашего режима. И я, уйдя из академического института, надеялась, что на новой работе смогу в своем отдельном подвальном «кабинете» наконец-то заняться воледеланным писательским трудом.

Приняв по совету подруги эту злосчастную таблетку зеленого цвета, я тут же почувствовала неладное: дёсны окаменели, стало больно глотать... Поливитамины, которые я начала тут же глотать в большом количестве, не помогли. Через день я все-таки вынуждена была пойти в поликлинику, и там разные специалисты сначала долго не могли понять, что со мной происходит, но, в конце концов, поставили правильный диагноз. Амбулаторное лечение не дало положительного результата, и я получила направление в стационар. В тот самый день, о котором пойдет речь, я как раз должна была лечь в больницу, а до этого умудрялась как-то, по глупости, еще и ходить на свои суточные дежурства в Публичку.

Было утро, я лежала на постели, приходя в себя после бессонной ночи, а на столе стояла пишущая машинка с вложенной в каретку очередной страницей текста. Это была книга о судьбе Николая Вавилова, «антисоветчина», предназначенная для вышедшего в Париже сборника исторических материалов и документов. В то время я в качестве машинистки помогала своим друзьям, занимавшимся этим благородным делом — восстановлением исторической памяти в обществе, в котором эта память вытравлялась и искажалась уже в течение полувека. Мои домашние не заглядывали в подобные тексты, будучи уверенными, что это статьи или диссертации, перепечаткой которых я в то время подрабатывала.

Вдруг раздался звонок в дверь коммунальной квартиры на Владимирском проспекте, где мы тогда жили. Мама готовила что-то на кухне, в дальнем конце длинного коридора, соседней не было дома, поэтому я встала, надела халат и пошла откры-

вать. На пороге стоял молодой мужчина, лет около тридцати, в сером пальто. Он сказал: «Мне нужна Илона Миртова. Это вы?» Я кивнула. Хотя он не представился и не показал своего удостоверения, я сразу поняла, из какого он ведомства. Вот уже несколько дней представители «органов» опрашивали бывших учеников нашей любимой школьной учительницы, тех, кто приходил к ней домой, где можно было выпить чаю, получить «незаконную» литературу и поговорить о самом насущном. Случайно в лапы гэбистов попал перепечатанный для нашего кружка текст Нобелевской лекции Солженицына, и они, определив источник «заразы», решили потянуть за эту ниточку и вытащить на свет всю «подпольную организацию». А поскольку требование не разглашать и сам факт, и содержание этих расспросов игнорировался и мы, еще не опрошенные, были в курсе и ожидали своей очереди, в большом сером доме решили сделать марш-бросок и одновременно опросить оставшихся, в том числе меня, а также как следует допросить главу «организации» — нашу учительницу. Это я узнала только на следующий день, а тогда просто по взгляду, по выражению лица мгновенно вычислила место работы стоявшего в дверях человека. Ко всем ранее опрошенным приходили на службу — в отдел кадров, а к студентам — в деканат. Ко мне же прямо домой пожаловали, и причина такого исключения тут же прояснилась.

Человек из «органов» между тем сказал: «Я должен с вами поговорить», а я, поняв, кто стоит передо мной, мгновенно осознала, что не могу пустить его дальше порога — у меня из затылка как будто петля перекинулась в комнату, и в этой петле на столе стояла открытая машинка и лежал тот самый «антисоветский» текст. И я сделала вид, что мне еще хуже, чем было на самом деле, хотя действительно с язвами во рту и на губах говорить было больно. Изобразив полуобморочное состояние, я прошептала, что очень больна и ложусь сегодня в больницу. И это подействовало: поняв, что разговор сейчас не может состояться, человек в сером пальто сразу собрался уходить, пробормотав что-то вроде сожаления и обещания прийти в другой раз.

Мне так легко удалось не пустить его в комнату, удалось отказаться от разговора — он уже попрощался и собирался выйти за порог. Но как сложна и противоречива человеческая натура! Казалось бы, следовало только радоваться, что всё так обошлось, но нет — в тот же миг такая злость охватила меня, что я мысленно воскликнула: «Ах ты, гад, сейчас я выведу тебя на чистую воду!» И я остановила его, спросив: «А по какому вы вопросу?» Он пробормотал: «Потом, потом...», но я настойчиво повторила: «Нет, скажите, по какому вы приходили вопросу?» — и молодой человек из «органов», показав всю свою неопытность, поднял глаза к потолку, подумал и заявил: «Ну, я насчет работы. Вы ведь нигде не работаете?» Вот это да! Какое же

ведомство могло этим интересоваться?! Ведь статья «о тунеядстве» мне явно не грозила, у меня даже непрерывный стаж сохранился — я уже через неделю после увольнения работала на новом месте. И я с тайным торжеством ответила: «Нет, работаю!» Он искренне удивился: «А где?» — «В Публичной библиотеке». (О том, что это суточная работа в теплоцентре, я умолчала.) Мы будто поменялись ролями — уже я его допрашивала, выйдя из роли умирающего лебедя, но он, к счастью, этого не заметил.

Вот теперь он мог уходить — я так легко разоблачила его, вернее, он сам себя разоблачил, что мне даже досадно стало: вот ведь, не сочли нужным послать ко мне более опытного и умного сотрудника. Я уже собиралась закрыть за ним дверь, но в этот момент подошла мама, увидела меня с молодым человеком и доброжелательно обратилась к нему: «Может, вы запишете наш телефон и позвоните, когда Илона выйдет из больницы?» — и мой несостоявшийся дознаватель, сделав вид, что не знает моего телефона, стал старательно записывать цифры, которые ему продиктовала мама. И после этого, наконец-то, он вышел за дверь.

На следующий день меня в больнице навестила наша учительница и рассказала, что в то самое время, когда ко мне приходили домой, ее с урока вызвали в кабинет директора школы, и в приемной директриса произнесла дрожащим голосом, указывая на дверь своего кабинета и судорожно широко на каждом слове открывая рот: «К вам там люди из КА-ГЭ-БЭ». После «беседы» в кабинете допрос продолжился в Большом доме. Во время допроса вдруг раздался звонок — это посланный ко мне сотрудник докладывал о неудаче и о моем новом месте работы. И нашу учительницу спросили, сочтя, очевидно, эту информацию фактом государственной важности: «А ваша ученица Илона Миртова действительно работает в Публичной библиотеке?»

Вот такие люди охраняли безопасность нашего государства, вот за такие важные расследования получали они зарплату! В тот раз у них ничего не вышло — не нашли достаточного «компромата», из которого можно было бы состряпать «дело», так что пришлось им отпустить нашу учительницу. Когда она на другой день вернулась в свой класс, мальчишки-пятиклассники, которые наблюдали в окно, как учительницу увозили на допрос, наперебой стали спрашивать ее, нельзя ли им тоже покататься на такой большой и красивой черной машине. И она им пообещала, что обязательно их прокатит, если за ней еще раз приедет эта машина. Но черная машина, к счастью, за ней больше не приезжала.

И в заключение — снова о материнском инстинкте.

В то утро, закрыв дверь за гэбистом, я вернулась в комнату и опять легла, отвернувшись к стене. У меня началась реакция — озноб усилился, сердце заколотилось, лицо запылало. Я

вдруг почувствовала себя такой вымотанной этой ситуацией, и страх, что незваный гость мог все-таки пройти в комнату и увидеть машинку и текст, наконец-то настиг меня.

Мама между тем принесла мой завтрак, который состоял из сырых яиц и сливок (единственной пищи, которую я тогда могла употреблять из-за своего состояния), и позвала к столу. Но я, не оборачиваясь, пробормотала, что не хочу есть. Тогда мама села рядом с кроватью и дотронулась до моего плеча. Я еще больше напряглась, но не повернулась, чтобы она не увидела моего лица. А мама вдруг сказала: «Илона, ты только не сердись... Знаешь, мне вдруг показалось, что этот тип, который приходил... что это был шпик».

И это почти вышедшее из употребления словечко «шпик» стало последней каплей — нервы мои натянулись, как тетива, я повернулась, села на кровати и почти закричала: «Мама, да как тебе такая ерунда в голову пришла?! Это же надо, такое придумать!» Этим демонстративным возмущением я, наверное, выпустила из себя готовое взорвать меня напряжение, но, прежде всего, хотела убедить маму, что это ей показалось. А сама в очередной раз поразила ее материнской интуиции. Казалось бы, откуда можно было такое предположить? Она ведь только что вполне благосклонно, ничего не подозревая, диктовала гэбисту номер нашего телефона. А об опасности, которая грозила мне из-за моей «подпольной» деятельности и общения с «неблагонадежными» людьми, мама не знала. И вдруг такое прозрение — оттого, я полагаю, что ей передалось мое напряжение. И какое точное, по сути, это шипящее и колющее мерзкое словцо — «шпик»!

Вот такие две истории. Каждый раз, когда я вспоминаю это, волна любви и нежности к моей матери окатывает сердце... Да будет благословен во веки материнский инстинкт!

Лейпциг, октябрь 2010

Аркадий ИЛИН

/ Санкт-Петербург /



* * *

И всадник на скале,
и ангел над столпом
уже не на земле,
а в мире неземном.

А воздух свеж и чист,
и тихи вечера,
гуляет футурист,
гуляют юнкера.

То волны набегут,
то ветер налетит,
и Хармс-обзриут
оденется в гранит.

* * *

От времени вдали — то ночь или рассвет? —
в себе храним насыщенность пространства.
Стоят часы, стоят, их больше нет,
нет перемен, как нет и постоянства.

* * *

Даниил Иваныч Хармс
написать задумал фарс.
Зыбким сделалось пространство
от веселья и от пьянства.
Хармс воскликнул: «Ой, ля-ля,
из-под ног ушла земля!»
И, глаза свои прикрыв,
стал насвистывать мотив:
«Гра-ля-ля и тру-лю-лю,

я красавицу люблю
и, сгорая от любви,
прогуляюсь вдоль Невы.
После дружеской попойки
прогуляюсь я вдоль Мойки,
вдоль Обводного канала,
ощутив, что выпил мало,
и застыну после пьянки,
словно чижик, у Фонтанки».

* * *

Мой друг — кабинетный ученый,
не мыслящий жизни без книг.
Он римские знает законы
и греческий знает язык.

Мой друг — сочинитель историй,
он пишет ночами роман.
Он любит отчаянно спорить,
когда он отчаянно пьян.

Он рукопись носит в портфеле,
читает отрывки друзьям.
О, как ему хочется верить,
что рукопись нравится нам!

* * *

Мире и Науму Бланк

Тайландцы вдоль дороги
на корточках сидят,
у них другие боги,
у них другой шабат.

Выращивать клубнику,
детей чужих пасти
и вечером интригу
любовную плести.

В тени блаженной парка,
когда евреи спят,
когда на небе ярко
рога луны горят,

тайландец и тайландка
гуляют в час ночной,
от поцелуев сладко,
светло им под луной,

у них другие боги,
у них другой шабат,
гуляют вдоль дороги,
когда евреи спят.

Игра

Главное, играть, не задумываясь.
Если вошел в игру, не выходи.
А если вышел, не возвращайся.
Если вернулся, не играй.
Если не играть, разучишься выигрывать.
Если не выигрывать, то зачем играть?

Из Экклезиаста

Сто лет одиночества прошло.
Тысяча и одна ночь прошла.
Прошли три товарища и семь самураев.
Великолепная семерка
и три богатыря тоже прошли.
Все проходит, пройдет и это.

* * *

Парит над Витебском корова,
петух зарылся в облака,
и, юной Беллой очарован,
летит Шагал издалека.

Летит Шагал, летят букеты,
и свиток торы, и раввин,
обрывок витебской газеты
и небожитель херувим.

Парит петух, парит корова,
зарылась Белла в облака,
и, сам собою очарован,
летит Шагал издалека.

Иерусалим

1

Поднимемся в Ерусалим,
где обитает Бог и люди
о Воскресенья помнят чуде
и поклоняются святым.

Мечеть Омара над Стеной
Слез возвышается. В записках
среди камней мольба о близких,
мечты о жизни неземной.

Уйдя от праздной суеты,
евреи молятся, сутулясь.
Среди кривых и узких улиц
шумят торговые ряды.

Спешат паломники к святым
местам. Наверх ведет дорога,
где, глядя в небо, видят Бога
и разговаривают с Ним.

2

Араб с дымящимся кальяном
сидит задумчиво в тени,
другой — склонился над Кораном,
найдя оазис тишины.

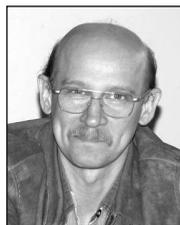
Проходят стройные индусы,
монахи коптские спешат,
а на прилавках кольца, бусы,
иконки, масло для лампад.

Толпа туристов к храму Гроба
Господня медленно идет
Дорогой Скорби, слышен шепот,
застыли люди у ворот.

Дым сигарет, дымок лампы,
проходит Пасхи третий день.
Вблизи ворот сидят солдаты,
найдя спасительную тень.

Владимир ШПАКОВ

/ Санкт-Петербург /



Царская охота

Рассказ

1

Мобильные отключают, не стовариваясь. Какие могут быть звонки, если не виделись семь лет?!

— Пять, по-моему... — неуверенно говорит Паскевич, но Букин машет руками, мол, у тебя Альцгеймер! Перед последней встречей ты третьего родил, так? А сколько сейчас ему?

— Ей. Третья у меня — дочка.

— Какая разница?! Я спрашиваю: лет ей сколько?

— В школу должна пойти...

— Вот! Семь лет, и к бабке не ходи! Но, поскольку мы все же встретились, выпьем за это!

Букин наливает щедро, не видя краев, так что вокруг рюмок образуются водочные лужицы. Первый тост: за встречу! Это же замечательное дело, старые друзья должны встречаться! Должны, кивает Паскевич и накатывает рюмку. Когда голова запрокидывается, он видит потолочный вентилятор, с трудом разгоняющий знойный летний воздух. Не стоило бы в жару потреблять водку, но робкое высказывание в пользу пива тут же пресекается: ты очумел! Если б мы с тобой каждый день встречались (типа работали по соседству), то пивка дернуть — самое то. Но тут ведь семь лет, такие встречи на Эльбе обмывают только водкой!

Еще пара тостов за встречу, а там и графин заканчивается. Букин вскидывает руку, и к ним направляется официантка, чтобы получить заказ еще на триста грамм. А-а, ладно, говорит Букин, давайте уж сразу полкило! И, упреждая возможные возражения, достает бумажник, дескать, я плачу! Официантка поворачивается спиной, Паскевич видит на блузке влажное пятно,

что означает: не он один страдает от жары. Почему в кафе нет кондиционеров?! Лопасты вентилятора с шумом перемальвают воздух, увы, нисколько его не охлаждая.

— Не пора еще в зоопарк? — вопрошает Паскевич после очередного тоста.

— Нет, рано. Я с запасом встречу назначил, чтоб посидеть можно было. Ну, как прежде.

— Как прежде — трудно. Печень уже шалит, да и концерт хочется послушать в нормальном состоянии...

— До концерта мы сто раз протрезвеем! А не протрезвеем, пусть Бен не обижается. Сам хорош: столько времени пропал где-то, гитарист хренов, и даже на выступление не пригласил! Да если б я вчера эту газету в супермаркете не взял — так и не узнали бы ничего!

Повод для встречи подкинула газета «Мой район», сообщавшая, мол, в концертном зале петербургского зоопарка пройдет рок-концерт Бена Завадского.

— Концерт Бена, прикинь! — орал в трубку Букин, — Этого гада, который уже столько лет о себе знать не дает! Мы думали, он вообще умер или сторчался на наркоте, а он — выступает! В общем, до кого мог, дозвонился, обещали вроде придти. А с тобой можем пересечься пораньше, ну, выпьем, побазарим... Короче, получай вводные.

А почему, спросил Паскевич, в зоопарке? Потому, объяснили, что каждый нынче зарабатывает, как может. В том числе и зоопарк, где в административном корпусе давно уже оборудован концертный зальчик, в котором выступают барды и рокеры.

— Тигров надо кормить, понял? Вот начальство и нашло выход из положения. В итоге и тигры довольны, и музыканты, потому что доход делят фифти-фифти.

— Ты-то откуда знаешь?

— А я был там пару лет назад, слушал хэви-металл. Хотя, если про Бена говорить, это может быть просто прикол. Он же всегда прикалываться любил, а выступать среди тигров и медведей — это тебе не «Юбилейный» на уши ставить!

С дивана за телефонной беседой зорко наблюдала Раиса, телепатически вопрошая: куда намылился, родное сердце? Ты разве забыл, что старший готовится к экзаменам, и ему нужна помощь отца? А среднего надо возить за город, на соревнования по плаванию? Да и младшую доченьку требуется выводить на прогулки, в школе-то будет не до свежего воздуха, а мы договорились, что гуляем с ней по очереди. Предвидя этот набор аргументов, Паскевич не стал лезть на рожон, мол, завтра иду на встречу с друзьями, и баста! Он просто решил: иду, а там видно будет. Накатило вдруг, вспомнилось, и так захотелось в старую компанию...

Компания сложилась в студенческой общаге на Каменно-стровском проспекте. Эпоха была рок-н-ролльная, и в лидеры компании закономерно выдвинулась персона с гитарой и с патлами. У Паскевича давно уже наметилась плешь (грозившая перейти в лысину), но Бена иначе, чем с гривой черных волос, он не представлял. И с другим именем не представлял, хотя на самом деле это было прозвище, полученное за высоченный рост. То есть, вначале он был «Биг Беном», потом первая половина отпала, зато вторая прилипла к гитаристу крепче подлинного имени. Начинать он с репетиций в красном уголке и полулегальных «квартирников». Но в воздухе уже пахло свободами, за окнами гудела и гремела эпоха перемен, и постепенно его концерты переместились из занюханных коммуналок на подмостки ДК и в рок-клуб на Рубинштейна. После чего друзья гитариста почувствовали свою исключительность. Кроме Бена, в их комнате жили Паскевич, Букин и Пупс; к ним примыкали Дед, прозванный так из-за шкиперской бороды, а еще Салазкин и Конышев, учившиеся курсом ниже. И на каждого падал ответ славы (а это была небольшая, но слава) Бена, каждый ощущал себя посвященным. Получив дипломы, они продолжали встречаться; и ответ по-прежнему грел компанию, пока Бен не исчез. Одни говорили, что он перебрался в Москву, другие — что свалил за бугор. Но вот, друг концертирует, значит, цена этим слухам — копейка в базарный день.

После очередной рюмки в памяти всплывает сцена, как отмечали день рождения Бена. Накануне долго думали, чего бы подарить другу, и, наконец, додумались. Стена над кроватью Бена была закрыта китайской соломкой, что поднимается на веревочке, и в самый пиковый момент — раз! И на стене — Джон Леннон! Фишка была в том, что портрет вначале наклеили на стену, после чего трижды покрыли эпоксидной смолой.

— Это что ж такое? — спросил Бен, проводя рукой по блестящему покрытию.

— Это — как в Мавзолее! — гордо проговорил Букин, — То есть, Джон мумифицирован навечно! А что? Чем, скажите, Леннон — хуже Ленина?! Комендант потребовал убрать портрет, но соскоблить было невозможно (нож скользил), так что начальство, в конце концов, плюнуло на это «безобразие», и Леннон остался на стене forever.

Прерывает воспоминания Букин.

— Ё-моё, семь лет! — качает он головой, — А ведь когда-то каждый год встречались, и какие встречи были! Помнишь, как на охоту собирались? На пятую годовщину выпуска?

— Помню, конечно. Пупс обещал вывезти всех на Свирь, у него там, говорил, егеря знакомые.

— Точно. Серьезного зверя валить собирались, например, лося. Или кабана, или медведя даже... Прикинь: лес непролазный, и ты выходишь на медведя...

— Мы выходим на медведя. — Уточняет Паскевич.

— Ну, пусть мы. Обложили со всех сторон зверюгу матерого; он, конечно, рычит, встает на задние лапы, чтобы на тебя броситься, а ты — бах! А потом из другого ствола — ба-бах!

— Ружье, значит, двуствольное?

— А как же! Только не наша паршивая двустволка, а настоящая немецкая — «Зауэр». С вертикальным расположением стволов. Сам я из нее не стрелял, вообще-то, но Пупс говорил, что именно так они расположены. А Пупс в этом деле — дока!

— Класс... Ну, и что дальше с медведем?

— А капец ему. Ну, представь, если в тебя два пули всадить! Потом мы рядом с ним фотографируемся, а дальше шкуру снимаем.

Они молчат, воображая лес, замершего медведя и настоящих мужиков, победивших зверя в честной борьбе.

— Жаль, — разводит руками Паскевич, — что не состоялась охота...

— Ничего, — отзывается Букин, — зато концерт обязательно состоится. Бен будет играть, как бог, я тебе обещаю! Выпьем за это!

Неожиданно настроение портится — это Паскевич вспоминает о работе. Казалось бы: работа как работа, нужная и горожанам, и гостям города, желающим справиться нужду. Но очень уж не сочетается ремонт мобильных туалетов, коим занимается его отдел, с прожекторами рок-сцены. И с мужественными ребятами, что поставили ноги на тушу медведя, не сочетается — да это вообще курам на смех! Зачем он вообще туда устроился? А потому что семья, а семье нужны деньги, черт бы их побрал! Хотя в свое время был подающим надежды аспирантом, на конференциях выступал, полдесятка патентов на изобретения получил! Представив кабинку мобильного ватерклозета, Паскевич вздыхает: увы, совсем не сочетается...

«Ничего, — сказала бы Раиса, — Главное, деньги платят. Да и организация звучит солидно: «Биоэкология». А он сказал бы, что солидность эта — дутая, его работа, как ни крути, воняет, так что стыдно даже знакомым о ней рассказать. И вообще, сказал бы он, ты дура, ни черта не смыслящая в рок-музыке. А уж в охоте тем более, и слово «Зауэр» для тебя — звук пустой. А она бы... Нашла бы, в общем, что сказать, эти разговоры случались у них раз в полгода, когда Паскевич, поддав, ставил точки над i. То есть, проговаривал последние истины о жене, работе, мироздании, чтобы на следующий день опять отправиться в свою «Биоэкологию».

— А помнишь, — пытается он улучшить настроение, — как соседи на нас в деканат стучали? Мол, нам музыка из двадцать первой комнаты спать не дает! А однажды вообще ментов вызвали, и те нас в отделение забрали...

— Помню, конечно! — отзывается Букин, — Бен им еще песни пел, сидя в камере!

— Точно! А когда нас выпускали, он автограф лейтенанту оставил, как настоящая звезда!

— Эх, блин, какая была жизнь! А сейчас не жизнь, а...

Не в силах найти дефиницию, Букин машет рукой. Точно так же он махал на прошлой неделе, когда явились налоговики, принявшись копаться в отчетности, как свиньи в навозе. Какая же зараза из его фирмы стучит в налоговую инспекцию?! Бухгалтерша? Вряд ли, это не в ее интересах. Заместитель? Так они вроде приятели... В принципе, он мог бы каждого вызвать в кабинет и учинить допрос с пристрастием, благо, на фирме работало всего полтора десятка человек. Беда в том, что кабинет у него два на два, вызовешь — и будешь нюхать перегар, так ничего и не добившись в итоге. Да и фирма — одно название, продажа счетчиков для газа, причем китайских. Когда-то их с руками отрывали (народ взялся экономить на ерунде), но в последнее время спрос упал, и персонал начал проявлять недовольства, вплоть до «стука» в нужные инстанции. А инстанциям разве объяснишь, что фирма загибается? Ты кто — предприниматель? Значит, плати в казну! Букин с содроганием вспоминает, как отключивал купюры главному налоговому, зазвав того в кабинет. А потом достал из сейфа початую бутылку Hennessy и угостил его коньячком.

Когда инспекция отвалила, он добил бутылку в одиночку, что нередко делал в последнее время. А что? Дома его не ждут, он еще пять лет назад развелся, а здесь — выпил, вставил в компьютер любимый хэви-металл, и унижение побоку. Рюмочка, лимончик, и мысли улетают то в прошлое, то в будущее, и так кайфово на душе...

— Ты чего сигналишь? — спрашивает Паскевич, — У нас вроде еще есть в графине...

— Пусть будет про запас. — отзывается Букин, — Это ж карман не тянет, и вообще — какое твое дело? Я плачу! — он еще раз поднимает руку, — Девушка! К нам подойдите, плиз!

— Мы первые ее звали! — кричат из-за углового столика, — Пусть к нам сначала подойдет!

— Чего-о? — вытягивает физиономию Букин, — К вам сейчас подойдут, ага! Двое с носилками, один — с топором!

— Да ты чего, козел?! Ты на кого...

Еще больше вспотев от волнения, официантка при поддержке Паскевича утихомиривает скандал, что Букина явно огорчает. И он дважды (причем в быстром темпе) набулькивает в

рюмки. А Паскевич вспоминает, как их компанию однажды занесло на Васильевский, в пивной бар, где сидела местная урла. Слово за слово, тычок, другой, и вот уже на них надвигается человек двадцать, не меньше. И хоть они встали спина к спине, взяв в руки пивные кружки (все ж таки оружие), все равно были б битыми — если бы не Пупс. Откуда-то у него появился охотничий нож, и он с диким криком вскочил на стол.

— Конечно, помню! — кивает Букин, когда эпизод озвучивается, — Как он там орал? «Всех покротсаю на шашлык!» И ведь покротсал бы, даже не на шашлык — на бешбармак!

— Еще бы, он же сибиряк, охотился в тайге...

— А я о чем?! Сколько раз на охоту нас зазывал, и ружья обещал всем предоставить... Ведь обещал, верно? Только мы, чайники безмозглые, никак собраться не можем! Вот представь: сидишь с двустволкой...

— С двустволкой «Зауэр». — Уточняет Паскевич.

— Ну, пусть так. Сидишь на дереве, и тут на поляну выходит лось. Настоящий такой лосяра, с рогами, которые на полтора метра расходятся...

— Неужели на полтора?!

— А ты думал?!

— Класс!

— Ну, и вот он, значит, стоит, красавец, воздух нюхает. Но ты же не дурак, сидишь против ветра, так что он тебя не чувствует. И вот ты прицеливаешься и под лопатку ему из первого ствола — бах! Лось на передние колени припадает, и ты опять — ба-бах! Готов!

Паскевич восхищенно крутит головой:

— Да, царская была бы охота!

— А я о чем? — Букин опять набулькивает, — Ладно, будет и на нашей улице праздник! Ну, поехали!

Паскевичу то ли кажется, то ли и впрямь вентилятор начинает вращаться быстрее. Теперь лопасти напоминают винт вертолета, способного унести в иные края начальника отдела по ремонту мобильных туалетных кабин, выставленных нынче у каждой станции метро. Туда, где ты не просто добытчик, приносящий в дом купюры (Раиса их всегда тщательно пересчитывает и раскладывает по стопочкам), а настоящий мужик, так сказать, бог, царь и герой, способный и медведя завалить, и лося, если понадобится.

Неожиданно лопасти начинают вращаться в обратную сторону, то есть, Паскевич возвращается домой. Причем с трофеем, а именно: с рогами, что в размахе полтора метра. В глазах старшего сына заметно уважение (коего давно не замечалось), средний тоже гордится героическим папашей, а дочка просто визжит от радости. Даже Раиса меняет вечно недовольное выражение лица на благосклонное, берет в руки трофей и пытается приве-

силь его в прихожей, напротив входной двери. «Не помещается! — говорит она с досадой, — У нас ведь ширина прихожей — всего метр двадцать, а здесь явно больше!»

— Эй, очнись! Какие еще «метр двадцать?»

— А я сказал: метр двадцать?!

— Ага.

— Извини, это я о своем... Наливай, что ли, да пойдем из этих значных мест.

Букин с готовностью исполняет просьбу.

— Но на улице — продолжим! Я знаешь, с каким запасом встречу назначил? Ужас! Мы с тобой еще часа два можем смело отдыхать!

Запас времени у предпринимателя образовался за счет убегая из офиса, где назревал бунт. Сегодня утром газовые счетчики, лежавшие штабелем в коридоре, переместились под дверь его кабинета. Надо же, уроды! Он им когда-то дал работу, взяв их с улицы, а они заявляют протест, борются, пони-маешь ли, с капиталистом!

— Тебя не тошнит? — спрашивает он, когда выгребают на улицу. Паскевич с тревогой прислушивается к происходящему в желудке.

— Пока вроде нет... Да мы еще не так много выпили!

— Я о другом. — говорит Букин. — От жизни не тошнит?

— От жизни? От нее — конечно! Иногда очень даже тошнит!

— Вот и меня тошнит. Такая тошниловка, будто я опять сдохшего слона разделяю. Помнишь, как мы в этом самом зоопарке зарабатывали на новую ударную установку Бену?

— Я не зарабатывал. У меня тогда, как ты помнишь...

— Первая родилась?

— Первый. Старший у меня — сын.

— Ну да, а мы взялись за эту халтуру, еще не зная, чем она грозит. Прикинь: слон издох, а тушу разделять некому! Нету желающих! Нам же деньги нужны были позарез, точнее, они Бену были нужны. Ну, что это за группа, где ударные, того и гляди, развалятся? Короче, подрядились за неплохие бабки разделить эту тушу, которая уже подванивать начала. И так меня заворотило... Что характерно: Пупсу было хоть бы хны, он даже респиратор не надевал!

— Ну, конечно, он же привык в своей тайге лосей и медведей разделять...

— А мы с Беном, хоть и в респираторах, а все равно блевали. И Салазкин блевал, и Конышев, и Дед... Нет, Дед не блевал, потому что писал тогда диплом. Или не писал? Но тогда, выходит, блевал... Короче, без пузыря не разберешься, идем в магазин!

Идею посетить общагу подает Паскевич. Точнее, он вспоминает, что старое здание на Каменоостровском проспекте ставят на капитальный ремонт, кажется, уже расселяют, и Букин хватается за голову. Мол, это ж такое место, это ж молодость наша, это ж... Короче, надо сходить туда напоследок. Навестить, так сказать, на посошок, чтобы ребятам было о чем рассказать.

И вот они уже на проспекте, озирают массивный дом с эркерами, балконами и венчающим крышу «шлемом» из оцинкованного железа. Окно их комнаты расположено слева под «шлемом», то есть, так считает Букин. Паскевич же утверждает, что справа. Они спорят, тыча пальцами в окна — все без исключения темные. В окнах соседних домах горит свет (дело идет к вечеру), в общаге же царит мрак кромешный, значит, и впрямь капремонт. Значит, полный капец прежней жизни, той феерической *dolce vita*, каковая только и может считаться жизнью — в отличие от нынешнего бездарного существования. А тогда надо выпить, причем по полному!

Сказано — сделано, и вот уже пьяная слеза катится по щеке Букина. Помнишь, как я на спор перелезал из нашего окна — в соседнее? На высоте шестого этажа, между прочим, по бордюру в семь сантиметров! Хотел Надьку Березину поразить, она как раз в той комнате жила... Ага, поразил так, что она чуть заикой не сделала! Ничего подобного: она вторюлась по уши, замуж за меня хотела! А ты? А я — дурак, женился на такой выдре, что до сих пор, как о ней подумаю, трясет!

А помнишь, говорит Паскевич, как я учебник по научному коммунизму на самолетике пустил? И как всю ночь перед экзаменом кидал их из окна? А как же! Это ж, можно сказать, диссидентская акция была, наш ответ совку! Весь проспект был усеян самолетиками, хорошо, время перемен наступило, никто особо не разбирался — откуда были выдраны листки. Они еще раз выпивают, теперь уже за смелость Паскевича. Из окна в окно, конечно, он не лазил, но мог запросто вылететь из института.

Внезапно входная дверь открывается, и в проеме мелькает свет. Неужели в доме есть кто-то живой?! Неужели не все крысы сбежали с этого корабля?! Оказалось, не все, одна седовласая «крыса» осталась, чтобы сидеть на вахте и никого не пускать.

— Как это — не пускать?! — возмущаются приятели, — Да знаете ли вы, кто перед вами стоит? Мы ж в этом доме... Мы тут полжизни, можно сказать, прожили!

— Да хоть всю жизнь. Дом идет на ремонт, коммуникации отключены, так что до свиданья!

Паскевич с Букиным переглядываются.

— А чего мы у нее разрешения спрашиваем? — говорит Букин, — Кто она такая?! Пойдем, посетим родные пенаты...

Седовласая поднимает трубку телефона.

— В таком случае я вызываю милицию.

— Вызывайте хоть ОМОН, а мы — к себе домой пришли!

Настроенная решительно, вахтерша накручивает диск.

— Вообще-то, — вворачивает Паскевич, — у нас в милиции свой человек работает. Фамилия его Коньшев, он старший, между прочим, лейтенант. Так что ничего они нам не сделают!

— Ну, если не сделают, то чего вам бояться? Алё! Это отделение? Пожалуйста, вышлите наряд на Каменоостровский...

Приходится ретироваться, смывая позор очередным стаканом. Нет, какая сволочь, а?! В наше время вахтерши были добрее, верно? Ну, в наше время вообще все было по-другому! Совок, конечно, но какой-то душевный... Проглотив водку, Букин толкает приятеля в бок.

— А чего ты там гнал про Коньшева? Какой еще, блин, старший лейтенант?

— Да это я так... — смущается Паскевич, — На понт ее брал...

— На понт — это понятно.

Букин затягивается сигаретой, после чего задумчиво произносит:

— Слушай, а почему никто из нас по специальности не работает? У нас же уникальная, блин, специальность — корабельные гироскопы! Не просто гироскопы, а — корабельные! Которые на подводных лодках крутятся! На авианосцах!

— У нас на флоте нет авианосцев, есть авианесущие крейсера.

— Ну, значит, на крейсерах этих... Я уже и забыл, где именно они крутятся, одни газовые счетчики в башке.

— И у меня в башке такое... Лучше не говорить.

— Вот именно! Лучше не говорить, а... Выпить!

У Паскевича это последний всплеск трезвости, который не хочется поддерживать. Наоборот, ему хочется забыть встречу годичной давности, когда Коньшев, одетый в лейтенантскую форму, подвозил его на сине-белой машине с надписью по борту «РУВД Фрунзенского района». А потом угощал в своем кабинете водкой, охотно рассказывая про бывших однокашников.

— Откуда ты про всех знаешь?! — поражался Паскевич, а Коньшев многозначительно усмехался, мол, ты плохо представляешь наши возможности. У меня такие каналы информации, о которых ты и не догадываешься. А если еще свой интерес имеешь? Все ж таки старые друзья, хочется о них побольше знать...

По его словам выходило, что Дед, которого считали самым умным на курсе, нынче продавал леденцы. Те самые простенькие леденцы из нашего детства, они в провинции по-прежнему спросом пользуются (не у всех хватает денег на «Чупа-чупс»). А Салазкин? А этот — носильщик на Московском вокзале, я его называю

«Тележкиным», потому что он, понятное дело, всегда с телегой. Никогда его не встречал? Ну, конечно, он отворачивается, если знакомого увидит, типа — стыдно ему. Но если ты придишь как-нибудь утречком, когда прибывают поезда из Адлера и Симферополя, то обязательно его заметишь на платформе. А этот? А этот, наоборот, ни от кого не скрывается, потому что охранником в финское консульство устроился. Теперь стоит на входе, и морда прямо сияет от счастья! А тот? А тот вообще копыта отбросил. Он-то как раз по специальности пошел, корабли строил. Когда заморозили проект, на который несколько лет было потрачено, он запил, ну, а дальше...

— Букина, кстати, встретишь, передай: пусть с налогами перестанет шустрить. Налоги — не наша епархия, конечно, но я ему по дружбе советую выйти из тени. Скоро всех таких деяка будут строить по стойке «Смирно!».

— Букина я давно не видел. Пупса встречал года три назад. Помнишь, как он на охоту нас все время зазывал? Мол, давайте соберемся, я всем ружья достану, и такую царскую охоту устроим...

Коньшев нехорошо усмехнулся.

— А вот этот деятель нынче — по другую сторону баррикад. Надо же, охотник! Сказал бы я тебе, какой они тут «охотой» занимаются...

— Какой еще охотой? Что-то я не въезжаю...

— В бандиты он подался. Тут и разряд по боксу пригодился, и то, что в оружии разбирается... Только их скоро тоже всех прижмут. Так прижмут, что пикнуть не смогут!

После стакана звезды на погонах старшего лейтенанта меркнут, Коньшев с его «досье» исчезает в сумеречном воздухе, и накатывает странная легкость. Та легкость, что позволяла бесстрашно скакать по бордюрам на верхотуре, и сейчас, без сомнения, она тоже выручит.

Паскевича вдруг озаряет:

— Слушай, так здесь же черный ход имеется!

— Точно! — просветляется следом Букин.

Расположенная во внутреннем дворе-колодце, дверь оказывается запертой. Что нисколько не умаляет пыл. Здесь же, у помойки, находится стальная труба, которую подсовывают под дверь и начинают рьяно работать этим рычагом. С пятого раза дверь чуть сдвигается вверх, с десятого вообще слетает с петель. The best! Они звучно схлопывают ладони и, хлебнув по очереди из горлышка, устремляются внутрь.

Света нет, то есть, коммуникации и впрямь отключены, так что приходится подниматься наверх при свете зажигалок. На стенах пляшут неверные тени, слышны какие-то шорохи (или кажется, что слышны), но двое отважных продолжают путь. Куда

делся предприниматель? Где работник ассенизационной компании? Их нету, они умерли, по темной лестнице пробираются романтики, искатели приключений, сорвиголовы, которым по фигу любые запреты.

— А помнишь, — шепчет Паскевич, — как после моих самолетиков мы на Каменный остров рванули? И всю белую ночь по заброшенным домам лазали?

— Помню, а как же! — так же шепотом отвечает Букин, — Вот где было жутко... А почему мы, кстати, шепчемся?

— А хрен его знает.

— Мы, блин, у себя дома! Мы право имеем!

Громкая тирада разносится по лестнице, отдаваясь эхом в гулкой пустоте. Взойдя на шестой этаж, они движутся по темному коридору. Под ногами хрустит строительный мусор, двери комнат — нараспашку, то есть, и впрямь капец прежней жизни. Где же их родная комната со счастливым номером «21»? Слабенький свет зажигалок выхватывает из темноты цифры на дверях, и, наконец, вот она! Зажигалки уже выдохлись, но, по счастью, сюда добывает свет галогенных фонарей с проспекта.

Поначалу они ничего не узнают: мебель передвинута, посредине комнаты груды хлама, а вдоль стен — ряд панцирных сеток, поставленных на попа. Осторожно сдвинув сетки, они обнаруживают на одной из стен портрет, после чего опять сталкиваются ладони. Такое, мол, не исчезает! Леннон жил, Леннон жив, Леннон будет жить!

Экс-битл смотрит на них загадочно, поблескивая эпоксидным глазом, и они опускаются на груды мусора. Слова не нужны, ни тихие, ни громкие, хотя они и имеют, конечно, право орать в этих стенах и вообще ходить на голове. Это святое, они видят перед собой не фотографию — икону, альфу и омегу, центр Галактики под названием: НАША ЖИЗНЬ. А в таких случаях хочется говорить о главном, о том, что составляет суть и смысл этой самой «нашей».

— У нас там еще осталось? — кашлянув, произносит Букин.

— Конечно, — с готовностью отзывается Паскевич (ничего главного на ум не приходит, и он с облегчением отвинчивает пробку). А после доброго глотка говорит:

— Странно. Нельзя ведь сказать, что мы не вписались в нынешнюю жизнь, верно?

— Нельзя, — крутит головой Букин. — Мы вписались.

— Все наши как-то устроились, но... Тоска иногда накатывает. Иногда как накатит, ну хоть, блин, вешайся!

— Здесь ты прав. Но сегодня мы разгоним тоску. Ты, надеюсь, помнишь про зоопарк?

— Помню. Нам еще, кстати, не пора?

— Через полчаса пойдем. Заберем этот портрет — и пойдем. Паскевич хмыкает.

— Как его заберешь?! Не помнишь, что ли, как наш комендант ножом его отскоблить пытался? Дудки, ничего не вышло!

— А у нас выйдет. Мы его вместе со штукатуркой из стены выбьем! А потом подарим Бену! Прикинь: мы приходим с этим портретом, и все наши в осадок выпадают!

Паскевич выставляет большой палец.

— Классная идея!

Но, когда он пытается встать, ноги не слушаются. И Букина не слушаются, что означает: не надо было присаживаться (не надо было пить?). Они ползают по хламу, выискивая подходящее орудие, находят какие-то ножницы и, с трудом поднявшись, начинают обкалывать изображение по кругу. Штукатурка крошится, шум стоит неимоверный, но дело есть дело. Тут ведь и впрямь фуруром пахнет, то есть, респект и уважуха им обеспечены.

И вот портрет отделяется от стены: обсыпавшись по краям, он все-таки сохранил целостность (спасибо смоле). Комната как-то сразу теряет привлекательность без главной своей святыни. Гуд бай, прежняя жизнь! Мы перенесем святыню в другое место, и она продолжит жить, счастливо избежав позорной судьбы: быть замурованной в ходе евроремонта!

Но что там за шум? Почему голоса за окном? Открыв створку, Паскевич перегибается через широкий подоконник и видит внизу сине-белый автомобиль с мигалкой. Рядом перемещаются несколько темных кругляков (так выглядят сверху милицейские фуражки) и седоволосая голова. Обладательница головы тычет рукой вверх, дескать, призовите к порядку это хулиганье! Накажите за взлом помещения по всей строгости закона!

— Эй! За нами, кажется, приехали...

Букин тоже с любопытством пялится вниз.

— Ну да, двое с носиками, один с топором... Фиг они нас поймают, спорим?

— А чего тут спорить? Конечно, фиг!

Что удивительно: страха нет, зато есть задор, ощущение настоящего приключения, о котором они тоже сегодня расскажут. Еще бы! Остальные притащатся со скучных работ, служб и офисов, они же, пройдя огонь и воду, принесут потрет Леннона, что можно приравнять (или почти приравнять) к царской охоте.

Фуражки перемещаются к парадному входу, а наши охотники — к спасительному черному. Там, однако, тоже слышны голоса, и внизу мелькает фонарь.

— Что будем делать? — шепотом (теперь это оправданно) вопрошает Паскевич.

— Можно отсидеться в учебной комнате, что под самой крышей. Вряд ли они туда поднимутся, хотя...

— В этом случае с концертом пролетаем?

— Сто пудов. Поэтому рвем когти к старому лифту. Помнишь, где он находится?

— Спрашиваешь! В конце коридора, и там только шахта, а кабины никогда не было.

— Правильно; и мы по этой шахте сейчас — тью-тью!

Пьяно хихикая и стараясь не хрустеть мусором, они движутся в коридорный тупик. Двери лифта намертво заклинены, зато сбоку есть дыра, достаточная, чтобы пролезть. Приложившись по очереди, они добивают бутылку, аккуратно ставят тару у лифта и лезут внутрь.

Сетчатая конструкция позволяет худо-бедно перемещаться по шахте. Первым сползает Паскевич; будучи налегке, он то и дело вопрошает: как, мол, ты? Груз не мешает? Не мешает, бодрится Букин, хотя, конечно, сползать с тяжеленным шматом штукатурки — еще то удовольствие.

— Подожди... — бормочет Паскевич, — Я тебе щас буду ботинки в сетку вставлять.

— Как это? — не понимает Букин.

— Ну, ты ж не видишь, куда ногу ставишь, так? А я снизу — вижу! Короче, давай ногу... Оп-паньки! Вставил! Теперь другую ногу давай!

Вот и пятый этаж, потом четвертый, однако до низа еще целая пропасть, это же старый дом с высоченными, под четыре метра, потолками. Они сползают еще ниже, когда ступня Букина вдруг срывается (плохо вставил, наверное). Ломая ногти, он судорожно цепляется свободной рукой за сетку, только сил не хватает, и, сметая приятеля, Букин летит вниз...

3

В себя они приходят, когда оседает пыль. Надо же, сколько ее накопилось внизу! Отплевываясь и отряхиваясь, они озирают место, куда грохнулись вдвоем, и Паскевич очумело качает головой.

— Надо ж, блин, повезло! Можно ведь запросто переломаться об эти надолбы!

Оказывается, они угодили аккурат между мощными бетонными столбами, на которые опускалась некогда кабина. А грохнулись они чуть левее или правее? Капец, опять же, только не прежней жизни, а — нынешней. Но они, видно, в рубашке родились, потому что а) ни царапины не получили, б) сохранили портрет! Букин как-то исхитрился прижать его к телу, в итоге Леннон ну просто как новенький!

Сетка внизу настолько хлипкая, что отваливается после одного тычка. Оказавшись во внутреннем дворе, они выходят через арку на проспект. У парадного входа мигает синим «воронка», и они, не стовариваясь, направляются к нему. Как отказать себе в удовольствии продефилировать мимо безмозг-

лых ментов? С гордым и независимым видом они маршируют по проспекту, не привлекая при этом внимания, будто сделались невидимками.

— Ну? — вопрошает Букин, — Теперь на концерт? Кажется, мы уже опаздываем...

Зоопарк, несмотря на позднее время, сияет огнями, не иначе, в честь эпохального концерта. На входе Букин предъявляет кусок штукатурки с портретом, типа — вот наш приглашительный. И служитель в форменном кителе и фуражке берет под козырек.

— Понял, да? Наверняка Бен предупредил здешних устроителей, чтоб друзей пропускали без билетов! Глянь-ка, тигры!

Огромные полосатые кошки расхаживают в золоченых клетках, грозно рыкая, и откуда-то издали им отвечают таким же рычанием, надо полагать, львы и леопарды. В соседней клетке встает на дыбы медведь, с виду — натуральный гризли, а еще дальше виднеются разлапистые лосиные рога.

— Вот бы где поохотится... — восхищенно проговаривает Паскевич, но Букин пожимает плечами: здесь не положено, сам понимаешь.

— Ого! — восклицает он, — Да тут прямо второй «Юбилейный» отгрохали! В прошлый раз, скажу тебе, зальчик скромнее был, совсем, то есть, крошечный!

Зал и впрямь шикарный, с остеклением снизу доверху и с прожекторами, освещающими площадку, заполненную многочисленной публикой.

— Тут вообще все изменилось, — крутит головой Букин, — причем в лучшую сторону!

— Хочешь сказать, что уже не тошнит? Ну, от *такой* жизни? Букин прислушивается к себе.

— Знаешь, нет. Не тошнит! Совсем не тошнит!

Первым встречают Салазкина, который явился на концерт прямо с вокзала, даже тележку грузчицкую прихватил. Ну, здорово, старик! Правильно, нечего стесняться своей профессии, мы по любому — лучшие! А что это ты сосешь? Леденцы?! Значит, и Дед здесь?!

Оказывается — здесь, улыбается (правда, грустно как-то) в свою бороду, затем достает из кармана два петушка на палочке. Угощайтесь, мол, дружбаны, чем бог послал! Даже Коньшев притащился, хоть и стоит в сторонке. Когда Паскевич его замечает, Коньшев (на сей раз одетый в штатское) прикладывает палец к губам, мол, тихо, сохраняем инкогнито! Потому что вон там — Пупс, который вылез из джипа и, раскрыв объятия, направляется к старым друзьям.

«Да брось ты! — хочет сказать Паскевич, — Какие баррикады?! Мы все здесь друзья, мы пришли на концерт нашего Бена, мы — вместе!» Другзей, надо сказать, изрядно, публика буквально

ломится на выступление, что говорит о невероятной популярности их талантливого друга. И афиша говорит о том же: на ней указано, что в первом отделении будет играть легендарная рок-группа «Зоопарк».

— Понял, в чем фишка?! — радуется Букин, — Ну, почему концерт здесь назначили? Майк Науменко с «Зоопарком» будет у Бена на разогреве, прикинь! Да это ж, блин, верх мечтаний!

Пупс интересуется, мол, что там у тебя? Когда Букин выставляет на обозрение «икону», никто на колени не падает, конечно, но эффект налицо.

— Мы его Бену принесли, в подарок. Как вы думаете, появится он перед концертом? Или мы его только на сцене увидим?

— Понятия не имею. — пожимает плечами Пупс, — Может и не появиться, он все-таки суперстар...

— А вот и не угадал!

Бен появляется из служебного входа, заметившие кумира фанаты кидаются за автографами, но их останавливают недвусмысленным жестом, дескать, позже! В первую голову — друзья, одноклассники, не разлей вода, с кем столько всего пережито! Надо каждого обнять, потрепать по плечу, парой слов перекинуться, ну, как положено. И хотя приветствие вполне дежурное, по сердцу разливается тепло.

— Как ты? — обращаются к Паскевичу, а тот машет рукой: не спрашивай! Что такое — моя жизнь? Ты про свою расскажи! А то тут отдельные сотрудники МВД, понимаешь ли... Паскевич бросает смущенный взгляд на Коньшева, который внимательно наблюдает за ними, по-прежнему держа дистанцию.

— А-а, вот ты о ком... — Бен усмехается, — Не верь сплетням, мол, Бен Завадский — спился, а играет в кабаках и в третьесортных концертных зальчиках. Ты же сам видишь, какой у нас аншлаг!

— Да, конечно, я не поверил! Коньшев вообще какой-то другой стал, не наш. Ну, мент — он и в Африке мент. А тебе мы подарок принесли, ты его сейчас вспомнишь. Ну? Показывай!

Подарок явно по душе Бену.

— Спасибо, ребята... — говорит он растроганно, — А теперь пойдете в зал, пора начинать.

Они рассаживаются на почетном первом ряду. Вскоре на сцену выходит Майк Науменко в своих фирменных темных очках, объявляя: гвоздь сегодняшней программы — Завадский, а мы так, поиграем для настроения. «Ва-ау!» — содрогается зал, когда музыканты «Зоопарка» берут первые аккорды. Разогревают зал на всю катушку, так что к перерыву публика уже беснуется в проходах и лезет на сцену, истошно крича: «Бе-на! Бе-на!». И он появляется, откидывает назад гриву, затем поднимает руку, утихомиривая разбушевавшуюся стихию.

— Мы обязательно отыграем свое отделение. Это обещаю вам я, Бен Завадский.

«Ва-ау, Бен! — отзывается зал, — Мы верим тебе!»

— Но пока надо проявить смелость и мужество. Из клеток, как нам сказали, вырвались хищники, а значит... Здесь есть настоящие мужчины?

Аск! Переглянувшись, они встают с почетных мест и, ловя на себе взгляды притихшего зала, направляются к выходу. Бен спускается со сцены, чтобы к ним присоединиться; когда же выходят наружу, совсем близко слышится грозный рык. С другой стороны отвечает вой то ли волка, то ли гиены, в общем, положение и впрямь серьезное.

— Давай, разбирай! — говорит Пупс, распахивая багажник джипа, — У меня все уже приготовлено.

Паскевич хлопает Букина по плечу.

— А ты говорил: не положено!

— Так кто ж его знал... Ладно, бери ружье.

Паскевич выбирает новенькое, в заводской смазке ружье с двумя расположенными друг под другом стволами.

— «Зауэр»? — спрашивает он.

— «Зауэр», «Зауэр»... — озабоченно отвечает Пупс, — Ты, главное, с предохранителя его сними и патроны вставь!

В этот момент из зала выбегает Коньшев.

— Пойдите, мужики... В общем, я с вами.

Когда он достает табельный «Макаров», Паскевич хмыкает, но вполне добродушно. Они жмут друг другу руки, потому что по-прежнему друзья, а друзья, как известно, познаются в беде.

И вот патроны загнаны в стволы, охотники выходят на травяной газон и встают спина к спине, оглядывая территорию. Хищники где-то близко, их глаза мерцают за пределами освещенного круга, даже запах долетает. Но охотники не боятся, наоборот, об этом они и мечтали, именно такая охота должна ознаменовывать встречу друзей.

Что за тени мелькают среди древесных стволов? Ага, львы, их целый прайд — полдесятка самок и гривастый самец. Рыжие кошки выскакивают на открытое пространство и стремительно кружат вокруг горстки смельчаков, порывкая и надеясь, надо полагать, на панику в человеческих рядах. А вместо этого: бах! Потом ба-бах! И вот уже гривастый бьется в агонии, окрашивая траву красным, а львицы кидаются врассыпную...

— Это вам не буйволов пугать... — бормочет Дед, стрелявший первым. Приблизившись к мертвой кошке (точнее — к ко-ту), Пупс восхищенно крутит головой.

— Классный выстрел, прямо между глаз! Ты, Дед, и здесь остаешься отличником!

— Между глаз — это Бен, — скромно отвечает продавец леденцов, — Это он уколошил его вторым выстрелом.

— Все равно молодцы. Эй, Салазкин! Давай твою тачку, будем их в одно место свозить!

Носильщик охотно предоставляет свою тележку, на которую с трудом взваливают громадного зверя. Весь он не вмещается, хвост с кисточкой тянется по траве, вываливают же первый трофей перед ступенями зала.

После этого Пупс предлагает разделить на пары и разойтись в разные стороны. А как же Салазкин с его тележкой? Его будем вызывать по мере необходимости, когда следующие трофеи появятся. А прикрывать его... Пупс скользит взглядом по выстроившимся в ряд охотникам и тычет в Коньшева: будешь ты!

— Почему я?! — хорохорится мент. — Я тоже хочу зверя завалить!

— Потому, — отвечает Бен, — что милиция должна охранять своих граждан. Такие вот особенности национальной охоты.

Друзья смеются, и Коньшев машет рукой: хрен с вами, угорвили!

Нет, это не зоопарк, это джунгли и тайга, саванна и буш, здесь собрались хищники со всей планеты, и каждый алчет человеческой крови. Алчете? Так вот вам дуэтом! Хотите зайти со спины? Но друг — всегда настороже! Бах! Бах! Ба-ба-бах! Выстрелы доносятся с одного, с другого края, куда то и дело вызывают Салазкина с Коньшевым.

— Забирай косолапого... — небрежно говорит Букин, переламывая ружье и вставляя очередной патрон. Носильщик пыхтит, но даже с помощью охранника не может поднять медвежью тушу. Приходится помогать, да еще сопровождать до ступеней.

— Ого! — восклицает Паскевич (он — напарник Букина), — Ничего себе кучка!

Гора трофеев постоянно пополняется, тут лежат и ягуары, и гиены, и прочая мелкая шушера. Что, впрочем, вовсе не означает вседозволенности. В суматохе из вольеров начинают выскакивать травоядные: в испуге шарахаясь от выстрелов, они то и дело пересекают охотникам путь. Но, когда Паскевич пытается поймать в прицел ветвистые рога, Букин его одергивает.

— Так не договаривались! В смысле: сегодня отстреливаем хищников, ясно?

— Извини, увлекся...

Паскевич присаживается на траву, затем в блаженстве откидывается.

— Класс! Знаешь, сейчас я даже своей Раисе готов все простить. Вот такое у меня настроение! Ну да, она постоянно долбит мозги насчет денег, и насчет новой квартиры тоже долбит... Но такие моменты — все искупают, вся наша тупость, вся наша примитивность куда-то уходят в это время!

— Это верно, я тоже всем прощаю. Можно, в конце концов, не гнаться за прибылью, а жить как-то по-человечески, что ли... Но все ведь можно поправить, верно?

— Конечно! — убежденно говорит Паскевич, — У нас вообще все впереди!

Передохнув, они движутся к слоновьей вольере — если этот разбухнет, мало не покажется никому. Конечно, им жалко убивать слона, он ведь тоже травоядный, но если того потребуют обстоятельства, они на это пойдут. Ба, да его уже кто-то грохнул! Странно: выстрелы гремят в другой стороне, а здесь — туша убитого животного, ко всему прочему подвизывающаяся. Первым зажимает нос Букин, следом то же делает Паскевич.

— Когда, интересно, он успел протухнуть? — вопрошает Букин.

— Да он вообще разложился, на нем и мухи, и червяки...

— Ничего не понимаю... — бормочет Букин. Протиснувшись сквозь мощные железные прутья, он приближается к туше, затем возвращается, бледный и растерянный.

— Эй, ты чего?

— Кажется, я начинаю догонять... — шепотом говорит он, — Этот тот слон. Прежний!

Паскевич замирает.

— И Майк прежний, а ведь он...

— Умер давно. И группы «Зоопарк» больше не существует. И мы с тобой выглядим как-то странно... Что у тебя с коленками? Они вроде как в другую сторону смотрят...

— А у тебя... — Паскевич прокашливается, — шея вывернута. И шум какой-то, ты не слышишь? Будто сирена воет.

Въехавшая во внутренний двор общежития машина «скорой» не выключала сирену. Лишь когда из шахты лифта вытащили два тела, и их осмотрел врач, вой затих. Торопиться было некуда.

Санкт-Петербург 2009

Лариса БЕРЕЗОВЧУК

/ Санкт-Петербург /



антропологическая максима 1

Хочешь быть умным,
как был — в своё время — Ной,
дверь в царство знания приоткрывая?

Никого не слушай. Никому, кроме себя,
(и то — с оглядкой)
не верь. Для общей тайны
— заткни уши. Со всеми
играй в прятки. И
повернись спиной
к любому камланию.

антропологическая максима 2

Желаешь стать сильным
— словно берсерк, вызывая любовь
у детей и баобабом остальному люду
внушая почтение?

Собери в ворох мечты, утопии,
идеалы, иллюзии, а также, глагол «будет».
Их — свари и гостям на блюде подай.
Или, в порох это всё обратив,
— устрой фейерверк.
А проще всего — утопи.

антропологическая максима 3

Хочешь красоту обрести,
чтобы восторги и восхищение
сыпались на тебя
как мука на мельнице, а цвет лица
был белей снега и перкала?

Везде и всегда уничтожай двойника:
бей зеркало.

антропологическая максима 4

Если манят тебя почести и успех,
спать не дает чужая слава, бубенцами
звонят статьи о тебе,
на груди и в карманах награды, —
знаешь, что сделать надо?

Отменно питайся. Сиди гольшом
на морозе в укромном местечке,
где нет сквозняка. И
тогда у тебя — на зависть недругам —
наверняка вырастет
густой шелковисто блестящий мех
и хвост колечком.

антропологическая максима 5

Если тебе по нраву
взрачивать совершенство души,
словно ботанику — прихотливость
узора на листьях
королевской бегонии, — тогда спешу,
не впадая в панику, вопрос задать:
как не разбить среди воплей бедлама
хрупкие призмы человечности и доброты?

Немедленно ставь клистир,
чтобы отравленный организм
поскорее очистить от ядов
перезрелого детства
— светобоязни и романтизма.
Вылей в сортир поскорей
смертельно опасную кислоту иронии.

антропологическая максима 6

Хочешь здоровым быть — точно
могучий вековой дуб, до сих пор
браво играющий гаммы на инстинктах
свиной при помощи желудей,
как пианист на рояле? Или
эвкалиптом хранить долголетие,
спуская избыток паров,
пьянящих эфиром, в поднебесье?

Считай всегда только до трех.
Собираясь в путь, невозмутимость
храни — словно лама. Для врагов
веси души и разум закрой.
Суть — проститутку —
не пускай на порог. И пой
— во всю глотку —
мажорные эпиталамы.

антропологическая максима 7

Если стремишься себя и семью свою
охранить от безумия, чтобы Везувием
не взорваться от страхов и шёпотов,
от пускающих слюни абсурдов,
от самоубийственного азарта детской игры,
(тогда уже не поможет провизор)
— знаешь, как поступишь?

Не читай никогда еженедельников и газет
— даже в невыносимо скучной дороге.
Врагу подари свой телевизор. Увидишь
— мало не будет: он быстро за парту усядется
вместе со внуком. Наткнёшься
на резвого журналиста, седого как лунь
маститого критика, задумчивого режиссёра
видео-арта или авторского канала, доктора
«новой» круторогой науки
— через плечо три раза спянь,
перекрестись
и уноси — как можно скорее —
мысль, чувство и ноги.



Михаил МЕЛЬНИКОВ- СЕРЕБРЯКОВ

/ Санкт-Петербург /

*

Снял зеркало.

И сразу же:

деревья с облаками
из окна
скользнули под диван,
под ноги бросился
ещё один котенок —
откуда только взялся —
непонятно!

Жена ушла на кухню
через стену
и крикнула:
«Я не люблю тебя!»

Но главное не это.

Оказалось,
что у меня в носке
на пятке —
дырка...

Повесил зеркало
на место.

Деревья с облаками
прыгнули в окно,
второй котенок
спрятался,

жена вернулась
через дверь,
прижалась
к моей щеке,
прощенья попросила...

Но главное не это.

Мне обидно,
что дырка-то в носке
осталась...

*

и целый день Вынуждают —
чужими смотришь на всё
и видишь глазами,
только чужое ...

Повсюду —

задышающаяся едкая,
в ярких кляксах и шипящая безразличием,
всепожирающая предусмотрительности
осатанелость всего чужого.

...вынуждают...

...и целый день...

...и чужими глазами...

Но иногда ночью,
к сожалению, просыпаясь,
процарапываясь, опять почти стариком,
делаетшь через ресницы,
взглядом шаг в сторону —

это побег от чужого —

через окно
в небо цвета кирзы,
где звёзды
сияют каплями деревенского молока.

...своими глазами
видишь...

*

...и в день
приезда
из двух частей соединилось
стало
нерасщепляемым единым целым —

«Я-прошлое».

В зелёном ясновиденье
молчания июля
над розовыми брызгами цветов
вокруг колодца
рассыпалось жужжание
печальной музыки пчелы,

и оболочка солнца
вскипела болью удивления,
отчаяньем пронзительной утраты:

нет яблони моей...

В одно мгновение
в невыцветающих
кровоподтёках кротости
воспоминания о детстве
от будущего освобождены.

«Я-прошлое» —
нерасщепляемо, едино.

*

Рахатлукумные каналы
в гранитно-шоколадных
берегах

Метаморфозы солнца — макияж вечерний —
румяна на щеках
у пряничных домов,
изящно синью теней подведённые
глазёнки окон,
напудренные тополиным пухом
тротуары.

Орchestra духового одухотворённость —
концерт и танцы в маленьком Дворце Культуры.

Прикосновенья в танго и знакомство,
коньяк и переход на «Ты»...

Визитка:
имя, должность, телефоны, факсы,
E-mail.

— А можно проводить тебя?
— Ну, проводи...

И рядышком со мной
по набережной Мойки
в аллегро звонком манекенным шагом
зацокала
ещё одна
моя любовь.

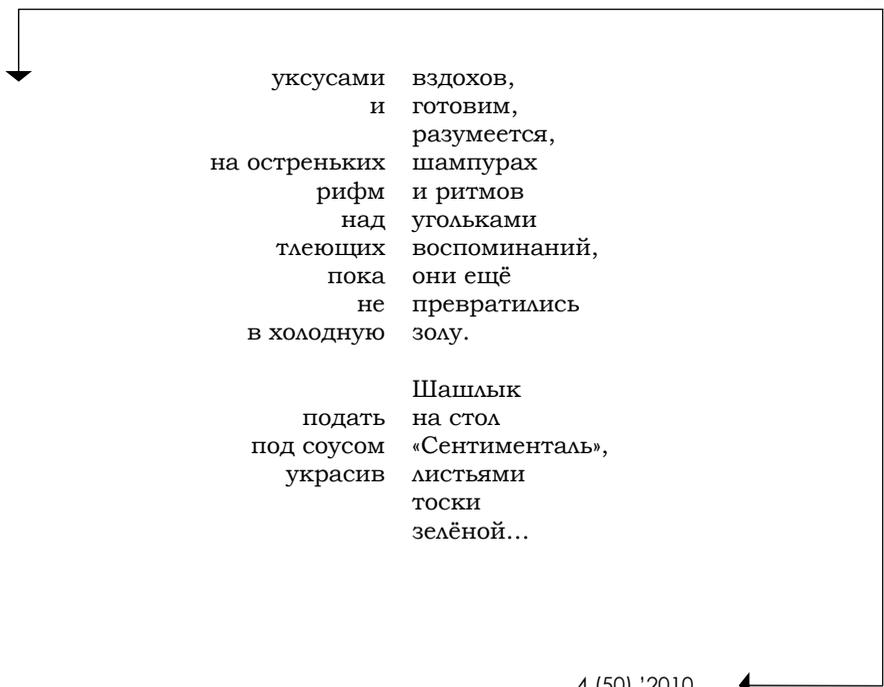
Специя

Любовь —
обыкновенная приправа
на кухне у поэта —
горький порошок,
полученный из семечек,
питавшихся
от сладких корешков
надежды.

Рецепт:

Сушёные плоды
положим
в старенькую ступку
бытовых проблем
и пыль,
чтобы острее
имя, чувствовалась горечь

Обильно
насыпаем пыль любви
на шашлыки стихотворений,
намаринованные ночью



уксусами вздохов,
и готовим,
разумеется,
на остреньких шампурах
рифм и ритмов
над угольками
тлеющих воспоминаний,
пока они ещё
не превратились
в холодную золу.

Шашлык
подать на стол
под соусом «Сентименталь»,
украсив листьями
тоски
зелёной...

Валерий ЗЕМСКИХ

/ Санкт-Петербург /



* * *

Не то чтобы я могу
А впрочем могу
Сомнения остаются
Или оставить их где-нибудь
в углу
Как пустую бутылку из-под пива

Фейерверк

Я откладываю в сторону
Он хочет что-то мне сказать
Я даже не переспрашиваю
Ему плохо
Это хорошая новость
Вестник не хочет смерти
Ходят слухи о новом
Мне-то зачем

Стакан с вином под стулом
Пוצарапанное таблеткой горло

Я могу
Могу

Но читать

Она о соловье
С выщипанными перьями
И о своём

Могу и о соловье
И о чужом

Но останавливаюсь
Делаю глоток

Может быть объяснить

Везде шаги
Двери закрываются
Все расходятся

Я могу
Ну что я могу

Продержаться ещё
Скатиться с постели
Забиться под стул

Красное пятно на полу

* * *

Где ты радость минут
Это самая малость
Того что я проиграл
У бога краплёные карты
Пытался сменить колоду
Но где там
Из рукава тараканьи усы тузов

Шарю рукой по стулу в поисках лупы
Прочитать расписание бед на завтра
Луна проползла по окну
И забила в угол

Пора перестать считать
Загибая пальцы
В уме как ни крути
Дважды два четыре
Разницы никакой
Сложить или умножить
Пустая ладонь
Бесполезно делить
Всё равно отнимут



Лев АКСЕЛЬРОД

/ Санкт-Петербург /

Прелюдии

1

*Музыка — улицам города
(из жизни скрипача)*

Так назывался фестиваль, организованный в Пензе местным министерством культуры. Я же хотел бы, чтобы читатель воспринимал улицы города, пешеходов, себя в толпе — как часть музыки. Как сказал поэт (мой отец): «куски вселенной бродят по проспектам, не ведая, что сущее едино, и человек, как ветер, всюду — дома».

Когда мне было семь лет, я жил в глухой деревне на границе Псковской и Новгородской областей. Было, наверное, уже часов девять вечера, мы парились в бане. Разразился невероятный ливень, и речка вышла из берегов, я думал встать, но дна не было, и впервые пришлось плыть. Сейчас плаваю спокойно километрами. Что-то такое случилось со мной в Мюнхене, только на уровне потоков «мировой воли».

Немцы проводят иногда мероприятия, называемые «Kulturnacht». Это вечера, посвященные музыке, быту (в основном — кухне) — разных народов. Мне довелось представлять Россию. Я пел «Степь да степь кругом», русские романсы и даже «Катюшу». В петлице пиджака у меня была красная лента, на голове — кепка. Чистый «совок». Всегда немножко вызов есть, когда говоришь о том, что ты русский. Моя еврейская внешность, может быть, обостряла драматизм происходящего. И вот что было: из глубины протолкался помятого вида пожилой немец, державший в руках засаленную бумажку. На ней проступали слова об искусстве и духовной свободе. И он показал на меня пальцем, дав прочесть постулат.

...Роятся манящие огни биргартенов. Вспарывают сладостно-уютное пространство высокоскоростные трамваи. Смысла нет. Людей на Земле оказалось больше, чем я думал, даже если учесть количество одинаково размалеванных турчанок, стремящихся перейти в шатеновую породу. Корейцы опустошают скрипичные кладовые, хранящие заветные инструменты работы старых мастеров. Сорокалетние женщины сходят с ума от скуки, неудовлетворенные скудными ласками инженеров. Степенные «Ота» и «Ора» выгуливают двадцатисемилетних недорослей, сумевших уже обзавестись ряхой и пивным животом. Представители черной расы — чистейшие и прекраснейшие из живущих — стерегут туалеты, собирая двадцатичетовые составляющие баварского капитала. Кто я здесь? И вообще — кто я? Этот вопрос я задал однажды своему учителю, тринадцать лет не слышав его голос. Ему понравился мой вопрос.

А бывало так, что нет денег. «Музыка — улицам города»?

...Они играли неподалеку от Мариенплатц. Одеты были в камзолы (хоть снимай фильм по Шодерло де Лакло.) Флейта серебрилась непринужденными пассажами. Валера (так звали флейтиста) был в ударе. Это было больше, чем мастерство. Я обрадовался. Оказались нормальные чуваки. Виолончелист, человек славянски проникновенный, поначалу произвел впечатление сурового монолита. Может быть, дело в том, что он в двадцатисемитысячный раз играл повторяющиеся ноты невысокой сложности. И был парадоксальный скрипач — он добросовестнейшим образом трудился, но был где-то далеко, казалось, он тосковал о безыскусной любви и очень устал. Он уезжал в Минск. И взяли меня (сговорились быстро).

Всегда перед тем, как мы начинали ре-мажорный дивертисмент Моцарта — вещь огненную, Валера Верюханов говорил: «Шас будешь сдавать кровь». При морозе кровь иногда далеко от кончиков пальцев, так что под кровью понималась видимо некая «ци», которую пестовали в себе даосы.

Так или иначе, я перестал бояться. Поехал однажды на «пробешпиль» в лейпцигский «Гевандхауз» и играл очень смело, пусть и не так, как им было надо.

Валера требовательный. Он крайне ответствен за здоровье своих подопечных, но однажды спросил (при том, что меня тошнило и кружилась голова — нет, не алкоголь, на работе мы не пьем): «И это наша первая скрипка?» И было мое бешенство. И был Тартини. И где-то в Северной Венеции, наверняка, всплакнула покинутая Дидона. Тем полнее звучит скрипичное Lamento, чем суровее взгляд и тверже смычок. И в этот день я увидел странную женщину. Она играла на виолончели какое-то неустойчивое (в том числе, интонационно) попури на всевозможные популярные темы. Плохо. Че-то плохо. Валера объяс-

нил: «Она стебется». Она обладала абсолютной человеческой свободой. Кто его знает, может, в прошлом, она концертмейстер «Байеришер Рундфунк». И ей кидали деньги! Так вот, в тот день мне было плохо. А она говорит: «А ты распрямись, думай о сексе!» Я играл прекрасно в тот вечер. Потом ее целовал.

И такую вот еще историю мне рассказал Валера. Как-то не поделили они место с аккордеонистом. А он так как-то все «с выебонами», и его не согнать с места. Ну, что делать, встали неподалеку и начали себе негромко «Аве-Марию» Баха-Гуно. Аккордеонист в себе не сомневался, еще понтов подбавил, темпы взвинтил в полтора раза... И на тебе, негромкая «Аве-Мария» перетянула к себе всех.

...В индийской музыке есть термин «свара». Это, по сути, духовная субстанция, которая иногда появляется в звуке.

Я приехал в Питер из Мюнхена, и сразу же начал работать тут в оркестре. Мы записывали на студии в числе других произведений вещь латиноамериканского автора, про два цветка, которые тянутся друг к другу, а потом что-то, уж не помню что, их разлучает. Мы писали эту музыку 30 декабря, у всех предновогоднее, на редкость душевное настроение. И я вдруг понял, что не важно, хорошо ли я играю в профессиональном смысле. Над нами был купол.

2

На улице холодно и трезво. Черно-красные контуры вокруг людей, страстных до жизни. Вспоминается разнuzданная тема из сонаты Франка. Она, впрочем, трагическая, в ней слышен непонятый лирик, забытый лирик. Подумал про Ван Гога. Да, социум — это, конечно, ненормально. Хорошо еще, что я сейчас в России. Здесь есть ирония над социумом, и люди друг другу интересны. Если у тебя на лице написано желание бить морду, тебя поймут. Поймут Юрия Лозу с детской мечтой. А там они только вид делают, что Шуберга и Гайдна понимают, а Ростропович явно мучился, играя с идиотами из «Академии Святого Мартина в Полях». Они же ни хера не читают, ну совершенно не творческие. Вспоминается «Умри, Флоренция, Иуда...» Кстати, это ведь не про Флоренцию, а про фальшивое отношение к жизни.

3

«То вьюга меня целовала»

У Блока было трагическое ощущение разрыва между ритмом неизбежной, часто вызывающей тоску и опустошение реальной жизни, и миром поэтическим. Но, по моему глубокому убеждению, в тоске этой — потребность в метафизике, и даже

если в стихотворении речь идет, вроде бы, только о безысходном прозябании, — например, в таком, как «Ночь, улица, фонарь, аптека» — все-таки, каким-то чудесным образом, возникает мысль: а не говорит ли здесь Блок о контрасте между миром человеческой души и трагической необходимостью верчения, «жизни» в однообразном механизме, предложенном цивилизацией? Магия этого стихотворения, магия вообще блоковской тоски в том, что она пробуждает в человеке желание быть поэтом.

Похоронят, зароят глубоко,
Бедный холмик травой порастет,
И услышим: далеко, высоко,
На земле где-то дождик идет.

<...>

Торопиться не надо, уютно.
Здесь, пожалуй, надумаем мы,
Что под жизнью беспутной и путной
Разумели людские умы.

Меня освободило это юмористическое стихотворение. Особенно это слово, «уютно», в четвертой строфе.

Стихотворение, помимо юмора, темное и сложное. Блок ведь не мог жить в уюте и много писал об этом. Он бросает это слово как кость для глупого обывателя, который лишен собственного видения мира. У него есть эсхатологические стихи, он вполне мистик. Видимо, он заинтересовался идеей скрытного стиха.

Со своей внешней стороны стихотворение, за исключением последних двух строчек, примитивно-религиозно, пародирует беспомощную «веру» пытающегося механически адаптироваться человека.

«Далеко, высоко на земле где-то дождик идет»... Пушкин осмыслял смерть, говоря о «вечной красе» «равнодушной природы», говоря «пусть будет сиять», намекая этим на творческое участие в бытии, не подверженное тлению, а тут — дождик какой-то где-то... Скрыть великое, и этим направить к нему. Подлинность.

Загадочные люди были в Серебряном веке. Короли в дорожных плащах.

...Был сегодня с дочерью на Елагином. Звучал из динамиков «Оранхуэзский концерт» Родригеса для гитары с оркестром, Вторая часть, навевшая мысли о свободе, страсти, смерти. Маня остановилась и забыла о том, что хотела кормить барашков. И вдруг примчался детский трамвайчик с нелепой музыкой, такой светло-желтый. Ничего. Уедет.

4

Вот появилась бы какая-нибудь веселая, трезвая дама и сказала бы мне: «Начни новую жизнь, съезди, улыбнись...» «Простейший позитив!» — подхватил бы я, но произнося эту бесхитростность, уже опечалился бы, и снова стало бы все сложно в мире и во мне, пока не стал бы ребенком, пока не стал бы ребенком...

5

Смотрю на две венецианские маски, висящие на стене. Они с позолотой и черными узорами, напомнившими мне Дантовы слова «Узнаю следы древнего пламени». Пламя это иррационально, это особенно видно по Баху, несовместимому с религиозными штампами и статикой. У Пушкина Сальери этого не хотел понять, он продолжал умствовать, уже убив Моцарта и выплакавшись. В общем, Пушкин изобразил Сальери типично несчастным европейцем, не понимающим, что «праздные гуляния» Моцарта — часть его горения, творческой жизни. Эта пьеса — о том, как человек не может понять, что неровность жизненного почерка связана со страстью и оправдана ею. Для Сальери слово «гений» означало нечто громкое, пафосное, он кричал про «смелость и стройность» там, где уважающий себя художник безмолвствует.

6

Когда смотрю в зеркало, даю себе в буквальном смысле по жопе, думая при этом: «В Самаре дома с резьбой, а ты, лодырь, отсутствуешь. Иногда во время игры на скрипке вспоминаю этот нехитрый способ напоминания о смысле. Вернее, в те моменты, когда творчество прекращается. Между тем, в переводе с английского скрипичная игра означает «валяние дурака». Вспоминается Емеля-дурак и привалившее ему счастье.

...Вот только дурак ли Емеля? Представляю его себе, лежащего в священной хандре на печи. «Плывет в тоске необъяснимой»... Сказка древняя, про тяжелую мужицкую жизнь, а Емеле не страшно за шкуру-то свою, видно, было, что дрова рубить не шел. Ни холода, ни голода, стало быть, не боялся.

7

Образы.

Мне было хорошо в детстве, потому что я был творчески влюблен во все, что видел вокруг. Пляжи Комарово ассоциировал с тайским побережьем, у меня была гавайская рубашка, на которой был изображен рай. Я не расставался с этой рубашкой.

Еще был плеер, навороченный, серебристо-серый, и найденная на шоссе кассета «Gipsy Kings», нравившаяся мне даже больше, чем «Skorpions», которых дал мне послушать какой-то пацаненок-сверстник. Только сейчас я стал понимать, какую горькую и страстную жизнь надо прожить, чтобы так летел голос. Меня обожали жительницы пансионата ВТО, просили спеть, рассказать стихотворение, покричать чайкой. По вечерам был бадминтон, в который я играл со всей одержимостью девятилетнего парнишки. Кладбище, расположенное по дороге на Щучье озеро, казалось чем-то сумрачно-поэтическим, могила Ахматовой не ассоциировалась еще со снайперскими стихами покойной.

Помню наш двор-колодец на Исаакиевской, дом 5, когда весной там появлялась первая травка и желтые цветы мать-и-мачехи, булочную на Почтамтской, где всегда пахло хлебом, были неизменно свежие рогастики и неподалеку от которой продавался квас. Еще помню огромный кусок зеленого граненого стекла, расположенный в окне какого-то сравнявшегося с землей первого этажа, между наружной и внутренней рамами.

Ожидание 31-го на остановке у Александровского сада было всегда счастливым, оно означало поездку через мосты на Горьковскую, Петроградскую, Черную речку к бабушке, где меня ждали рыба по-польски, бульон с блинчиками, ванна, халат, книги про Восток, манная каша с вареньем на завтрак, яблоки вождяленного сорта «Джонатан».

Маршрут этот (тридцать первый уже не ходит) был гениальным. Теперь, будучи уже 27-летним петербургским мечтателем, я еще больше полюбил путь от Дворцовой к меланхоличной Петроградской, где до сих пор останавливаюсь на углу Карповки и Каменноостровского, как когда-то в 18 лет.



ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВ

/ Санкт-Петербург /

Канун Крещения

Анне Голубковой

так холодно...

зажги хоть свечку, погрей себе ладонь,
...вот так,

чуть левее!

я увижу на просвет
пробелы между пальцами,
и твои тонкие косточки,
и этот безумный розовый свет

пожалуйста,
затеpli свечу!

Op. № 10.024

Я умею
натягивать струны, на которых
играет ветер.
Жуткий, порывистый,
а струны звенят:
— Binnory, o'h Binnory.

Хочешь,
я из тебя сделаю арфу
и ты будешь петь
о славных мельницах Биннори?

* * *

Анне Голубковой

расскажи мне сказку
о кораблях из Магонии, что прилетают,
когда их не ждут,
о котах, имеющих сонный дар,
о себе,
о прелестной закольцованности вопроса:
— если я предавала всех, значит ли это, что я
предам и тебя?

На берегу Hirvisaari

Подмёньша, эльфийского ребёнка
встретить
на берегу.

Начертить мелом круги,
срочно сплести ловчую сеть из колдовских слов,
— ведь так обрадовался удаче, —
можно будет взять холодное железо
и выпытать
несколько тайн!

...Самому
оказаться в сети её слов
и только мечтать о кольце
её рук

* * *

Посвящается tb

помнишь,
как мы штурмовали стеклянные острова?
как затонул
наш броненосец «Святой Брандан»!

эту жуть, помнишь,
как мы пытались их спасти?
как люди становились... мёртвыми.
только что тёплые и живые, становились — мёртвыми

как вращалось
это колесо...

Olwen

*(на мотив Бориса Виана,
из романа «L'arrache-cœur»)*

я разую тебя
и выпущу: босой, на весенний луг
[разуть — освободить от уз?]
я раскую тебя — нежно сниму подковы

что за цветы вырастут на следах
этих натруженных, кровоточащих ступней —
самых любимых?

Yggdrasil

Жаль,
что мы встретились здесь и сейчас.

Впрочем, цена вопроса не столь велика.
Я знаю, чем откупиться.
Есть и соломинка — воткнуть себе под сердце,
есть и ясень,
и хорошая верёвка.

Если правильно сделать петлю,
то позвоночник сломается в шейном отделе.
Это страшно и больно,
зато быстро.

* * *

Как ты устала, Господи,
как ты смертельно устала!
Осталось
взять тебя на руки и убаюкать.
Укачать, прижав к груди, как ребёнка.
Чтобы слышала
биение моего сердца.
Чтобы знала: ничто
не потревожит.

...

ИБО АНГЕЛ НЕ СМЕЕТ ТРУБИТЬ,
КОГДА ТЫ СПИШЬ
НА МОИХ ЛАДОНЯХ!

* * *

Немного информации...

Записка

из ниоткуда — куда-то, в пустоту,
утрачен адрес....Последняя надежда морехода —
на непонятном, древнем языке —
письмо в бутылке!

.....

Я — схолия на краешке Вселенной
к твоим губам
(не разобрать сквозь слёзы).
«Читайте!» — говорю.**Минога***А. Чемоданову*— Я — изумительный!
Я «круглоротый»....они поймали нас,
они сыплют на нас соль.
это так больно перед смертью,
и я кричу

...

но и на
сковороде шипя, — ещё живой, —
я
прошепчу:— Я — изумительный!
Я — круглоротый.**Op. № 10.073 «Le jardin enchanté»***Посвящается тв*

Раздеть тебя.

Раз-рисовать яркими-яркими красками.

«Листья, цветы и плоды».

А на груди — на ореолах вокруг сосков —

МОТЫАЬКИ.

Чтобы, когда ты опять
пойдёшь, нагая, по этому саду
никто бы
тебя не заметил!..

Эпизод II: «Неудавшееся гадание»

Когда кончился священный месяц севастос,
а мы
так и не встретились, я начал подозревать:
со мной что-то не так.
Может быть, я утратил душу
или стал кем-то другим?

В панике
я принёс в жертву двух крепких рабов,
мужчину и женщину,
предварительно заставив их совокупиться.
Но гаруспиция — ничего не прояснила,
предзнаменования были темны.
В моих книгах нет этих знаков!
...Богиня молчит.

Это значит, что я ещё не проснулся,
и я — в бреду?
Может быть, наяву всё не так?!
Или — я уже умер
и никогда не встречу тебя?..

.....

Успокаивает только одно: если бы я
придумал тебя,
ты точно была бы здесь.
А раз тебя нет, это значит,
ты действительно
существуешь.

Возвращение из Москвы 5

Посвящается Д.С.

при-косновение — пальцы жжёт —
кон-такт.
Кон-дукт (конд-укторы, кондукт-орра) —

...проводница:

то отпирает, то запирает двери — железные!

.....

а вот тут-то нас и накрыл
«нормальный балтийский шторм»
ветер ломает
пролетающие за окнами берёзы
но ты — не видишь,
ты — уже спишь

Александр ГОРНОН

/ Санкт-Петербург /



25-й кадр, или Стихи не о том отрывок (вербальная графика)

скрывшие глянец **Ф**искальной породы не портим
 среда — известняк известняк а под ним
 известняк известняк — и **безумец**
который новее
 победно **СТ**укляшкам дешевым
 тюрьмою сумо **Ю**велирных
оправ царской огранки
данных трёхглавого флага в затылок
 в его исполненья **ВИНЕ**
 растворённых как жемчуг
 и вложенных **вне** драгоценные камни
со **рат**
ни **КОВ** **БОЯ** бесправил
 невидимым фронтом
 и по умолчанью **Ю**до
фоба стурмой
 безлошадных наездом

Законно
 КОЛБАСНЫМ заводом
 от гирь часовых
 с пусковым механизмом
 на месте ПРИстрелки
 секундной
 Онлайн и ланчем ПРИбывших суда
 Чили с Линчем
 уса
 мастира ссы по ветру лаги неон
 ДОлагИ ПЕРСОНЫ граты
 с ГОР
 антаГОНИЗМОМ радушья под мухой какую укушен
 в родном Гуляй Поэвитуану и прочим приметам
 с качками коньков деревянных Каса
 вдрой на камень
 мыч-у-у-у
 ЧЕЛОВЕКА
 из плоти ^уска
 сокунами пугали
 детей при Горохе
 с ТУР
 НЕПСАМИ-РЫЦЕРЬ
 Берами на сене
 потом
 с журавлями в колодцах
 и вне
 БЕСТОЛКОВЫМ сонорным запасом
 ИВ
 РИТ мах сексти
 ля-беМОЛЬЮ взлетающих на бис
 с барабашкой талмудным
 огревшим священникаТорой покрылся
 и пареной реца
 русевшего наПОЛ
 тергей
 СТЕНевой стороной
 на луну

при обстреле опасной
 черепа вицей крышующихся от гор родившихся мышью
 безликостеную Я. гоИ слава Богу не плача как все мы
 страдаем
 души недержаньем
 и прочим и прочим?
 и прочим в героИис ПИЛТЫ Ахиллесы
 с лица эша фотоГЕНИЧНЫ
 хвалясь похождениями за три моря (все по колено!)
 снарПциссом ру. чей НИКА злёночком-братцем
 Иванушкой нашим бараном
 а то *чтов преданьях свежо*
чтов преданьях свежо ван деграундЕфа
 КТО поверит
 вруна золотой одиссеи
 с равеньем НАЖЕРС
 с висельем на мачтах?
 уж брошены за борт харчи
 да и выплюнутром не приемлю
 с уходом земли из-под ног в колебаньях утробных
 архаикакнюшен Авгиева Восточная пряность
 в ПОТУ ПЛЕННЫХ взглядах и с полной от вагиНЫ взорах

застигнутой
 вночь в прилежании сверху
 в делах ^{пота} ~~лоном~~ ее ипотечным по снятию порчи
 СоСпариванья эпатажем и страхом при голо
 при **ГОЛО**
 сованьи
 в программе про это описано sic! или зас...
 рано скажем (но сильно)
 где анус Ибонус где Я^{ну} давайте посмотрим
 поставим на место
 себя
 не узнав
 заПАД
 кладкой
 говённой
 с удобствами блин *с небосвода росли*
*с неба с водоросли*ва муссоном
 с грехом **ПО** ~~полам~~ первородным среди искушённых
 СОСновы гнилой толковщины по Босху
 (по Брайлю на ощупь)
 в числе ^{экстре} ~~малом~~ ступая свои величины отходим
 от будем свой срок упрощенья по грешности ^{рая} ~~имножа~~

Арсен МИРЗАЕВ

/ Санкт-Петербург /



* * *

так хочется
иной раз
погрустить
поплакать
попереживать

но — не могу
увы —
не получается:
возраст
знаете ли...

В лесу

иду по нему:
одни щиплют
другие толкают
третьи пинают
четвертые приглядываются
пятые принохиваются
шестые могут и укусить
ну а седьмые
возьмут да и «нахлынут горлом»
ненароком...

вот каковы слова
в лесу словесности русской

* * *

Книга!
торжествуй, КНИГА!
В мире,
где «нет Гоголя»

больше
 чем «Гоголь есть»
 я приобрел твой
 НОС
 совершенно бесплатно
 (даром —
 абсолютным Даром!).

Верчу им
 куда хочу
 и никому
 не плачю...

Небокр

Г. А.

под пение далековатых струй
 мы шествуем
 на озеро Боруй.
 идем по песчаной дороге:
 мы
 наши руки и ноги.

раз-два! ать-двы!
 внутри Неба головы.
 облака вокруг лежат
 очень тихо
 не визжат
 от восторга
 и на нас
 мириады серых глаз
 устремляются прилежно:
 счастье — это неизбежно!..

Приближаясь и становясь все дальше и дальше...

автоматическая ветка метро
 стала
 на одну остановку ближе
 к дому где я живу
 приезжая в Париж
 вернее
 в IVRY-SUR-SEINE
 Мария Кюри
 стараниями французских феминисток
 наконец-то воссоединилась с мужем —
 в названии «PIERRE ET MARIE CURIE»

теперь Пьер не один
и ему не так скучно
как прежде:
вместе с Марией
они украшают
предпоследнюю станцию метро
своими
учеными именами

отчего же я
никак не могу
стать ближе к себе самому?
может быть потому
что я обращаюсь к нему
по-русски
а оно ко мне
исключительно по-французки —
мое пресловутое «я»?..

Зверьки

они живут
во столицах —
Киев
Москва
Санкт-Петербург...

уже
не в аулах
уже
не в улусах
не в кишлаках

и бывших своих
соплеменников
сородичей и земляков
называют *зверьками*

они язык свой не знают
или давно забыли:
пусть говорит на нем
быдло —
зверьки
что остались
в горах ли
в степи ли
в пустыне —
в гетто своем
зверьковском

они дети
богатых родителей —
банкиров
политиков
дипломатов
плющат столичный асфальт
колесами джипов
звероподобных

они служат
сильным мира сего
и ради карьеры
готовы
по трупам идти:
без колебаний
без сантиментов —
легкой походкой

и никто их
не остановит
им не указ
ни дядя
ни брат
ни сестра —
из зверьковских
аулов
улусов
и кишлаков

куда им
зверькам
до ЗВЕРЕЙ настоящих!
и что у них есть
кроме их чести дурацкой?
— одна пустота:
ни денег
ни связей
ни джипов
ни уменья
по трупам ходить...

* * *

*в желтом доме
осени
чертиков зеленых
поймать пытаюсь.
о, грусть!*

Борис Ванталов

/ Санкт-Петербург /



Отрывки из Ничего

КАК УСЫНОВИТЬ НЕНАВИСТЬ

Я знал человека, который должен был обязательно кого-то ненавидеть. Эти ненависти он переживал как другие — влюбленности.

Поскольку он не был однолюбом, скорее, наоборот, объекты ненависти менялись часто.

Круг знакомых был ограничен, и ему приходилось, когда стрелка по циферблату его связей описывала круг, ненавидеть некоторых по второму разу.

Драма была в том, что он ненавидел конкретных людей, а насколько было бы проще сосредоточиться на галактике. Такую ненависть исчерпать сложнее. Он мог бы пестовать ее всю жизнь, как собственного ребенка.

СОРОК ЛЕТ СПУСЯ

Мне позвонила приятельница через сорок лет после того, как мы расстались. В этом астрономическом промежутке ни разу не виделись. В молодости она была привлекательной, начала под ведьму. Теперь старшей дочери за тридцать, сыну — шестнадцать. Я боялся этой встречи по эстетическим соображениям. Зачем нарушать гармонию воспоминаний созерцающим руин былого?

Она настаивала. Мы встретились.

Дама почти не изменилась. Эстетика не пострадала. Но я испытал страшное разочарование.

Как же так! Прошло сорок лет, а она не изменилась. Все те же словечки, все те же приемы, все та же ведьма.

SOS

В мозгу, полученном мной, атрофирована ностальгия. Ему всегда была непонятна эта возня с одноклассниками, сослуживцами. Бесконечное фотографирование белковых тел.

Альтернатива вынужденному общению — встреча. Которая «бывает только раз». Вот здесь надо проявить тонкий слух и цепкое зрение, быть начеку.

Неважно, чем обменяются двое, словами или продуктами внутренней секреции. Главное, не проморгать со-бытия, со-ития, со-гласия. Не пропустить этого редкого сигнала SOS нашего одиночного вселенского плавания.

Ты

Почти всю жизнь проработал сторожем. Изучал одиночество.

Постепенно под воздействием последнего начал дистанцироваться от я. Ведь оно остро необходимо только когда мы с другими. Метим им суверенную территорию себя. Когда один, это не так существенно. Остраненное созерцание себя любимого полезно каждому. Ты начинает понимать, что терять нечего.

Ты — свободно. Я — никогда.

БРЕДУ — БРЕД!

Мой покойный приятель Борис Александрович Кудряков любил выпить. Иногда у него бывали *заунои*. Находясь в таком эйфорическом состоянии, стоял он однажды в своих пенатах (на углу Свечного и улицы Достоевского) с бутылкой пива в слабеющих руках и любовался закатным освещением пространства, как и положено гениальному фотографу. На беду некий прохожий полюбопытствовал у него, который час. Нарушителю медитации был вынесен суровый вердикт. Пошел вон, гнойный пидор!

На следующее утро Борис Александрович стоял в той же позе на том же месте, любясь восходом. Тут к нему подошел человек, и сочувственно глядя снизу вверх, сообщил, что вчера он оскорбил главного мафиозо района, поэтому дни его сочтены.

Спустя пару суток после смертного приговора я был вызван на Свечной. Картина, которую застал там, была нерадостной. Борис Александрович, тревожно озираясь, сидел в трусах и майке на неприбранной кухне. Его потряхивало. Он больше не пил. Ждал нападения.

Районная мафия мерещилась ему повсюду. Он слышал, как в шесть утра они обсуждали под окнами бельэтажа способы его физического устранения. Голос у фотографа дрожал. Дело было плохо. Острый алкогольный психоз.

Я понял одно: надо перевести стрелку. Любыми способами вытащить Кудрякова из осажденной его бредом берлоги. Поэтому начал обсуждать с ним план бегства.

Как перехитрить бандитов?

Во-первых, надо было изменить внешность. Пришлось пожертвовать бородой и усами. Дрожащими руками они были сбиты. Кое-где зардели порезы.

Во-вторых, прикид. Борис Александрович предпочитал ходить в прозодежде. Зная об этом, я однажды экипировал его сверху донизу, заведя на склад обмундирования Вневедомственной охраны (в которой тогда служил). Он получил амуницию за несколько лет (новое полагалось каждый год). Особенно меня восхищали фиолетового цвета хлопчато-бумажные носки, их выдавали в невероятных количествах. Вода, в которой они стирались, превращалась в чернила, ею можно было писать.

Сейчас надо было сменить имидж. С трудом были найдены черные полуботинки, я заставил приговоренного начистить их до блеска. Трудотерапия! Более или менее приличные брюки не сходились на животе, ремень разрешил проблему. Пиджак, белая рубашка, галстук... Когда мой приятель облачился во все это, я пожалел, что не фотограф. Для большей достоверности (хотели изобразить доцента) взяли старый кожаный портфель, в который Борис Александрович положил обрезок железной трубы, завернутой в газету.

В-третьих, сама эвакуация. Чтобы быстро смыться, нужна машина. Но денег у нас мизер. Тогда я уговариваю мать жертвы сыграть немощную старушку, которую якобы надо отвезти на Московский вокзал, расположенный в двух шагах.

И вот мы видим из окна, как к дому подъезжает заказанное такси. Впереди иду я под руку с Анной Николаевной, а сзади, тяжело дыша, весь в поту, нервно сжимая ручку портфеля, грузно ступает Борис Александрович. Ему грезятся автоматные очереди, стальной блеск молнии финского ножа, смачный хруст черепа, проламываемого бейсбольной битой...

Но вот мы запрыгиваем в такси и через пять минут оказываемся на вокзале. Вот уже погружаемся не в сумрачные пещеры Аида, а в залитое светом метро. Я вижу, как психоз немного ослабевает, и щеки смертника начинают розоветь. Потом мы сидим на кухне моей новой квартиры. В окне фехтуют строительные краны. Я устало пью разведенный спирт. Кудряков дует чай. Отсюда он поедет на месяц в деревню.

Бреду — бред!

АМ-АМ

Мне нравится Введенский. Простыми словами он поведал, что мы ничего не значим. Это грандиозное открытие могло бы привести к левитации, а вместо этого Введенского

убили. Значащие не могут не убивать, иначе они не значат. Уничтожение — высшая форма знания значащих. Оно пожирает само себя.

Ам-ам.

КУЧА-МАЛА

XX век отдаляется со страшной скоростью. Мы перестаем там различать нас, выживших в XXI-ом. Прошлое уплотняется в энциклопедиях. Вместо живых людей букашки знаков. Хорошо, когда букашки живые. Но таких мало.

Куча-мала.

КО-КО-КО

Почему нам выдали для наших оболочек малую, видимую часть материи? Некоторые полагают такую форму высшим проявлением сущего. Отсюда гомерическое обожание самих себя. Главный трофей этого акта — серьезность.

Надувать щеки воздухом речи, выдувать мыльные пузыри смыслов, соревнуясь, чей пузырь тяжелее.

Переходные формы всегда принимались за вечные.

Наша форма исчерпана.

Современниками жизнь без будущего еще не отрефлексирована.

Толчая продолжается. Она даже набирает обороты. Общение в интернете уже не требует напряжения гортани. Теперь сотрясается не воздух, а ничто.

Может быть, ничто — это просто скорлупа, сквозь которую новая форма проклюнется в нечто.

Ко-ко-ко

нец

авг. 2010

(Продолжение следует)



Мария КАМЕНКОВИЧ

/ 1962 – 2004 /



Мария Каменкович (Мария Владимировна Трофимчик) родилась 5 февраля 1962-го в Санкт-Петербурге (так сейчас называется ее родной город) и покинула этот мир 15 декабря 2004-го в Регенсбурге (Германия). Даже названия городов, где началась и закончилась ее земная жизнь, рифмуются. Рифмы и ритмы, стихия языка, прежде всего русского и английского, — вот что было ее достоянием. В слове нашла она свое призвание и через слово смогла выразить свой талант. Поэт, эссеист, переводчик, филолог, она была полна творческих замыслов. Редкостная человеческая доброкачественность и нравственный императив, берущий энергию из духовного источника, были сердцевиной этой яркой личности. Так рано, на высоком взлете, она ушла от нас!..

Стихи разных лет

* * *

*...тысячерукой аллеей месс
как докричаться до Божества?..*

1981

Аллеей лип, аллеей месс
Я к небу не могла поспеть.
Как я зависела от мест!
Как я побаивалась петь!

И вот в провинции времен,
На складе вырожденных век
Как ворон голубь воронен,
И плохо смотрит человек.

Аллеей мест, аллеей пор
 Я мнила душу убересть! —
 На здесь и страшно и теперь
 Я белый поднимаю меч.

1984

* * *

Благодарю, Господи, за ночные ключи стихов,
 и за кромку леса в окне, и за Ченстохов-

 ские напевы, и за берега Эйре,
 и за крик ирландских чаек в моем декабре,

 и за теперешние мысли, когда отходить ко сну,
 и за ребенка, который ищет в окне луну,

 и за память о друге, который жив, но убит,
 и за неведомое завтра — на кромке его разбит

 мой шатер кочевника, кочующего во временах...
 Благодарю, что одел, накормил и удержишь на раменах.

Но страшней и слаще простой приборой облаков
 у скалистых окраин земных веков

для души моей, нежели день со днем,
 и боюсь, что дело мое сгорит огнем

как построенное на песке,
 и суров Твой взгляд,
 не пуская, о, не пуская меня назад.

1990–1993

* * *

В бесконечном бездонном
 в совпадающем со Вселенной
 мокром ночном ленинграде
 сгорбившись и поднявши воротники
 вдоль потусторонних улиц
 освещенных нездешними фонарями
 уходят люди
 каждый из них совпадает со всей Вселенной
 или даже больше нее

мироздание уместается в их кармане
их дневная жизнь
и дневная жизнь ленинграда
никакого значения не имеют
безвоздушный кафка
переполненные уродами вагоны метро
службы в бюро в кочегарках
мусор бирюльки тоска
ночью город равен Вселенной
и они уходят поднявши воротники
спрятав руки в карманах
в направлении к окончанию тысячелетья
где мерещится хоть какой-то рассвет
но попробуй переживи четыре часа утра
вот они и не переживут

я стою на балконе девятого этажа
мне одиннадцать лет
я беззвучно кричу им с башни
оглянитесь эй эй прихватите меня
прихватите меня я с вами я с вами
но они не слышат
да и если бы слышали не оглянулись
как же как же нужна я кому-то
(это впрочем только с маленькой буквы...)

грустные люди уходят поднявши воротники
мимо бетонных заводов ночных заборов
под дождем без зонтиков руки в карманы
я смотрю им вслед с перекрученным сердцем
кто-то будет вот так вот когда-нибудь провожать и меня
уходящую в ночь неизвестной сырой дорогой
в глубину изменившегося петербурга

1974–2004

К юбилею Пушкина

Великодушнее имени «Пушкин»
Нету на свете. Кем бы мы были,
Если б не он? Мы бы затхлым и скучным
Были народом. Кого б мы любили?

Только святых своих и комиссаров?
Вот переводчики б цены взвинтили!
Писарева? Благородных гусаров?
Золотоустых витий Византии?

Моцарт, повеса, болтун, щелкопер, и —
 Вдруг вместо кенара — ворон в вольере...
 Нами бы правил шемякинский Петр,
 Жуткий Нечаев и мрачный Сальери.

Если бы Пушкина не было в мире —
 Мы на Державине бы продержались,
 На Шакеспере, Дидроте, Омيره.
 Мы бы смирились, утихли, ужались.

Нам бы хватило духовного хлеба.
 Мало ли смертных, с Пегасом летавших?
 В вечной ночи нам светили бы с неба
 Звезды поэтов, ЕГО не читавших.

19 декабря 1999 г.

* * *

Взгляд через дождики стекла:
 Эта ночь еще не светла.

Лишь за картонным домом листа
 Брежит первая пустота.

Взгляд в себя: по чужим стопам.
 Угол уклона медлен.
 На что уповать? — взойдет Пустота
 И озарит предметы.

1980

* * *

Во сне судьбу мою решили,
 Как мне мечталось, окаянной.
 Приснилось и тебе: с вершины —
 Все купола да океаны.

Но кто считал глаза у ветра?
 Наречено ли ветру — имя?
 Дивясь, свой сон он мне поведал,
 А я — лукавая — утаила.

Вчekanен час в annалы неба
 И Памяти о Человеках —
 Прорвавшийся в отсрочку гнева,
 В отсрочку пятаков на веках.

Глаза упрятав, отступаю
 По кровельной, гремучей жести.
 За спину — руки... — Вместо пая
 В твоей судьбе — Преображенский

Собор — меня да примет в долю,
 Да вздует в тайных горнах пламя —
 И я с холмов увижу волю
 И океаны с куполами.

1985

* * *

Все, приплыли. Не помнишь причала?
 Отплавал-то отсюда, поди...
 Святость, это — конец и начало.
 Жизнь — она целиком посреди.

Святость — альфа, она же — омега,
 С марафоном на месте тире.
 Святость — слаще сгущенного снега
 В раскаленном июльском дворе:

В той пустыне, что не опустела,
 Где, в пространство уставивши взгляд,
 Бессловесные радости тела,
 Словно суслики, молча стоят.

В той пустыне, где весел Иуда,
 Где не гаснет коричневый свет,
 И кричит мегафон ниоткуда:
 «Времени нет!»

*июнь 2003,
 день городского марафона*

Воспоминание об Алтае-2

Гора, хранящая наш сон,
 Встающая из мутнозеленых волн!

...К реке упал каменистый склон,
 Напротив — туманом спеленут холм.

Снега — на тайное слово зари —
 Багряным донизу озарясь...
 Так смотрит в очи царицы — князь.
 Так смотрят в очи богам — цари.

— Примем дня чистилищный сор,
 Претерпим помыслов школьный гам.
 Гора, хранящая не сон,
 Но время, в которое бденье нам
 Назначено...

июнь 1986

* * *

Б.Г.

Город глубокий корабль
 отправляется в плаванье
 каждую осень
 Облака простирают ладони
 ограждая от лета.
 Господи, мы опять Тебя вспоминаем,
 правя к Северу, правя в дали и глубин.

Старый голод — над нами — звездой в небе,
 Тайный союз — в Твоей, Господи, власти:

смеркнется непроницаемое лето —
 цепью белых огней вспыхнем на перекрестках;
 из прозрачных глубин,
 из Твоей, Господи, мысли.

Город труби глубокое плаванье: мы отплываем.

*

Старый союз — над нами — звездой в небе,
 тайный союз — белый свет перекрестков.

сент. 1988

* * *

Гражданка. Ночь. Пустырь. Окно.
 В душе — такая злая вьюга!
 Себя оплакала давно,
 Теперь оплакиваю друга.

Жизнь, если длится, то калым
 Берет борзыми ли щенками?

Какая горькая полынь
Подземным озером — под нами!

Она стоит в конце дорог
С уже пригубленную чашей,
И вкось расчерчен потолок
Последней светописью нашей.

1990

* * *

Когда друзья пировали в среду
И блудница разбила сосуд с благовоньем,
То в собрание вошла с косою невидимая Смерть,
И Смерти вышел навстречу Бог.
А Человек понял, что он остается один
И его не поймут те, кто идёт жить,
Ведь того, кто прощается, понимают с трудом.
.....

* * *

Не оглянись! Ни в профиль, ни на волос.
Ничто да не удержит край одежд.
Чтобы вернуть мой настоящий голос,
От многих надо отойти надежд,

Начав с надежды на его возвратность,
На невозбранность обычных дел
И на простую, для сугрева, радость,
На коей мех еще не поредел.

1990

1978 год

запах мокрой шерсти,
смоленых лыж,
неотопящиеся каминны
в комнатах где-нибудь у Пяти Углов,
наст с хвоинками,
какая-нибудь любовь,
присосавшаяся, въевшаяся во все дневники,
посиделки и вечеринки, куда меня не берут,
но куда я очень хочу, —
больной, надоевший зуб...

Но из трубы, как от жертвенника,
поднимается небывалый дым,
в школе проходят Блока,
а за спиной у Блока больше, чем видит он сам,

И я взмываю
надо всем этим
к неведомым небесам,
плывущим как фраза:
«У Господа тысяча лет —
как один день».

*

И я не знаю, пролью или нет слезу
над тем, что раскинулось там, далеко внизу.

29.04.2001

* * *

*«...от дерева ли
зверя ли какого
невидимыми островами
опасное для разума плывет»*

Г. Айги

...И всякий один остается.
В камерке лоскутной темно.
И вечная бабочка бьется
В засиженное окно.

Ее выгонять бесполезно:
Она остается всегда.
И душен мой сон и болезнен:
За ним и спешила сюда.

И полночь сама, раскошелясь,
Меня принимает в дому.
Я вижу смарагдовый шелест,
Я слышу багровую тьму,

И чаю вестей заоконных...
Но ряской подернулся пруд,
И в красных — сверчки — балахонах
В заброшенном поле растут.

1984

* * *

Мне не казалось, будто вино
ко мне испытывает влюблённость,
Или будто меня привлекают травы,
Или будто мир меня зазывает в танец.

Даже наоборот — ели были ко мне суровы,
И я бы прошла насквозь, аки посуху, не метаясь,
Но меня разорвали надвое сестры — ревность и леность

.

Нет, не шутка, не шутка всё, что было.
Этот лес вещей и прозрачный свод с зеленой точкой Денеба.
Для того я друзей любила,
Для того забывала любимых,
Чтобы смотреть в зарифмованное на неё, невечное небо.

.

Значит, я плохой монах.

Приснившееся стихотворение

Небеса зачитали у человек
книгу Грааля.
Вот лежит она в складке неба,
Соскользнуть на землю не может.
Слева — бескрайние облачные холмы с позлащенными лбами,
Справа — безбрежное синее море,
все в белых барашках.
Вот лежит она там
и никому не мешает,
И не то что о ней никто не помнит, —
Просто никто о ней и не знает.

То ли она — Голубиная Книга,
То ли не более чем один из ее списков,
Или же Голубиная Книга — список с Книги Грааля?

На закате приоткрывается складка неба,
И отщелкиваются на обеих книгах золотые застежки,
И пытаются обе книги
перевести себя в золотое молчанье,
В разливанное море лучей
Над судьбами человек.

Июнь 2003



Генрих Киршбаум

/ Регенсбург /

Эсхатологические ландшафты. Закат Петербурга в поэзии Марии Каменкович¹

0. Постсоветская поэзия представляет собой чрезвычайно сложное образование. Перед нами не только неслыханная полифония поэтических поколений и традиций — меняются сами формы существования поэзии, ее самосознание. Информационно-технические новшества приводят к децентрализации литературного процесса; интернет, фестивали Poetry-slams и другие лайф-перформансы продолжают раздвигать жанровые и медиальные границы современной русской лирики. В таком положении легко потерять ориентир. В 1990-е годы, особенно после смерти Бродского, в тени которого оказались многие поэты-современники, с опозданием началась рецепция поэтов, которые родились в 1940-50-е (Кибилов, Гандлевский, Седакова, Шварц и др.) и чья поэтическая молодость пришлась на 1970-1980-е годы. Сложнее обстоит дело с «канонизацией» их младших современников и учеников. Одним из таких полузабытых поэтов является Мария Каменкович (1962-2004). Внешние факты ее литературной биографии скупы: первая книга стихов — «Река Смородина» (1996) вошла в шорт-лист премии «Северная Пальмира» за 1998 год. В 1999 году Каменкович выпустила вторую книгу стихов — «Михайловский замок» (1999). Несмотря на то, что в 2003 году в издательстве «Алетейя» вышел сборник стихов Каменкович «Дом тишины», а в 2004 году, году смерти, ее стихи были включены во репрезентативную ан-

¹ Данная статья представляет собой письменную версию доклада, сделанного на конференции «Имидж — диалог — эксперимент: Поля современной русской поэзии», прошедшей 17-20 марта 2010 года в г. Бернкастель-Кус под Триром (Германия). Материалы конференции предположительно будут опубликованы отдельным научным сборником под редакцией Марион Рутц и Хенрике Шталь в 2011 году.

тологию «Освобожденный Улисс» (2004а) и незадолго до смерти появилась подборка в «Новом мире» (2004b), стихи Каменкович, во многом из-за эмиграции и ранней смерти, остаются известны лишь очень узкому кругу критиков и коллег. В дальнейшем мне хотелось бы восполнить этот пробел. В разговоре о поэзии Каменкович мне хотелось бы сконцентрироваться на идейно-образной доминанте ее лирики, так или иначе связанной с образом заката Петербурга.

1. В творчестве Каменкович петербургская тема доминирует и заявляется программно: вторая книга стихов называется «Михайловский замок» (1999), последний прижизненно составленный сборник — «Петербургские стихи» (2005); «Книгой петербургских закатов» (2000) озаглавлено главное автопоэтологическое эссе Каменкович. Вот характерный отрывок из краткой автобиографии — аннотации к сборнику «Дом тишины»:

Мария Каменкович родилась в 1962 г. в Петербурге. Закончила 470 математическую школу. Училась в литературном объединении В.А. Сосноры, которое располагалось в Доме Культуры им. Цюрупы, что на Обводном канале. Второе место учебы — семинар по семиодинамике Р.Г. Баранцева. Закончила университет в звании старшего лейтенанта запаса по математической лингвистике. Работала в оккупированном инженерии Михайловском замке. Уволилась оттуда в годовщину смерти Павла I. Потом учила детей английскому языку в клубе табачной фабрики им. Урицкого, что на Васильевском острове. Кроме переводов книг Дж. Р.Р. Толкина и комментариев к ним опубликовала две книги стихов [...] (Каменкович 2003:2)

Уже в этой краткой автобиографии Каменкович локализует себя в Ленинграде-Петербурге, смешивая простой детализм с мистикой петербургского текста (ср. Феншель 2005:3). Внелитературная биография играет свою конструктивную контрастную роль в создании поэтической (анти-)биографии. Матлингвистика и семиодинамика контрастно дополняют нулевую литературную карьеру, армейское звание — абсурдизм и экзотизм, часть того «советского», которое входит в картину мира Каменкович. В этом ряду контрастирующих биографических линий нужно рассматривать и сравнение-смещение поэтической, переводческой и математической деятельности. В контексте разговора о петербургской теме у Марии Каменкович для нас важно и центральное для ее поэзии смещение петербургского и ленинградского: Дом культуры имени революционера-партийца Цюрупы и табачная фабрика Урицкого демонстративно называются в одном ряду с Михайловским замком. При этом поэтесса родилась анахронически «в Петербурге». Это не просто контраст: ленинградское в мире Марии Каменкович выступает не столько противоположностью, сколько усилением и проявлением изначальной эсхатологичности Петербурга.

Вся сгорбленная, старая, сырая,
 Лев на крюке как ворон открылен, —
 Венеция, подол не подбирая,
 Идет-бредет из мира в океан.

И брат ее, Петрополь, не в убытке:
 Сквозь шпиль в небо впрыскиваем он,
 Пока ему фабричные ублюдки
 Заламывают руки с двух сторон.
 (Каменкович 2003:49)

Мы оставляем здесь в стороне уже топосное сравнение Петербурга и Венеции, кульминацией которого был петербургско-венецианский текст Бродского; возьмем вторую строфу; по внутренней ослышке шпиль — шприц создается визуальная метафора: питерские шпильки вспрыскивают(ся) в небо как шприцы; на то, что это шприцы наркоманские косвенно указывает следующий стих, в котором появляются «фабричные ублюдки». В почти виньеточный образ питерских шпильки внедряется петербургско(ленинградско)-фабричный элемент¹.

В этом стихотворении для нас важна и сама панорамность Петербурга, взгляд на город с птичьего полета. «Фабричные ублюдки», Охта и другие районы города как бы заламывают руки центральному Петербургу. В этом же четверостишии присутствует и петербургское небо — лейтмотивная метонимия эсхатологичности Петербурга Каменкович. Среди многочисленных мифов и образов петербургского текста Мария Каменкович избирает апокалиптический образ заката над Петербургом, который является одновременно и закатом самого Петербурга. Обыгрывая паронимию «закат — запад», Каменкович пишет: «Петербург — окно не столько на запад, сколько в закат» (2005:77). Конечно, в данной формулировке присутствует и отсыл к «Закату Европы», однако сама тема заката подается Каменкович вне культурологической дикции Шпенглера. Закат является для Каменкович своего рода метафорическим и метонимическим залогом конца света. При этом Каменкович работает со своего рода идиомой заката как конца, т.е. реализует прямое значение образа².

¹ Петербург Каменкович включает и пригороды, от Стрельны («Стрельна. Белая ночь», 1996:74-75) и Пушкина («Царское село. В поисках храма Софии», 2003:95-99) до Токсова («В сторону Токсова», 2003:139-141).

² См. иллюстрацию Ю. Штапакова для обложки сборника «Дом тишины» (2003). По нашим наблюдениям, закат Каменкович все интенсивнее локализуется в петербургском городском пейзаже в лирике 1990-х годов, в то время как во многих стихотворениях 1980-х годов он еще часто «абстрактен» и не привязан к конкретной топике, как, например, в стихотворении «Люди забудут...»: «Люди забудут —/ что ж,/ настанет очередь неба:/ слабыми облаками напишет лик херувимов,/ птиц и ангелов,/ летящих к холму Заката,/ Суд и Ангелов напишет древнюю вапой,/ движимую икону Преображенья...» (1996:101).

Закатная тема заквашивается на ленинградско-портовой:

О Питер в портах, перерытый до труб,
До всклянь израсклеванных инфраскорлуп!
Здесь странно извившись, в стеклянном чаду,
Как все остальные, я в стельбу уйду.

[...] Вотще, Диотима, хитон твой багрян!
Где башни стояли — там пропасти ям,
И ржавые трубы змеятся в грязи,
И ты ничего не узнаешь вблизи.

И страшным соблазном желтеет заря [...]
(Каменкович 2003:59)

Мы оставляем за кадром мандельштамовские подтексты этих стихов, от ритмики и «желтой» образности «Ленинграда» до мотива спуска назад по эволюционной лестнице «Ламарка», хотя их интертекстуальность существенна именно для ленинградской, «зловещей» составляющей питерского текста Каменкович. Для нас здесь важно не только упомянутое выше внедрение ленинградского (и, тем самым, советско-урбанистического) в петербургский ландшафт как своего рода парс про тото апокалипсиса¹, и даже не знаменательная скляночно-колбочная и трубная мезансцена с возможными отсылками к Зоне в «Сталкере» Тарковского, но и сам постоянный переход от городских картинок или панорамы к собственно зарево-закатной образности². При этом в стихотворении «О Питер в портах, перерытый до труб...» даже образ труб оказывается в силу своей полисемичности многофункциональным, работающим на эсхатологическую доминанту поэтической дикции Каменкович³.

Образ заката и закатных облаков над Петербургом становится ключевым уже в первой половине 1980-х годов, вот один из многочисленных примеров:

Облака облепили тускнеющий город,
встали дозором над всеми его восьмью углами,
дышат морским ветром,
ключьями садятся на железную рухлядь крыши [...]
(Каменкович 2005:57)

¹ Ср. описания Ржевки, Гражданки и Пискаревки в стихах начала 1990-х годов (2004a:137). В этом смысле Каменкович работает с актуальной в первые постперестроечные годы тематикой и поэтикой чернухи, конечно, по-своему, внедряя ее в свой, эсхатологический мир.

² Ср. также лейтмотивную линию «развороченной зари» в стихотворении «Приду, развею и зарю...» (2003:61-62).

³ В художественном мире Марии Каменкович есть и другие трубы, трубы с большой буквы; ср. эсхатологическо-апокалиптические коннотации образа «Дня Трубы» в стихотворении «Сугубо городское, петербургско-...» (Каменкович 1999:27)

Знаменательно в данной связи обнажение «закатного» приема в цикле стихов (поэме) «Коридор»: «Но солнца оклик ярко-красный/ Среди строфы меня застиг» (2005:35). (Авто-)поэтология переплетается с эсхатологией. В своем эсхатологическом письме Каменкович сообщает зарево-закатной образности метапоэтическое измерение:

Просеивать бесполезно
Песок из Святой Земли:
За каждой песчинкой — бездна,
И в бездне той — корабли.

Расплавленной зарею
Плывут, как стихи, легки...
За каждой Святой Землею —
Святые Материки. (2004b: 111)

Здесь сравнение стихов с кораблями в бездне — не просто декоративный рудимент представлений о сакральности поэзии. Писание стихов, а это для Каменкович писание стихов о закате, метафорически и метонимически вписывается в эсхатологическую риторiku. Тут Каменкович выступает косвенным продолжателем русского, Вячеславо-ивановского символизма с его ницшеанствующей и соловьевствующей поэтологией: поэзия оказывается частью большего теургического действия.

Центральным в визионерских закатах Каменкович являются образы облаков. Вот одно из поздних стихотворений-обращений к Петербургу:

Облака твои исполинские
Держат меня в кольце,
В кулаке меня держат,
В грохочущей тишине.
Я в твоих закатах, как в бабочкиной пыльце.
(Каменкович 2005:67)

Эмблемой-эпиграфом к Каменкович можно было бы выбрать строки:

На легкой туче пролетая,
Районы Питера листая...
[...] На легкой туче, позлащенной
Закатом праздничным, — над черной,
Извивом, Мойкой, в безопасной
Дали, пасхальной и прекрасной [...]
(Каменкович 2005:73)

Перед нами — пасхальная эсхатологическая панорама Петербурга¹. Центральным объектом аллюзий и своего рода геологическим обоснованием облачной метафоры Каменкович является, безусловно, символика облаков в Библии. Бог шел перед израильтянами в образе облачного столпа, указывая им путь из Египта (Исх. 13:21). Знаком-проводником и символом божьего присутствия и величия облако является и в других текстах Ветхого и Нового заветов (Чис. 9:17-23, Мф. 17:5, От. 1:7, Мф. 26:64).

«Облачная» образность со своей стороны — часть закатной эсхатологической образности. Под эсхатологичностью мы понимаем здесь в первую очередь, принадлежность к учению о «последних вещах», петербургский закат, а Каменкович часто пишет закат с большой буквы, — это завет и знамение, залог не только грядущего Царства Божия, но и настоящего. Согласно христианской эсхатологии, приход Царства Божия понимается как процесс, начавшийся с инкарнации Христа. Царство Божие — *уже* и одновременно *еще не*. В христианстве эсхатология презентическая и футурическая одновременно, это начало конца, который начало, причем футуристическую и презентическую составляющие христианской эсхатологии соединяет третья временная-вневременная форма — императив. При этом Царство Божие, настоящее и грядущее, исполняется каждый раз во время соединения Церкви с Христом, — во время богослужений.

Вот характерная вариация закатной заставки в стихотворении «Письмо из Германии»:

[...] Облупленных пузатых балюстрад

Далекый край, трамвайных рельс, дерев
В Румянцевском саду, — и где, воззрев
Единожды на город, алый диск
Запахивает тучу; обелиск

Уходит в серый мрак; и вы, и вы,
Бредущие по берегу Невы, —
Вам сумерки грозят своим перстом
И беспасхальным будущим постом.

Но время не шагает по прямой,
Как в Эммаус, бредущие домой
От предрассветных ранних литургий!
Приветствуем же замысел благий...
(Каменкович 2005:76)

Существенно композиционное дополнение закатной темы: появляется герой, точнее, героиня — прихожанка, идущая с

¹ Ср. пасхальную топику в стихотворении «Дом тишины» (Каменкович 2003:57-58).

ночной литургии по Петербургу. Упоминанием эсхатологического Эммауса — места явления воскресшего Христа Каменкович библиеизует, евангелизирует питерскую топику.

Если любимый образ Каменкович — облака, тучи, облачи (поэтесса нередко употребляет церковнославянизмы¹), а постоянный мотив — закат, то важнейшим в эсхатологическом хронотопе закатного петербургского пейзажа Каменкович становится храм, как, например, в стихотворении «Спас на Крови в Петербурге»:

Для мурашей для нас маршрут
 Готов парадным показаться
 Оттуда, где среди машин
 Воссел, ослабившись, Казанский, —

Туда, — где Спас еще в лесах,
 Как муравейник необъятен...
 Закат над городом засох.
 Он желт, он прян, он неприятен,

Но щедро отражен водой [...]
 (Каменкович 2003:63)

Новизна петербургских пейзажей Каменкович состоит и в том, что Петербург предстает городом церковей². И в «храмовом» контексте Каменкович также интенсивно работает со смешением и контрастированием «ленинградского» и «петербургского», в данном случае, «петербургско-храмового». Показательно в связи с этим наслаиванием контрастов стихотворение «Еженощно...»:

Еженощно
 Исаакиевский собор
 Как гигантская тень приподымается в темном тумане.
 Ежедневно
 насупротив собора
 желтый босховский экскаватор
 с мертвым хрустом расправляет свои Богомолы крылья.
 (1994:86)

¹ Каменкович ресакрализирует поэтические архаизмы, «реабilitируя» их церковно-литургическое значение и помещая в их изначальный иератический контекст.

² Ср. также стихотворения «Леса на храме Воскресения» (1996:80-81), «Никольский собор» (1996:24) и «Пять храмов» (2003:73-74), в котором появляются Никольский, Владимирский и Воскресенский соборы, а также церкви Смоленской Божьей Матери и Святого Димитрия Солунского в Коломягах (ср. автопримечание Каменкович к этому стихотворению: 2003:152). Ср. также вариацию храмово-закатного пейзажа (на этот раз с монастырем) вне петербургского ландшафта: «Я человек травы да туч./ Вращает солнце толстый луч./ Душа огромна. Путь далек./ На буторке монастырек./ Любимых я пережила./ Запел закат, дохнула мгла [...]» (1999:80).

В данном стихотворении Каменкович параллелизируя оппозицию «ленинградское» — «петербургско-храмовое» с противопоставлением день — ночь, которое включает в себя заветную для Каменкович закатную тему. Каменкович любит варьировать этот мотив, как, например, в следующем стихотворении:

Белая ночь,
 Порт,
 Запах мыла и рыбы.
 На пустыре вчерашнем —
 Багровая церковь ликами всех времен...
 ...Окаменевшее солнце заката,
 выкаченное на окраину [...]
 (Каменкович 1999:63)

При этом ленинградско-портовое вновь оказывается вовлеченным в закатно-эсхатологический пейзаж Петербурга. Эта эсхатологизация встречается уже в самых ранних вещах Каменкович, как, например, в стихотворении «Знакомому буддисту» 1981 года:

Чуть свет растянется в порту —
 Туда несметное кочевье,
 Туда, где треть землян в по[r]ту¹
 Готовит Ноевы ковчег. (1999:73)

Таким образом, закат апокалипсиса локализуется в петербургско-ленинградском пейзаже, с панорамным видом на окраины или, наоборот, с перспективой от окраин к заливу. В центрах напряжения закатных пейзажей находятся храмы, из которых или в которые идет героиня стихотворений. Таков эсхатологический хронотоп Петербурга в поэзии Каменкович.

2. Поэзия Каменкович — теологична, и если ее идеи и ключевые образы корнями уходят в более или менее догматичную эсхатологию, то детали и конкретные образы заката и закатных облаков над Петербургом попадают и работают в первую очередь в ряду определенных поэтических и других литературных текстов. Мария Каменкович была не только практиком петербургско-закатной поэзии, но и ее, если так можно сказать, теоретиком. В дальнейшем нам бы хотелось обсудить генеалогию и автопоэтологию закатной тематики в творчестве поэтессы.

Смысло — и интертексто-образующим для Каменкович, несомненно, было поле английской религиозно-мистической ли-

¹ В книге (Каменкович 1999:73) стоит «порту», что, как нам кажется, является для Каменкович нетипичной тавтологической рифмой. По контексту подходит «в поту».

тературы, которую, от Уильяма Блейка до Толкина, Каменкович не просто знала, но и переводила. Нам представляется, что от Блейка (не только от него, но и от него, в частности) у Каменкович — поэтика визионерского колоризма в работе над религиозными, в первую очередь, апокалиптическими темами. Сама Каменкович как на «сообщника» и «единомышленника» ссылается на друга Толкина, Клайва Стэйплза Льюиса (Clive Staples Lewis), писателя, эссеиста и богослова (2005:78-79). Так, она цитирует в собственном переводе мысли Льюиса о «заре»:

Мысль о том, что заря может каким-то образом быть «отрежиссирована», что она может иметь ко мне какое-то непосредственное отношение, в те времена мне претила. Если бы я узнал, что тот или иной конкретный восход не просто «произошел», а был разыгран для меня нарочно, я был бы также неприятно поражен, как в тот раз, когда мышь-полевка, замеченная мной у изгороди в малолюдном месте, оказалась заводной игрушкой, выставленной на показ — то ли моей забавы ради, то ли — еще того хуже — в целях нравственного назидания... Какая пошлость! Какая невыразимая скука!.. (перевод Каменкович, цит. по 2005:78-79, прим.1)

Характерен комментарий Каменкович, в котором она толкует и развивает положения Льюиса:

[...] подставьте [на место восхода — Г.К.] «закат» — смысл не изменится [...] Разумеется, ни закат, ни восход, ни льюисов «ручеек в чащобе» — не декорации и не перчатки, которыми пользуются высшие силы для своих пантомим. Просто, если поднести магнит к оборотной стороне листа с железными опилками, что умеют делать и люди, опилки на это откликнутся, вот и все. (Каменкович 2005:78-79, прим.1)

Центральную роль в английской интертекстуальности художественно-мистического мира Каменкович — а под мистикой мы подразумеваем в первую очередь традицию христианской мистики вообще и ее эсхатологической ветви в частности — занимает творчество Толкина. Одно из закатных стихотворений («Я думаю, день, ты минул...») посвящено и обращено к Дж. Р. Р. Толкину:

Закат! Возглашай, итожа.
Ты жарок, торжествен, ал.
В той книге о кольцах — тоже
Закатом прожжен финал.
(Каменкович 1996:123)¹

¹ Мария Каменкович — при всем критическом отношении к экранизации «Властелина колец» (особенно по отношению к преобладанию батальных сцен) — была более или менее довольна картинами неба, закатов и облаков в фильме.

О значимости толкиновской линии для Каменкович говорит и тот факт, что этим «толкиновским» стихотворением она программно завершает свою первую книгу стихов «Река смородина», один из циклов-книг стихов Каменкович так и называется: «Переводя Толкина».

Знаменательно сращение православно-церковной и толкиновской тематики в стихотворении 1986 года «Предкам», в котором в новгородскую топику (Софийский собор, площадь Вече, паперть Троицкого Собора) интегрируются Мертвые Болота из «Властелина Колец» (ср. 2003:93-94), а в стихотворении «Зима. Моченая брусника...» тематизируется, как «мы [...] вдоль Крюкова в ночи бродили/ И Толкина переводили» (2003:145): Здесь толкиновские Черный Кряж и Гора Судьбы вписываются уже в петербургский ландшафт.

Эпиграфом из Толкина открывается также стихотворение «Когда мы вылупились в зиму...» (2003:147-148), в котором, варьируя толкиновский образ «тьмы туманов», Каменкович тематизирует рецепцию Толкина в России 1970-80-х:

И бес верстою наряжался,
И бдил, стокий и столичный,
И Толкином распоряжался
Гребенщиков единолично. (2003:147)

Эксплицитная и маркированная толкиновско-люсовская интертекстуальность поэзии Каменкович позволяет говорить о ее лирике — по крайней мере о ее зарево-закатной компоненте — как о своего рода неосимволистском поэтическом фэнтези — здесь мы в понятие фэнтези вкладываем в первую очередь теологически «мудрое» фэнтези в традиции Толкина. Конечно, было бы натяжкой говорить об эсхатологических городских ландшафтах Каменкович как своего рода апокалиптической фэнтези-поэзией как части актуального фэнтези-дискурса, но в то же время, было бы наивно маргинализировать эту связь. Из Толкина и Льюиса развились разные и разножанровые явления волшебного фэнтези, частью которого, пусть и очень специфической, является поэзия Каменкович (конечно, она этой принадлежностью ни в коей мере не исчерпывается). Место традиционной для толкиновского фэнтези нечисти занимает у Каменкович уже упомянутое выше урбанно-индустриальное. Как и в фэнтези, чудеса являются нормой в поэтическом мире Каменкович, хотя и здесь нужны оговорки: «чудесный мир» Каменкович не нарушает норм церковной эсхатологической поэтики.

Но какими бы важными не являлись для Каменкович догматическая эсхатология и английская традиция, ее стихи, при всем присутствии в них элементов английского популярно-теологического фэнтези, работают в первую очередь в интер-

текстуальном взаимодействии с петербургским текстом русской поэзии и его «закатным» разветвлением. При этом в своих автопозологических размышлениях Каменкович отмежевывается, с одной стороны, от традиции воспевания утренней зари (например, как у Вяземского в «Петербурге»), с другой, от тематизации белых ночей (приводимые самой Каменкович примеры «белоночной» поэзии: «Шествие по Волхову российской Амфитриты» Державина, петербургская поэма Лермонтова «Сказка для детей», «Белая ночь» Софии Парнок, «Белая ночь» Лозинского (2005:82)). Согласно Каменкович,

[...] мистика белой ночи никуда не зовет и не уводит — только «томит». Утренняя заря вызывает бодрые мысли о грядущем величии Петербурга и России. Белая ночь с ее двусмысленностями заставляет усомниться в этом бодром ощущении. Все зыбко, нереально, призрачно и так далее. Но на закате возникают совсем иные ассоциации — библейские, апокалиптические [...] (2005:83-84)

Каменкович ищет прецеденты закатной петербургской поэзии: в качестве «предтеч» своего закатного петербургского текста называет элегию «Рыбаки» Николая Гнедича (2005:83-84):

Вот солнце зашло, загорелся безоблачный запад;
С пылающим небом слясь, загорелось море,
И пурпур и золото залили рощи и дома.
Шпиц тверди Петровой, возвышенный, вспыхнул над градом,
Как огненный столп, на лазури небесной играя.
Угас он; но пурпур на западном небе не гаснет;
Вот вечер, но сумрак за ним не слетает на землю;
Вот ночь, а светла синевою одетая дальность:
Без звезд и без месяца небо ночное сияет,
И пурпур заката сливается с золотом востока;
Как будто денница за вечером следом выводит
Румяное утро [...] (Гнедич 1956:199)

Другим объектом автогенеалогии Каменкович (2005:84-85) является «Прощание с Петербургом» Петра Ершова:

Сокрылось солнце за Невою,
Роскошно розами горя...
В последний раз передо мною
Горишь ты, невская заря!
[...] О, не скрывай, заря, так рано
Волшебный блеск твоих лучей
Во мгле вечернего тумана,
Во тьме безмесячных ночей!
О, дай насытить взор прощальный
Твоим живительным огнем,
Горящим в синеве хрустальной
Блестящим радужным венцом!..

Но нет! Румяный блеск слабеет
 Зари вечерней; вслед за ней
 Печальный сумрак хладом веет
 И тушит зарево огней.
 Сквозь ткани ночи гробовые
 На недоступных высотах
 Мелькают искры золотые, —
 И небо в огненных цветах [...]
 О, не видать тебя мне боле,
 Святая нельская заря! [...]
 (Ершов 1976:150-151)

Насколько поэтически обоснованна такая конструкция генеалогии другой вопрос, для нас важно, что Мария Каменкович вписывает себя не в канонический петербургский текст, а в маргинализированный¹.

Согласно Каменкович, именно говоря о закатах Ершов и становится интересным, остальное скатывается в «навязшие на зубах шаблонные дифирамбы Петру и его многообещающему городу» (Каменкович 2005:85). Несмотря на это отрешение от дифирамбов Петербургу, нам представляется, и сама Каменкович продолжает именно одическую петербургскую традицию; христианский эсхатологизм не отменяет ее одичности; поэзия Каменкович является во многом своего рода расширением ра-диуса действия петербургской оды.

Связи с одической поэзией происходит не только через панегиричность, но и через колоризм, уходящий у Каменкович корнями не только к Блейку и раннему Зенкевичу, но прежде всего, к колоризму барочно-классицистскому, державинскому. Уже в начале своего поэтического пути, в 1983 году Каменкович написала «Оду XVIII»:

Тучки-кубики-просфорки,
 Демонстранты пред дворцом...
 Пли! — и, кратко вспыхнув, сферы
 Наливаются свинцом!
 Пышут — гаснут... — Кто напомнит,
 Что за кубарями туч
 Мириады перепонок
 Преломляют белый луч.
 (Каменкович 2005:14)

Хотя и здесь оказывается существенным, что тот же державинский колоризм, заимствованный из западной поэзии, разрабатывался, «русифицировался» на примере описания-воспевания Петербурга. С этим поздне-барочным колоризмом

¹ Ср. в связи с этим замечание Каменкович, что «и немногие примеры [закатной петербургской поэзии — Г.К.], в основном отыскивающиеся у поэтов „второго ряда“, очень важны» (2005:83).

оказывается связан и важный для Каменкович эмблематизм: облака ее закатного, эсхатологического Петербурга это не столько символы, сколько детали аллегорической и одновременно реалистической картинки.

В связи с отмежеваниями от предшественников характерно шутовское упоминание строк «Глядя на луч пурпурного заката...» Павла Козлова, известных из романса в исполнении Валерия Агафонова. Приведа начальные два стиха романса (2005:82), Каменкович пишет: «Ох, извините, это не та закладка» (2005:82). Упоминание Козлова и агафоновского романса не только полуиронично (или самоиронично), это и своего рода алиби, намек на то, что она знает и помнит об «опасностях» «закатной» темы, об ее клишировании в последующей после Ершова и Гнедича поэзии. Уход закатной темы из одической лирики через элегию в романс — пример-показатель ее автоматизации: деавтоматизацией (деавтомитизирующей «ре-одизацией») закатных образов и занимается Мария Каменкович.

В начале XX века закатная тема в русскую поэзию возвращается в лирике символистов, идейное родство с которыми Каменкович любила проговаривать. Особенный интерес получает в данной связи рефлексия Каменкович закатной темы в лирике поэтесс Серебряного века. Каменкович на знакомом, закатно-заревном материале рефлексировала собственное место в женской поэзии. И здесь мы наблюдаем сходные стратегии отталкивания и вписывания себя в определенную традицию. Выше уже упоминалось косвенное, через цитату, дистанцирование от Софии Парнок. В другом случае Каменкович проговаривает «положительную» связь своей поэзии с лирикой Елизаветы Кузминой-Караваевой, ренессанс рецепции которой можно проследить у современных поэтов и поэтесс с доминирующими религиозными темами. Каменкович озвучивает также связь своей поэзии со стихотворением «Белая ночь» Лидии Зиновьевой-Аннибал, в котором семантические акценты переносятся на закат, что открывает перспективны тематизации «иноного», «запредельности», «некоего „там“» (Каменкович 2005:82-83):

Червлёный щит тонул — не утопал,
В струях калится золотого рая...
И канул... Там, у заревого края,
В купели неугасной свет вскипал...

[...] Река хранит чудес отображенья.
Ей расточить огонь небесный лень...

Намеки здесь — и там лишь достижения» (Зиновьева-Аннибал 1999:243)

Здесь для Каменкович, безусловно, важна не только проговоренная связь с темой заката, но и не эксплицированное интертекстуальное самопозиционирование в «близии» Вячеслава Иванова. Поэзия, эссеистика и сама жизнь Вячеслава Иванова были предметом многолетних раздумий и штудий Каменкович¹.

Характерна и «вячеславо-ивановизация» закатно-эсхатологической темы в раннем стихотворении 1984 года «Стрельна. Белая ночь»: «Ночь декламирует стих Иванова [...]» (1996:74). Самому стихотворению при этом предшествует эпиграф из Иванова. Безусловно, главным проводником Иванова для поколения 1980-х являлся Сергей Аверинцев, сам опиравшийся в своем духовном и поэтическо-академическом пути на опыт Иванова. В то же самое время Каменкович не только прибегает к традиции Вячеслава Иванова, но и критикует некоторые аспекты ивановского религиозно-художественного мира. Так, процитировав «закатные» строки Иванова о заходящем солнце как об умирающем античном боге, Каменкович оспаривает ивановский мифологический подход к предметному миру:

Вся его поэзия расположена в ноуменальном мире, любая непосредственная встреча с миром внешним — только толчок, чтобы вылететь в мир идей. Все являющееся Иванов немедленно объясняет в терминах мифа. Это, конечно, имеет глубокий смысл. Однако Иванов никогда не поймает в свой поэтический сачок неведомую доселе бабочку [...] Разумеется, и мифы вечно новы, и к ним всегда полезно обращаться для лучшего понимания происходящего. Но опасно заключать себя в их стены — можно не услышать новостей с воли [...] (2000:222).

Каменкович критикует Иванова, но это — критика соратника и единомышленника, а не выпад извне. Сбывается прогноз Мандельштама, согласно которому, Вячеслав Иванов будет «в будущем более доступен, чем все другие русские символисты» (Мандельштам 2001:541). От Иванова у Марии Каменкович — не только сама духовно-религиозная направленность поэтического высказывания, но и уважение к технике стиха и редкое для поэта, осмысляющего свой религиозный опыт, богатство и мудрость словаря. Богословски образованным читателям и специалистам по православной эсхатологии еще предстоит выяснить вклад Марии Каменкович в художественную традицию православной апокалиптики.

Современные критики и исследователи² замечают новое напряжение между религией и лирикой в современной русской поэзии с ее плюралистическим разбросом от Сергея Аверинце-

¹ Мария Каменкович была большим знатоком и ценителем творчества Вяч. Иванова, в чем я имел возможность лично убедиться, когда мы совместно переводили написанное по-немецки эссе Вяч. Иванова «Историческая философия Вергилия» (см. Иванов 2008:135-167).

² Ср., например, Дубин (2008:6).

ва и Ольги Седаковой¹ до Сергея Круглова (2008), Константина Кравцова (2006) и Тимура Кибирова (2009). Если и не типологически сходное, то, по крайней мере, смежное открытие церковно-православной темы происходит и в прозе, например, в произведениях Майи Кучерской (2005, 2007). И если стихи Аверинцева это филологически рафинированные подражания компетентного культуролога и религиозного просветителя, а у Круглова (менее у Кравцова) авторское Я — Я новоиспеченного священника, то поэзия Каменкович эта поэзия прихожанки. В этот контекст, который можно бы было назвать «новым церковным» или «новым религиозным письмом», и попадает только начинающая идти к своему читателю закатная, пасхально-эсхатологическая поэзия Марии Каменкович.

Литература:

- Бибихин, Владимир 2009. *Грамматика поэзии*. Санкт-Петербург.
- Гнедич, Николай 1956. *Стихотворения*. Библиотека поэта. Ленинград.
- Дубин, Борис 2008. «Целлюлозой и слюной». Круглов, Сергей. *Переписчик*. НЛО, Москва, 5–20.
- Ершов, Петр 1976. *Конек-горбунок. Стихотворения*. Библиотека поэта. Ленинград.
- Зиновьева-Аннибал, Лидия 1999. «Белая ночь». Синельников, Михаил (сост.). *Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград в русской поэзии*. Санкт-Петербург, 243.
- Иванов, Вячеслав 2008. *Несобранное и неизданное. Символ*, № 53-54, Париж — Москва.
- Каменкович Мария 1996. *Река Смородина*. Санкт-Петербург.
- 1999. *Михайловский замок*. Санкт-Петербург.
- 2000. «Книга петербургских закатов». *Крещатик*, № 1 (7), 2000, 213–224.
- 2003. *Дом тишины*. Санкт-Петербург.
- 2004а. «Стихотворения». Кузьмин, Дмитрий (сост.). *Освобожденный Улисс. Современная русская поэзия за пределами России*. Москва, 137–141.
- 2004б. «Поле зрения». *Новый мир* (2004) №5, 110–115.
- 2005. *Петербургские стихи*. сост.: Ольга Бешенковская.
- Кибиров, Тимур 2009. *Греко- и римско-кафолические песенки и потешки*. Москва.
- Кравцов, Константин 2006. *Парастас*. Тверь.
- Круглов, Сергей 2008. *Переписчик*. Москва.
- Кучерская, Майя 2005. *Современный патерик*. Москва.
- 2007. *Бог дождя*. Москва.
- Мандельштам, Осип 2001. *Стихотворения. Проза*. Москва.
- Феншель, Демьян 2005. «Предисловие». Каменкович, Мария 2005. *Петербургские стихи*, 3–6.

¹ Из последних публикаций о поэзии Седаковой выделяются лекции В. В. Бибихина 1990-х годов, изданные в 2009 году (Бибихин 2009).

Дина ГАТИНА

/ Санкт-Петербург /

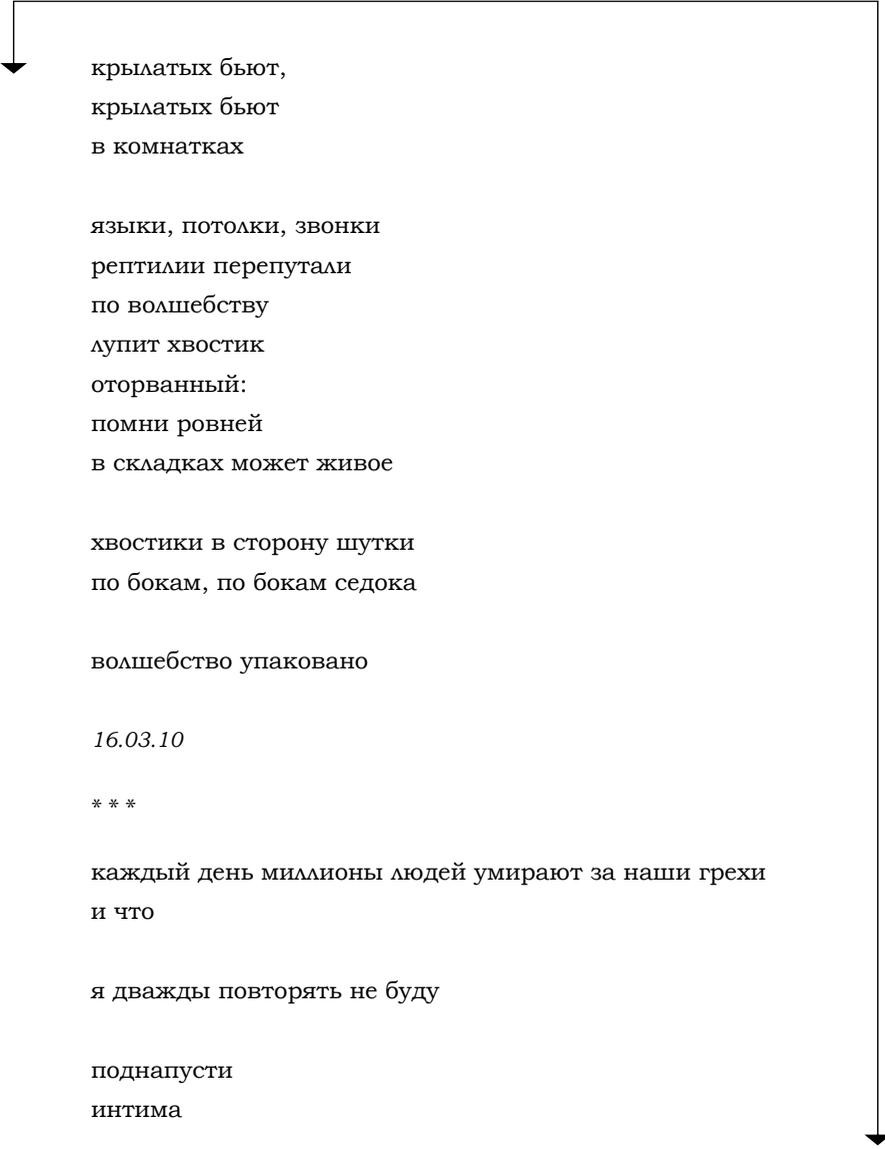


* * *

прошло море
своими руками
расступились миллионы дверей —
полвека дуплены, не роптали

в полвека в полусне
рептилии
вылупились
омывает пленка, как горят кадры
бережет глаза велики
из угла в угол язык
по крылам прям

со всех глаз в прошлое, вперед! на бордаж! в абортарий!
рот-пожар пожрать поржать
моргают килограммы дружб
мне руки жмут —
они больше, их больше
внутри
чтоб тебя
(тут двери дали мне течь, позвоночь)
нет углов у дерева — уголки



крылатых бьют,
крылатых бьют
в комнатках

языки, потолки, звонки
рептилии перепутали
по волшебству
лупит хвостик
оторванный:
помни ровней
в складках может живое

хвостики в сторону шутки
по бокам, по бокам седока

волшебство упаковано

16.03.10

* * *

каждый день миллионы людей умирают за наши грехи
и что

я дважды повторять не буду

поднапусти
интима

каждый день миллионы людей умирают за наши грехи
и что
ты повторяешься
и что, и что

они умирают —
— ты повторяешься —
— каждый день
повторяй за мной
и ничего

ты повторяешься каждый день и ничего

умирай за мной
каждый день,
летние скидки,
повторяй за мной:

летние скидки

кричи громче

17.06.09

Текст чудовищной силы

неприлично рассказывать, как как как ты кого-то любишь

неприлично рассказывать, как тебе хороший человек
сделал плохое

ему же еще с другими хорошими жить

жить

неприлично говорить, что тебе плохо
а может быть вообще неприлично, что тебе плохо
ведь в это время кому-нибудь хорошо

а кому-то гораздо хуже

возможно, следует говорить мимими

или о мировых злоключениях, несправедливости,
наших победах

неприлично говорить, что осталось полпакета кефира
и полпачки сигарет, а это значит
по-хорошему — пусть бы и не хватало на сигареты
а то какой кашель
пора, брат и сестра, задуматься о здоровье

по-хорошему, мир переполнен любовью
иногда и неловко ускользать из-под уважаемых пальцев
сердца перегружены, работают в безопасном режиме
мимими
чаша переполняется, яд капает
земля содрогается
(а ему каково, ей каково было?)

текст чудовищной силы оказался очень слабым
и как следствие неприличным

не следует путать лирического героя с эпическим
это эпический
он спускается в ад
он думает он исследователь
он спускается в ад без оглядки
вау

30.11.09

АНАТОЛИЙ ДОМАШЁВ

/ Санкт-Петербург /



* * *

Сиротеет Васильевский Остров,
не вчера ли звонил мне Тайгин —
летописец, музейный Апостол,
сам себя сотворил он таким.

Его дом за Летейской Смоленкой,
в окна смотрится кладбища край,
но Апостол — он занят нетленкой,
дневничок заполняя впопай.

* * *

Конструктивисты были модернисты
и дело их — не чепуха,
они — творцы, художники, артисты,
изобретатели стиха.
Творя себя по гамбургскому счёту,
на зуб, на вкус ища слова,
они так эту делали работу —
дымилась дымом голова,
сорочек тлели рукава.

* * *

Льётся в русские стаканы
итальянское вино:
из прославленной Тосканы,
и оно — красным-красно!
Раньше крымскую «Массандру»,
«Пино-Гри» или «Мускат»

мы в Гурзуфе с Александром
среди лавров, олеандров
пили, глядя на закат.

Без Канар и без Италий
с лёгким флёротом, как в дыму,
пили, жили и считали
мы за счастье быть в Крыму.
Догорал закат над морем,
уползал огонь во тьму...
И не знал я, что мне вскоре
пить придётся одному.

Едут скифы

Ковьялами прямо в мифы, бездорожьем по степи
на телегах едут скифы, с ними я — в одной цепи.
Пики подняты, как флаги — вверх щетинят силуэт.
Дети спят. Молчат собаки. И конца обозу нет.
Аж до звёзд в ночи скрежещет скрип колёс — телег и арб,
с неба Шлях Чумацкий блещет, освещая войско, скарб:
плуг, ярмо, секиры, косы, живность мелкую живьём,
в колее белеет просо — зёрна вмяты в чернозём.
Едут скифы ковылями: цоб-цобе, бычок, не спи,
низко виснет звёзд орнамент — поводырь в ночной степи.
Побывали за морями, повидали полземли
и всё ходим дураками, и всё топчем ковыли...

* * *

А было ведь: мели дворы,
и лестница блистала
от подчердачной конуры
и до полуподвала,
и на площадках этажей
прошедшей жизни блёклой
цвёл яркий праздник витражей
через цветные стёкла,
и знали дворники всех нас,
и управхозы тоже,
ещё дрова были — не газ,
на васильки похожий...

И вы были моложе.

* * *

— Как здоровье? — буркнет встречный
для приличия вопрос.
Я всегда на эти речи
балагурю — как матрос:

— Есть, при мне моё здоровье,
всё с собой — какое есть,
и не бычье, не коровье,
а другого и не снесть.

— Как живётся? — продолжает...
— Вроде даже ничего,
после кофе, после чая,
доложу вам — о-го-го!

Удивляется ответу
мой случайный визави,
а других-то тем и нету
у него, его язви.

«Надо ж, — думает и злится, —
всё такой же — на коне,
чуть живой, а гоношится...»
И завидует он мне.

Листая Циприана Норвида

...из пепла вдруг блеснёт алмаз.
Ц.Н.

И если уж сгореть
придётся дочиста,
то не алмаз
из пепла будет греть,
а та
оплавленная медь
нательного креста.



Ирина НОВИКОВА

/ Санкт-Петербург /

* * *

Стану ночью ворожить будет таять свечка
 Чёрный волос опушу в чёрное колечко
 Замутится ли вода если воск прольётся
 А тебе моя слеза горем обернётся
 Я сожгу плакун-траву по ветру развею
 Руки нежные тебе обвивали шею
 Встанет красная луна сон-травы нарву я
 Одурманю опьяню жарким поцелуем
 Приворотное сварю зелие хмельное
 Душу дьяволу продам быть тебе со мною
 С чёртом песни буду петь на метле покружим
 Ветер-греховодник мне нынче будет мужем
 Заморочу, закручу, заиграю, взвою,
 Иссущу и истопчу. Быть тебе со мною

P.S.

Утром продеру глаза, натяну халатик...
 Что, ведьмацкая душа, где же твой касатик?

* * *

Не хочу ни обид, ни почестей.
 Все забыть — испытать все вновь.
 Одиночество, одиночество
 Променяли мы на любовь.

Пусть желанье придет испуганно,
 Пусть бунтует слепая страсть —
 Не поругана, не поругана.
 Отдалась ли, не отдалась?

Пусть сам черт разобрать старается,
Пусть Господь плечами пожмет.
Греховодница я, получается,
Или, может, наоборот?

Заскрипят жернова, изменятся.
Моя радость и боль моя —
Это, право, такая безделица,
Быть растоптанной у алтаря.

Может, разум мне ангел выдумал,
Может, душу мне дал сатана?
Под копытами, под копытами
Распласталась моя весна.

Слишком больно мне радость давалась,
Слишком радостной в боли была.
Часто телом я отдавалась,
Только душу не отдала.

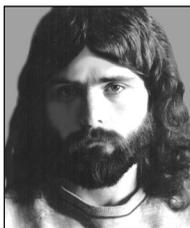
* * *

Как на взгорке на пригорке
Дом стоит высокий
А у дома ходит ветер
Путник одинокий

И зима прижавшись к стёклам
Толстой белой кошкой
Исцарапать захотела
Коготком окошки

Путник кошку приласкает
Шёрстку ей вздохматит
И пойдёт кружиться вьюга
Сколько силы хватит

Мы посмотрим из окошка
На такую пляску
И задвинем занавеску
И забудем сказку.



Евгений АНТИПОВ

/ Санкт-Петербург /

Четвертый

(25 августа — 480 лет Ивану Грозному)

«Чрезвычайная распущенность Грозного, жестоко истязавшего своих подданных во время оргий, — все это приводило Москву в трепет и робкое смирение перед тираном. В 1570 году под надуманным предлогом он разоряет Новгород...» Такими формулировками кишат Интернет-рефераты для школьников и студентов, примерно так представляется сегодня добросовестному налогоплательщику образ первого русского царя. Именно таким и предстал Грозный перед жюри Каннского кинофестиваля прошлого года. Тогда киноверсия Павла Лунгина многих историков возмутила. И действительно, в то же время в ТВ-референдуме «Имя России» Грозный рассматривается в качестве возможного претендента на то, чтобы сегодня и всегда олицетворять — собою! — великую страну. Не слишком ли — для циничного богохульника, отпетого самодура, жестокого деспота, развратного многоженца, убийцы собственного сына, разорителя собственно народа и вообще — кровопийцы-опричника?

Впрочем, нет ни одного произведения русского фольклора, в котором Иван Грозный был бы однозначно осужден. ...Вообще-то Грозным при жизни называли другого Ивана Васильевича, Третьего. Четвертый же получил этот эпитет — после. Информация о Четвертом парадоксально негативна и подозрительно противоречива, а значит, вполне вероятно, что все-таки именно Четвертый олицетворяет собою великую страну. Он, как мальенький фрагмент голограммы, своей судьбой проиллюстрировал все странности отношения к России — в сознании как «цивилизованного мира», так и своих родненьких россиян.

Итак: богохульник. Как богохульник Четвертый, пожалуй, уникален: он субсидирует Православную Церковь, которая переживала нелучшие времена, — причем не только в Константинопо-

ле, но и в других форпостах Православия; он автор музыки и текста службы праздника Владимирской Богоматери, автор канона Архангелу Михаилу, инициатор строительства храма Василия Блаженного на Красной площади. Того самого Васьки-юродивого, что часто хаживал к царю даже с критикой, кого выслушивал внимательно и чей гроб при похоронах он, царь вся Руси, нес собственноручно. В Александровской слободе — в своей духовной резиденции — Четвертый сам звонил к заутрене, пел в церкви на клиросе, после обедни назидательно читал охране жития святых, проповедовал аскезу и воздержание, мог неделю круглосуточно молиться. Пожары-неурожай-засуху и любые иные проблемы в стране принимал исключительно на свой счет, как наказание Божие за недостаточную праведность. 30-летнего царя русские-современники рисуют так: «Обычай Иоанна есть соблюдать себя чистым перед Богом: и в храме, и в молитве уединенной, и в совете боярском, и среди народа у него одно чувство — властвуй, как Всевышний указал властвовать своим истинным помазанникам».

Четвертый неоднократно хотел постричься в монахи; последний раз — после смерти сына Ивана, которого, по устоявшейся версии, сам и убил в 1581 году. Но осуществил Четвертый свое давнее желание и стал монахом только перед смертью. Последний приказ не то царя, не то уже инока Ионы был такой: освободить всех пленных.

В общей-то лавине негатива и этот приказ, при правильно подретушированном контексте, мог бы оказаться в реестре капризов деспота. Потому как был Четвертый самодур и деспот.

...Из-за Ливонской войны, такой важной для экономики России, но которой боярская рада почему-то не желала, в 1557-1558 годах в отношении с боярами состоялось у царя великое напряжение. А в 1560 году, с кончиной жены Анастасии Романовны, которая, как показал современный анализ останков, была-таки отравлена, состоялся полный разрыв. И было это болезненно. Выдвиженцы царя Адашев и протопоп Сильвестр сосланы. Адашев, например, когда-то был выдвинут Четвертым из низов. «Алексей, взял я тебя из нищих и из самых молодых людей. Слышал я о твоих добрых делах и теперь взыскал тебя выше веры твоей». Попытки бояр переломить эту ситуацию спровоцировали репрессии, но до кровавой черты репрессии не дошли. Гонения обрели жестокий характер только в связи с отъездом («изменой») бояр. Заметив тягу к отъездам, Четвертый брал с бояр, подозреваемых в желании отбыть в Литву, обязательства — за поручительством нескольких лиц — не отбывать. Такими «поручительными грамотами» он боярство и повязал. Но отъезды недовольных все-таки были.

В 1564 году, объясняя свой побег «нестерпимую ярость и горячайшей ненавистью», бежал в Литву князь Курбский Андрей Михайлович, бросив войска и крепость — бросив во время боевых действий.

Но бежал Андрей Михайлович не просто, а возглавив войско противника. Оправдывая себя смятением горести сердечной и обвиняя Четвертого в мучительстве, пишет царю письмом. Для обоснования своей позиции повествует о соборно избранном митрополите Германе, навлекшем на себя немилость Четвертого из-за опричнины: Герман наедине «тихими кроткими словесы» обличив царя, тут же схлопотал не то отравление, не то удушение. Но в современных источниках нет информации о статусе Германа как митрополита, что роняет легонькую тень на компетентность случайного и единственного свидетеля царских бесед наедине, зато есть описание участия Германа в избрании 25 июля 1566 года митрополитом Филиппа. И умер Герман мирно — через полтора года после своего удушения-отравления.

Убежденно и убедительно пишет информированный Курбский о трагической кончине Корнелия Псковского и Васиана Муромцева в 1577 году: кончина их была ужасной, через раздавление специальным каким-то агрегатом. Давильный агрегат, конечно, воспламеняет читательское воображение, отчего сказание становится особо достоверным, однако о насильственной смерти преподобного со своим учеником в других источниках нет и намека. В «Повести о начале и основании Печерского монастыря» о смерти Корнелия, умершего все-таки на семь лет раньше, чем это указывает информированный Курбский, говорится лишь, что преподобный, очень по-доброму встреченный царем, «от тленного сего жития земным царем предпослан к Небесному Царю в вечное жилище». Конечно, если правильно прищуриться, в конфигурации этих строк можно увидеть и давящий агрегат.

Чтобы придать своим претензиям аргументированность и системность, Курбский составляет «Историю князя Великого московского, о делах, услышанных от проверенных людей и виденных своими очами».

Почитав «Историю увиденную и услышанную», Четвертый отвечает почти без гнева, почти сочувственной проповедью, мол, почто, несчастный, губишь душу изменою да клеветою? Жалуешься на гонения? но будь я таким страшным деспотом, никуда бы ты, голубчик, от меня не делся. «Угрожаешь мне судом Христовым на том свете? А разве в сем мире нет власти Божией? Вот ересь манихейская: вы думаете, что Господь царствует только на небесах, дьявол во аде, на земле же властвуют люди. Нет, везде Господня держава — и в сей, и в будущей жизни. Положи свою грамоту в могилу с собою, сим докажешь, что и последняя искра христианства в тебе угасла. Ибо христианин умирает с любовью, с прощением, а не со злобою».

А ведь мощный, надо сказать, текст. Все-таки Четвертый был очень талантлив. Отличный композитор, поэт, умевший «по латыни и по греческому», собравший уникальнейшую библиотеку, он способствовал организации книгопечатания в Москве,

создал первую типографию и вошел в реальную историю все-таки не как деспот. Один из самых образованных людей своего времени, он обладал феноменальной памятью и потрясающей богословской эрудицией.

Либеральный реформатор, учредивший принцип народного обсуждения насущных государственных вопросов — 1000 человек разного сословия со всей страны, — с подачи навязчивых гуманистов становится пародийным пугалом. Ибо на его совести жертвы оппозиционеров. Да, на совести Четвертого и Адашев, и Сильвестр.

...На Анастасии Четвертый женился в 16 лет, невзирая на родословную. Следствие по делу отравления жены вышло на пронемецкое окружение Адашева с Сильвестром и, главное, на них самих. И не в первый раз царские любимцы предстают перед своим покровителем как фигуранты по политическим делам. Но тут еще и убийство. Как поступает кровавый деспот? Адашева послал в действующую армию, церковного иерарха Сильвестра — в Кирилло-Белозерский монастырь. Никого из их приверженцев не тронул, потребовал только клятву верности, чтоб «впредь не измышлять измен». Что ж, присягнули.

Присягнул, кстати, и князь Дмитрий Вишневецкий, воевода, да, бросив войско, перебежал к литовцам, к Сигизмунду. У Сигизмунда не понравилось, побежал в Молдавию, набедокурил там. Господарь Стефан отправил Дмитрия в Стамбул к султану. Султан, оценив непоседливого воеводу вальжным оком, казнил его к шайтану. Каким-то образом и эта казнь засчитана Четвертому в его деспотический актив.

Еще одна страшная история, сообщенная Джеромом Горсе-ем, гласит, что после постройки храма Василия Блаженного Четвертый повелел казнить зодчих Ивана Барму и Постника — так, от самодурства, на всякий случай. Но через пять лет после казни Иван Яковлевич Барма по прозвищу Постник (это одно лицо) построил Казанский кремль: Благовещенский собор, Спасскую башню и еще что-то. В летописях вообще не упоминается о таких оригинальных формах поощрения.

Ливонский хронист Бальтазар Рюссов тоже описывает в своих хрониках страшные вещи — как трупы казненных запереди Волхов, и вода заливала цветущие луга. Только вот луга у хрониста цвели в январе.

Потоки крови, приписанные Четвертому, имеют свойство течь в любую сторону, не согласуясь ни с какой логикой, а недоумения аналитического рода прекрасно разбиваются о формулировку «самодур».

У многих российских самодуров есть одна общая и, действительно, странная черта: имея для казни все юридические основания, они почему-то используют какой-нибудь дурацкий

предлог. Например, Юрий Кашин — двоюродный брат Четвертого, проходивший по делу о покушении на царя, — казнен за отказ плясать в маске.

Смерть же затворника Арсения к злодействам преступного режима не приплюсована, что, в принципе, тоже странно. После подавления восстания в Новгороде пришел к Четвертому преподобный Арсений Затворник: государь, по дороге, которой ты собрался идти на Псков, идти нельзя, опасность; Святой дух мне глаголаши, я тебя поведу. Но наутро преподобного нет. Послали в келью, а преподобный зарезан. Этот эпизод оставлен без соответствующей интерпретации и намеков на Четвертого, а ведь по одной из версий святому Корнелию Четвертый отрубает голову без объяснений, не слезая с коня: как увидит, бывало, царь святого Корнелия, так и рубит ему голову.

Из Новгорода пошли на Псков. Пошли без Арсения. Услышав звон городских колоколов и посчитав звон знаком раскаяния, Четвертый произносит задумчивую фразу, из которой следует, что в репрессиях нужды нет. Во Пскове царя встречает дурачок Никола, который, как юный чапаевец, скачет на палочке: «Иванушка, Иванушка, покушай хлеб-соль, поди, не наелся мясом человеческим в Новгороде?» Царь страшно опечален словами дурачка, и посещение Пскова проходит по регламенту краткого рабочего визита. Впрочем, действия самодуров всегда непредсказуемы.

Кстати, Четвертый совсем не занимается охотой и «не хочет прохлад царских». То есть он-то самодур типичный. Особенно это свойство проявляется в отношении к побежденным: когда после успешного развала ливонской конфедерации пришлось повоевать с поляками-литовцами, и когда в 1563 году был отбит Полоцк, гарнизон защитников отпустили с миром, но не только с миром — каждый получил соболью шубу, — а городу сохранено судопроизводство по местным законам.

На совести Четвертого и митрополит Филипп, которого сам же подгакивал на управление метрополий, убеждал, что скромность, конечно, украшает, но украшений должно быть в меру, да и предстоять перед Господом за всю страну — это не столь почетно, сколь ответственно. Составленная царем грамота делает митрополита персониой надструктурной, неприкасаемой, лишает бояр возможности властных манипуляций. Такой альянс светской и духовной властей делал всю вертикаль слишком сильной в глазах коллаборационистов. Для идеологических диверсий используются любые предлоги: проходит год, в перехваченных письмах польского короля Сигизмунда и литовского гетмана Хоткевича к высшим представителям русской элиты — все то же стандартное предложение переметнуться; а в ходе следствия под удар поставлен Филипп, материальчики собраны.

Обличительные речи митрополита Филиппа, которые историки приводят как доказательство антагонизма и оснований для репрессий, строго говоря, не имеют научного подтверждения. То есть совсем не факт, что эти речи были Филиппом произнесены. Зато мотивация шептунов ясна: между царем и митрополитом вбивают клин, вертикаль власти дает крен. Тактика проста: клеветать митрополиту на царя, царю на митрополита. И главное — не допустить очного выяснения. Мудрый Филипп прочитывает интригу и говорит о нависшей над ним смерти. Царь тоже не лох, требует доказательств. Поскольку убедительного компромата в Москве собрать не удалось, его подготовили на Соловках. В числе «свидетелей» оказался и ученик Филиппа, весь такой предощущающий епископскую кафедру. Сработало. Царь пытается защитить Филиппа и на суде. Но обвинительная база выбрана умно: поскольку простая «политическая неблагонадежность» не прошла бы, предъявлены некие давние факты. После снятия с должности патриарх направлен в московский монастырь при хорошем содержании, однако заговорщики продолжают интриговать и отправляют его в Тверь. Но еще через год, во время новгородских событий, возникает реальная угроза раскрытия сети заговора, а след тянется и к оппонентам Филиппа. Филипп же, естественно, обретает статус источника слишком информированного.

Четвертый все понял, на оппонентов Филиппа пала опала, но исключительных мер от жестокого деспота, как всегда, не последовало. Высокие чины лишились высоких чинов, те, кто поменьше, были отправлены в дальние монастыри. По дороге, впрочем, кто-то и помер от болезни, но руку Москвы вряд ли стоит искать — ключевые фигуры отделались исключительно дрожью. Новгородскому архиепископу Пимену, чью вину доказывало письмо к Сигизмунду, было сказано гневно: «Злочестивец, в руке твоей не крест животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой. Отसेди ты уже не пастырь, а враг Церкви и Святой Софии, хищный волк, губитель венца мономахова».

При расследовании новгородского заговора свидетельский приоритет царь отдает церковным авторитетам, вне зависимости от высказываний в свой адрес. И посылает Малюту Скуратова за Филиппом, ибо как раз Филипп может пролить свет. Приискавав, Малюта застал только скорбную процессию похорон Филиппа: произошло то, что Филипп и предсказывал. При таком раскладе уж лучше бы Малюте и не скакать было: сам визит тихо, но лихо трансформируется в удушение опального митрополита руками кровавого опричника по прихоти жестокого деспота. Не совсем, правда, понятно, зачем Четвертому надо ликвидировать Филиппа, ведь он и так в отставке. Ну, зачем, зачем — за отказ благословить поход на Новгород.

В сочинении Альберта Шлихтинга о репрессиях 1570 года в Новгороде говорится, что из трехсот арестованных порядка двухсот были отпущены. Это при том, что в биографии Шлихтинга совсем нет места для симпатий к российской монархии: наемник великого князя Литовского, он попал в плен, был переводчиком у Арнольда Лендзеля, личного врача Четвертого, потом бежал в Польшу и написал «Новости из Московии, сообщенные дворянином Альбертом Шлихтингом о жизни и тирании государя Ивана». В русских же источниках, порою очень раздраженных, говорится лишь о семи казненных. Джером же Горсей, как и положено дипломату, называет другое число казненных — 700000. И хотя в Новгороде тогда проживало на порядок меньше, но к мнению иностранных наблюдателей в России всегда прислушивались с особым уважением.

Но в чем же сыр-бор, почему в 1570 году русскому царю пришлось выступить против русского города? Даже двух.

Всю торговлю тогда в Балтийском регионе курировал Ганзейский союз — это типа ВТО. Новгород, как и Псков, поддерживал с Ганзой очень тесные отношения. В Новгороде располагалось полноправное представительство Ганзы. А подобные представительства существовали только в Лондоне и Брюгге. Еще за век до Четвертого Иван Третий подавлял инициативу Новгорода «переметнуться к латинянам», Литва, кстати, тогда не вступилась за своих союзников. Псков же был присоединен к Московскому государству сравнительно недавно, при отце Четвертого Василии. Похороны ливонской конфедерации вследствие Ливонской войны и присоединение к России ливонских городов резко снижали значение Пскова как основного центра немецкой торговли. Так вот, в 1570 году и был раскрыт заговор о переходе Новгорода и Пскова под юрисдикцию только что созданного союзного государства — Великого княжества Польско-Литовского. Поэтому «надуманный предлог для разорения Новгорода по доносу некоего бродяги Петра», по сути, не был таким уж надуманным.

В связи с проведением конституционных реформ Четвертого в России и появлением такого неожиданно сильного игрока на мировой арене, Московия наполнилась какими-то мутноватыми заграничными персонажами. Персонажи ищут инвариантных союзников, ведут переговоры, вербуют лоббистов, агитируют изпод полы. Без науськиваний Новгород бы не поднялся.

Россия оказалась в сфере европейских интересов, а европейский политический процесс был очень специфичен. В 1569 году Польша объединяется с Литовским княжеством. В Польше, после смерти Сигизмунда в 1572 году, начинается безвластие: Генрих Анжуйский, который мог бы занять трон, бежит к себе во Францию. На королевскую вакансию рассматривается несколько фигур, в том числе и сын Четвертого — Федор. Предполагалось, что новое унитарное государство увеличится за счет

того, что обрадованный отец отдаст формальному королю (юноше) ряд городов. Сам же Четвертый предполагал аккуратно поменять козыри, объединив два (если с Литвой, то три) государства под своей, естественно, властью. Если бы эта затея осуществилась, тогда Киев и другие древнерусские города снова присоединилась бы к России.

Понятно, что самого Четвертого в короли допустить нельзя. А почему же нельзя — юридически и фактически он типичный демократ: по восшествии на престол Четвертый создает Земский собор (государственную думу), создает Избранную раду (сенат) — куда вошли, между прочим, и Курбский, и Сильвестр, возглавляя же Избранную раду Адашев. В результате работы соборов (то есть собраний) реформирована армия, приняты ГПК-УПК, на Стоглавом соборе разработан церковный регламент. Введена в государстве и единая валюта.

В принципе, на должность польско-литовского короля можно было бы рассмотреть и кандидатуру Четвертого — будь он хотя бы католиком. Но он совсем не католик, «латинские церкви» строить отказался. И реноме у него отвратительное. Точнее, должно быть отвратительным.

Например. Четвертый наладил торговые связи с Англией помимо Ганзейского союза и даже завернул интригу с англо-российским династическим союзом. А если предположить, что Джером Горсей, как истинный английский дипломат, был лоббистом Ганзы или английских (французских, испанских, немецких) не/заинтересованных групп, то Новгород (в 700 тыс. жертв) еще легко отдался. И, главное, с таким дикарем нельзя иметь дел.

Образ царя-злодея поддерживает еще один непредвзятый источник: Генрих фон Штаден Вестфальский. Впрочем, сочинения фон Штадена введены в научный оборот лишь в XX веке и до сих пор их достоверность не определена. Этот шпион-незаконник, возглавляя небольшой отряд опричников, участвовал в походе на Новгород 1570 года, совершал набеги на села и монастыри. Из 12 лет, проведенных в Московии, 6 — в опричнине. Все — с его слов. Но вот сдается, что герр фон Штаден назвался опричником, дабы повысить свой статус в глазах покровителя — Рудольфа II, чешского императора. В опричнину же отбор был очень тщательным, в два уровня посвящения, и католик опричником быть не мог по определению. Да и биография фон Штадена слишком криминальна для статуса опричника: приговор по уголовному делу, вместо тюрьмы бега, военный разбой (набеги с польским отрядом на Юрьевский уезд), хоть и по другому уголовному делу, но отсидка. Выйдя на свободу, фон Штаден как раз и перебирается в Московию. А вот вернувшись в Европу, представляет Рудольфу II прилагавшийся к описанию Московии проект «Обращения Московии в имперскую провинцию»: Иван Грозный — тиран, москвиты — нехристи, «монастыри и церкви должны быть

уничтожены». Горячо фон Штаден пишет об ограничении свобод в Московии, в частности о запрете продавать водку в харчевнях, мол, это способствует распространению пьянства.

Похоже, чешский император тут тоже имеет свои виды. С интересом этот проект рассматривает и Стефан Баторий, который, в конце концов (1576), избран — при активной турецкой поддержке — на польский престол.

Четвертый же благодарит за княжение в Московии Симеона Бекбулатовича. Этого татарского князя, крещеного и проверенного на прочность, Четвертый поставил исполнять обязанности царя, пока сам занимался духовным ростом, молитвой, а заодно пробовал баллотироваться на должность короля польско-литовского. Теперь же Четвертый возвращает себе формальную полноту власти в стране: предстоят серьезные события.

В течение следующих трех лет Баторий совершает три успешных похода против России. Если российская позиция во время успешных военных кампаний в отношении своих польских оппонентов была избыточно мягкой, даже шубы дарили, то теперь позиция польских оппонентов была избыточно жесткой. Разорено практически все, включая Новгородские земли. Во взятых крепостях поляки-литовцы уничтожают русские гарнизоны полностью. Все население в Великих Луках истреблено тоже. Сожжена Старая Русса и 2 тыс. сел. В 1581 году польско-литовская армия с наемниками из всей Европы начинает осаду Пскова. Шведы в это время берут Нарву и занимают все побережье Финского залива. Окно в Европу, распахнутое Четвертым, закрывается. Четвертый ведет переговоры, пытаясь спасти хотя бы часть прибалтийских территорий, отвоеванных в Ливонской войне.

Кстати, Ливонская война.

Весной 1557 на берегу реки Нарвы Четвертый — молодой тогда русский царь — построил порт. А Ливония и Ганзейский союз никого в новый порт не пропускают, им это невыгодно. Но за несколько лет до этого закончилось действие русско-ливонского договора, по которому Ливония должна была вносить, но, понятное дело, не вносила, дань за город Юрьев — возведенный некогда Ярославом Мудрым и ранее считавшийся русским. Молодой русский царь попросил должок. Ливония просьбу проигнорировала. Тогда в Ливонские земли пришло русское войско в 40 тыс. человек. Недвусмысленно похोдив пару месяцев, к весне 1558 года оно возвращается, получив-таки заверения о возврате обещанного. К сроку должок не вернули, мол, кризис, денег нет, зато Нарвский гарнизон обстрелял Ивангородскую пограничную заставу, создав, таким образом, нехороший прецедент. Русские войска Нарву осадили. Осадил — в военном смысле. Осадив же, взяли. Взяли, раз такое дело, и Юрьев (уже Дерпт, а впоследствии Тарту), разрешив, впрочем, прежнее управление. А после взятия Дерпта-Юрьева обнаружился и должок в кубышке, при-

чем денег там оказалось куда больше, чем требовалось по накладным. Потом взяли еще 20 городов-крепостей, включая добровольно сдавшиеся и вошедшие в подданство русского царя. И ушли восвояси на зимние квартиры, оставив в городах небольшие гарнизоны.

Ливонский ландмейстер Тевтонского ордена Готхард Кетлер, собрав армию, решил вернуть утраченное и в конце 1558 года подступил к крепости Ринген, которую защищало несколько сот стрельцов. Когда у стрельцов кончился порох, немцы крепость взяли. Если во время русской осады крепости Нейгаузен в знак уважения к мужеству защитников им позволили выйти из крепости и сохранить тем самым рыцарскую честь, то весь гарнизон стрельцов в Рингене был перебит с немецко-рыцарской пунктуальностью. А зря. Потому что последовала карательная операция, в результате которой было захвачено еще 11 городов и сожжен рижский флот. Русские войска дошли аж до прусской границы. Ревельские купцы, оставшись без транзитных прибылей, жаждутся шведскому королю: «Мы стоим на стенах и со слезами смотрим, как торговые суда идут мимо нашего города к русским в Нарву».

На Москву началось серьезное давление со стороны Литвы, Польши, Швеции и Дании. Но и в российском руководстве по поводу внешней стратегии единодушия нет: в марте 1559 года, под влиянием Дании и представителей подозрительно миролюбивой русской элиты во главе с Адашевым, Ливонии еще раз предложено перемирие — третье за девять месяцев, — а край, присоединенный к России, тут же получил особые льготы. Экс-ливонским городам Дерпту-Юрьеву и Нарве даны полная амнистия жителей, свободное вероисповедание, городское самоуправление, судебная автономия и беспоплащенная торговля с Россией. В Нарве начинаются восстановительные работы, а местным даже предоставляют ссуду за счет царской казны. Это показалось столь привлекательным для остальных ливонцев, что под власть «кровавого деспота» тут же перешли два десятка городов.

Все здорово, однако во время перемирия ландмейстер Готхард Кетлер заключил ряд договоров, по которым какие-то земли ордена проданы брату датского короля, какие-то отошли Литве и Швеции. Мол, я не я, королева не моя, разбирайтесь с пацанами. Пацаны просят освободить территорию — то есть уже шведскую и литовскую. Ливонская конфедерация успела собрать армию и за месяц до окончания срока перемирия напала на русские войска под злополучным Дерптом-Юрьевом.

В 1560 году русские возобновили военные действия: взята еще пара городов, а немецкие силы разбиты. Ливонской конфедерации пришел капут. На этом заканчивается первый, динамичный, успешный этап Ливонской войны.

Заканчивается и семейное благополучие русского царя, вернувшего операцию европейского, а точнее, мирового, масштаба. У тридцатилетнего царя вдруг умирает жена Анастасия.

Через год Четвертый женится на Марии, кабардинке. А вопрос национальности для Четвертого не существует уже в XVI веке: то в царицы он берет кабардинку, то, проверяя, что ли, русский народ на толерантность, назначает татарина Бекбулатовича на должность и. о. русского царя. Может, непрощеный гость и хуже татарина, но татарин, по мнению Четвертого, лучше национальной элиты, ибо не продаст татарин вверенный ему русский народ. Чего ну никак нельзя сказать о боярах.

Четвертый женится на Марии. Отсюда начинается тема многоженца-развратника. Поскольку само число жен Четвертого, к тому же довольно размытое, не способно уронить глухую тень развращенности, сбоку — благодаря информированности Курбского, — проклевывается тема извращенности. И все это в красках, в красках. Не раз упоминавшийся благородный англичанин Джером Горсей, знавший царя лично, с голубыми глазами цитирует рассказы Четвертого о том, как тот растлил тысячу дев, а тысячи своих детей сам же убил.

Действительно, вокруг Четвертого мрут многие. Как жены мрут, так и дети: Анна, Мария, два Дмитрия, Василий, Иван, Евдокия. Но уж старшего — Ивана — Четвертый убил лично, факт известный. Кто сомневается, может в Третьяковке посмотреть картину Репина.

И псковский разгневанный летописец сообщает: «Лета 7089 государь царь и великий князь Иван Васильевич сына своего большого, царевича князя Ивана Ивановича, мудрым смыслом и благодатью сияющего, аки несозрелый грезн дебелым воздухом отресе и от ветви жития отторгну осном своим, о нем же глаголаху, яко от отца ему болезнь, и от болезни же и смерть». В пышной сей метафоре царевич уподоблен незрелому плоду, который стряхнул мощный порыв ветра. Говорили, — сообщает уже простым языком летописец, — что отец был причиной смертельной болезни царевича. И только.

Но в другой псковской летописи, правда, тоже со ссылкой на слух, есть четкая фраза о том, что «сына своего царевича Ивана того ради остнем поколол, что ему учал говорити о выручении града Пскова». Из сказанного, впрочем, все равно не следует факт убийства, да и сам источник этот несколько подмочен крокодилами, поедаящими людей: «Того же лета изыдоша коркодили лютии зверии из реки и путь затвориша, людей много поядоша, и ужасошася людие, и молиша Бога по всей земли; и паки сопряташася, а иних избиша. Того же году преставися царевич Иван Иванович». И если тема крокодилов остается под вопросом, то по поводу царевича вопросов нет: царевич не интересовался ни внешней, ни внутренней политикой. Мысль о государственной власти была для него в тягость.

В иных источниках о насильственной смерти царевича — ни буквы.

Впрочем, версию убийства подтверждает Антоний Посевин, иностранец. А иностранец, как известно, молчать в угоду или подобострастно врать не станет. Только у него убийство происходит из-за невестки. Но московский летописец о такой семейной неприязни даже не упоминает, скорее, наоборот: «царица Елена Иванова дочь Васильевича Шереметева, после царевича пострижена в Новом монастыре, во иноцех Леонида, и государь дал ей в вотчину город Лух да волость Ставрову». То, что Елена Иванова пострижена в монахини, с капризами царя не связано — экс-царица по закону не могла уже стать женой простого смертного.

Поскольку история с невесткой обнаруживает полное незнание регламента и уклада дворцовой жизни, Посевин меняет «бытовую» версию на более весомую, «политическую». Снова описываются и царский гнев, и криминальные детали. Неувязка только с местом действия. Пискаревский летописец: «...преставление царевича Ивана Ивановича в слободе Александрове». То есть умер царевич в Александровской слободе, до которой два дня езды, а Четвертый был в Москве. Да и сам Посевин приехал в Москву, когда царевич был уже несколько месяцев как похоронен.

Но какой смысл уважаемому иностранцу, ни с Ганзой, ни с прочей торговлей, вроде бы, не связанному, ретранслировать злобные слухи?

...В последней трети XVI века Римско-Католическая Церковь начинает проводить активную политику изменения культурного и национального самоопределения русских под политическим контролем Речи Посполитой, то есть Польши. И ключевой фигурой в этой истории является как раз Антоний Посевин, который уполномочен вести переговоры на высшем уровне между Речью Посполитой и Москвой в 1581 — 1582 гг.

Однажды этот иезуит, наблюдая службу в Успенском соборе, аж выбежал из храма, «убоявшись потерять свою веру». Более уравновешенный Джон Гарсей, отмечая способность московского царя вместе с семьей — зачастую на коленях и по четыре раза в день — отстаивать службу, делает чисто английской умозаключение о явных признаках слабоумия представителей русской монархии. (Вообще, с тех пор в европейской трактовке все русские цари делятся лишь на две категории: кровопийцы и слабоумные).

И вот, убедившись, что Москву нельзя соединить с латинством, Посевин меняет стратегию: сначала надежит обратиться в унию Русь Литовскую, присоединить к унии Новгород и Псков, а затем уже через нее вовлечь и Русь Московскую. И Посевин разрабатывает изящный идеологический ход: оспорить у русского царя титул «всея Руси», поскольку Белая и Червоная

Русь — во владениях польского короля. Посевин проводит миссию по расколу духовного единства русских. Идея состоит в том, чтобы против православного государства использовать создание народов-адептов, лояльных к Риму и Польше. С этого времени, кстати, и начинается колонизация русских, а также русского языка на Украине. Главным же препятствием в осуществлении проектов откровенного шпиона Посевина является русский царь. Так что смерть русского царевича очень даже можно использовать.

А ведь на всю эпоху правления Четвертого можно взглянуть как раз под таким, и даже еще более острым, углом. Вокруг русского царя методично умирают все, в ком он нуждается. Умирают жены, особенно умирают дети и особенно — сыновья, престолонаследники. Наследники царя-реформатора. Если смерть получается шумной, надлежит кричать «держи убийцу!», но лучше бы, чтоб все натурально.

После первого радикального политического шага — завоевания Казанского ханства (а всего за XVI век крымские татары нападали на Русь 91 раз) — Четвертый слег основательно и тяжело: через четыреста лет в костной ткани Четвертого химический анализ покажет наличие мышьяка и двадцатичетырехкратное превышение ртути. А зубы молочные. Уже тогда, в 1553 году, когда Четвертый лежит чуть тепел, сподвижники ведут себя странно: делят власть, словно вопрос жизни (смерти) царя решен. Преемником вслух называют князя Владимира Андреевича, двоюродного брата царя. Четвертый, поднявшись с одра, всех простил, списав на испуг и растерянность отказ Адашева с Сильвестром присягнуть законному наследнику. Но тут же умирает сам законный наследник — царевич Дмитрий, умирает в результате несчастного случая (не путать со вторым Дмитрием, который в Угличе горлом упал на ножичек): этого мальчика уронили в воду, вода холодная, пока выловили, пока то да се, мальчик переохладился. Это при том, что по церемониалу няньку с царевичем всегда поддерживали двое бояр. Смерть Анастасии Захарьиной, первой жены, проецируется на ключевой момент ливонской кампании.

Через три года после смерти Анастасии русская рать, включавшая в себя почти весь военный ресурс страны, выступила на литовскую столицу, а Девлет-Гирей предпринимает попытку вернуть Астраханское ханство. Умирает сын Василий.

Мария Темрюкова, вторая жена Четвертого, умирает в период, насыщенный событиями как внутренней, так и внешней политики: очередная крымско-турецкая интервенция на юге России (Девлет-Гирей), возникновение сильнейшего военно-политического блока на западе (Польша, Литва и Швеция), разговор с целью присоединения к этому блоку Новгорода и Пскова, двоюродный брат Четвертого обвинен в покушении на жизнь царя.

Третья жена Марфа Собакина умирает через две недели после свадьбы в 1571 году (в 1571 году Девлет-Гиреем сожжена Москва, сожжена вследствие предательства бояр, число убитых огромно).

Единственный уцелевший из сыновей Четвертого — Федор. Уцелел он, принимая участие — отроком — в первом Ливонском походе, уцелел и после отказа развестись с бездетной Ириной Годуновой. И хотя по тем временам такой отказ — нонсенс, отец-самодур даже скандала не учинил.

Смерть же Иван-царевича многие летописцы увязали с ключевым моментом российско-польско-литовской войны — с обороной Пскова, — только вот увязали тенденциозно.

Сама эта тенденциозность должна бы вызвать естественный скепсис; ведь странно ведут себя и многочисленные жертвы Четвертого: зная о потоках крови, они постоянно лезут к царю с критикой жестокости и постоянно пополняют таким образом число жертв. А торговые англичане, то есть политически не ангажированные, пишут совсем перпендикулярно: «Иоанн затмил своих предков и могуществом и добродетелью, имеет многих врагов и смиряет их (...) в отношении к подданным (Литва и пр.) он удивительно снисходителен, приветлив, любит разговаривать с ними, часто дает им обеды во дворце...»; «Одним словом, нет народа в Европе более россиян преданного своему государю...»

А ведь и восходил Четвертый на русский престол как игумен России. И, как помазанник Божий, восходил первым из отечественных правителей. Номинально правителем России он был с трех лет, после смерти отца. На правах регентши пытается самостоятельно править вдова; она даже проводит денежную реформу, интегрирующую отдельные княжества, но никому из национальной элиты ее самостоятельность не нужна, и через пять лет Елена Глинская умирает: предположительно — отравлена (значительное превышение ртути в костной ткани). Восемилетний великий князь остается круглым сиротой. А Шуйские, Глинские, Мстиславские, Юрьевы и остальное боярство в это время ведут жуткие клановые войны и делают страну. Следствием передела были три пожара Москвы и народное восстание. (Во время одного такого пожара в 1547 году погибло 1700 человек и выгорел Благовещенский собор с иконостасом Андрея Рублева.)

Четвертому приписываются смертные приговоры, вынесенные уже в отрочестве, хотя совершенно очевидно, что распоясавшееся боярство решало свои вопросы, цинично ссылаясь на волю юного правителя.

«Рано Бог лишил меня отца и матери, а вельможи не радели обо мне, хотели быть самовластными. Моим именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили народ, и никто

не претил им. В жалком детстве своем я казался глухим и немым, не внимал стенаниям бедных, и не было обличения в устах моих. Вы, вы делали, что хотели, забые крамольники, судии неправедные. Какой ответ дадите нам ныне, сколько слез, сколько крови от вас пролилося. Я чист от сия крови, а вы ждите Суда Небесного».

В своей тронной речи, как бы прощая боярству прежние злоупотребления, Четвертый призывает начать все с чистого листа. Насмотревшись сцен властного беспредела, отныне он намерен править по уму Божьему, для чего и прибегает к таинству миропомазания — как форме государственного воцерковления. Делая, возможно, тем самым, упор на христианскую компоненту в общественном сознании. И прежде всего — в сознании бояр.

Если в XIV веке сословие бояр являло собою оплот государственности, то к XVI веку картинка меняется — класс амбициозных олигархов ощущает себя основным вершителем не только внутренней, но уже и внешней политики. Мыслит боярство при этом предельно прагматично, отбросив патриотические предрассудки. Четвертому за 15-20 лет правления удалось, в некотором роде, погасить клановые войны: национальная элита сплотилась в виде устойчивой оппозиции. Общим знаменателем для такой консолидации является требование соблюдать законность на местах, а еще и с представлением отчетности. Так что среди трех сотен фамилий к 1565 году, ко времени создания опричнины, патриотически настроенных бояр как-то не наблюдалось: все смотрели на католический Запад.

Но опричнина не была «антибоярским проектом»; в указе об учреждении нового института государственного регулирования царь четко дает понять, что измена — понятие внесословное. И тут надо хотя бы вскользь обозначить антироссийскую активность — того же товарища Курбского, — неприличную даже для пострадавшего диссидента (кстати, польское слово). Вступив же в альянс с Сигизмундом, А.М.Курбский проявляет изобретательность и повышенную инициативу на грани назойливости: рекомендует не жалеть денег для раскачки хана, который в конечном счете выступает на Москву с 60 тысячами крымских голов, а сам Курбский с литовско-польско-немецко-венгерской армией в 70 тыс. голов вступает в Рязанскую область. Все происходит на фоне подготовленного (но раскрытого) внутреннего вооруженного мятежа.

Четвертый объявляет референдум. Выехав из Москвы, присылает гонца. У гонца две грамоты: одна с обращением к митрополиту, другая — к народу. В первой царь описывает измены, мятежи и другие штучки бояр, четко давая понять, что с коллаборационистами кашу варить не станет, но если в данной ситуации власть олигархов кому-то кажется предпочтительной,

то царь готов передать свои полномочия. Из второй грамоты, зачитанной на площади, следовало, что к купечеству и просто-люду у царя вопросов нет, но он должен знать, желает ли народ в экстремальной ситуации видеть его, помазанника, во главе государства. Потому что в условиях войны подчинение должно быть жестким, и подчинение не за страх, а за совесть.

Сначала народ притих, соображая, что от него требуется, а потом взорвался: только намекни, царь, да мы за тебя порвем всю эту мразь жирующую!

Но рвать никого не надо. Надо создать ополчение из преданных людей, эдакий полк специального назначения службы безопасности, в котором сословия не важны, важна неподкупность да способность в огонь и в воду. И хотя слово «опричнина» было в ходу еще до Четвертого — это, так сказать, форма национализации земли, форма пенсии для воинских вдов и сирот, — именно такое российское know how стало историческим клише и приобрело пугающе отвратительный шлейф. Да, преданность и неподкупность всегда подозрительны, а проекты в интересах государства должны вызывать смутный страх.

Число опричников составило 570 человек. Опричники выполняют не только функции госбезопасности, но и военные: впоследствии, когда число опричников возросло на порядок, именно полки опричников сыграли решающую роль в отражении нашествия Девлет Гирея в 1572 году; тогда русская армия в 60 тыс. уничтожила крымско-турецкую в 120 тыс.

После победы над Девлет-Гереем опричнина упразднена; проект действовал семь лет.

Среди бесчисленных жертв опричнины было и три сотни опричников — несмотря на обязательное монашество, все-таки и в их числе оказались искушаемые властными полномочиями, так сказать, оборотни в рясах.

А каково, кстати, число «бесчисленных жертв»? Ни один историк не называет более пяти тысяч. Летописи говорят о трех тысячах казненных: воры, душегубы (то есть убийцы) и клятво-преступники. Среди этих трех тысяч политических было всего несколько десятков человек — в основном, конечно, бояре, которых до этого царь неоднократно прощал под крестоцеловальную клятву. Три тысячи за 37 лет царствования. В Англии за такой же срок во время царствования Генриха VIII было казнено 72 тыс. «больших и малых воров». Только одна французская (Варфоломеевская) ночь в десять раз перекрывает все российские ужасы. За те же пять лет, окрашенных ужасами опричнины, в самой прогрессивной стране той эпохи — в Нидерландах, — генеральным прокурором приговорено к смерти 18 тыс. человек, включая пару графов. Все в том же XVI веке при подавлении крестьянского восстания в Венгрии было убито 50

тыс., тело лидера — Дьёрдя Дожи — скормили сподвижникам. При подавлении крестьянского движения в Германии было убито более 100 тыс.

Население же разоренной Чехии сократилось с 3 миллионов до 780 тыс. человек. Но воплощением кровавой эпохи становится русский царь. Даже в оценке петровских реформ тема крови и колоссальных жертв застенчиво опускается. Воссев на трон, одним только эпизодом со стрельцами Петр выбирает почти половину (1200 человек) репрессивной статистики Четвертого. Образ же Петра вызывает симпатию и даже восхищение как в отечественных головах, так и в западных. Почему? Может, потому, что петровские реформы, начиная с упразднения патриаршества, носили прозападный характер? Тогда и антизападный характер правления Четвертого объясняет многое.

...На памятнике «Тысячелетие России», установленном в Великом Новгороде в 1862 году, можно видеть бронзовые изображения многих современников Четвертого: Сильвестра, Адашева, Гермогена. Но не Четвертого. Там нет этого великого русского царя, создавшего суд присяжных, за полтора века до Петра пробившего выход к Балтийскому морю, за полтора века до Петра создавшего флот, отбившего нашествие крымских татар, увеличившего страну вдвое, начавшего присоединять Сибирь — на которую с таким вожделием посматривают сегодня все экономически развитые страны. Четвертого там нет. А ведь уже при Федоре-сыне страна выходит в число богатейших в мире — выходит не сама по себе, а в результате реформ. Но на памятнике нет реформатора. Его там нет принципиально, концептуально, его там нет взвешенно и умно.

Несколько столетий русский народ пугают образом первого русского царя. Разумеется, верят, разумеется, боятся. Но вот после смерти Четвертого народ-современник, требуя казнить его убийц, поднял бунт.

«Иоанн был велик ростом, строен, имел высокие плечи, крепкие мышцы, широкую грудь. Прекрасные волосы, длинный ус, нос римский, глаза небольшие серые, но светлые, пронизательные, исполненные огня, и лицо приятное». Судя по всему, имел могучее здоровье, позволившее переварить тонны ядов. Он прожил 54 года. Изменения костных тканей неустановленной этиологии говорят о том, что в конце жизни он не мог ни ходить, ни даже стоять.

Свою тоску Четвертый доверил только бумаге: «Тело изнемогло, болезненный дух, раны телесные и душевные умножились, и нет врача, который бы исцелил меня. Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого. Утешающих я не нашел. Заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь».

Роман ОСМИНКИН

/ Санкт-Петербург /



* * *

переварить собственную никчемность
это набрать в рот воды
и старой серебряной пломбой
освятить ее до немоты

и только тогда
совсем незаметно
можно проглотить
уже и не это

уподобиться своей неприкаянности
это вообразить о себе нечто
не то чем ты не являешься
а то что в тебе конечно

но истина она просто есть и все
она как никто безупречна
о боги дайте сил тому кто
вас не просил

Субъект КАК МОМЕНТ ИСТИНЫ

дух это то чего в тебе
слипнется если начать вынимать ребра
колосья в тоталитарном гербе
втихаря прорастают на экспорт
неурожай ли
усохла да не усопла
вытри сознанию сопла

пела ли осанны осанке
 видела ли в смятой перспективе
 как мысли по косо́й исходили
 фугой из твоей черепной фрамуги
 вернись сейчас же внутрь
 в-нутрь
 проверь утварь
 ууу-тварь
 поклонись твари и ее творцу
 ножка ножку дупит
 глупые это любят
 голубые фишки в плюсе
 хватит просыпаться одному
 ничком на траве глазницами шуршать
 что видишь не передашь
 а что передашь
 то только для бумаги
 без сознательного
 бес сознательного
 ребрист на ощупь
 как рукоятка
 усталого от неприкаянности металла
 а руки помнят

о молекулы ничего не происходящего
 круп коня в шкафу олега веще́го
 ржущего но не говорящего
 примерь ка мощи его
 пора проснуться с крупными чертами лица
 с больше чем верной соратницей по партии
 поменять конспиративную квартиру
 сделать так чтобы на сотни верст кругом народ видел
 трепетал знал кричал

найдите людей потверже
 чтобы солнечные лучи отскакивали от ягодиц
 чтобы орехи кололи влагалищами
 чтобы свободой воли дурь выбивали из
 идолов во кремлевских капищах

и крепи имя
 вера в пиар
 не действует при минус сорока
 превращение формы в
 формальность
 голь легка
 на выдумку истин
 сами себя боимся

сойдемся на евхаристии
 вот они
 миллионы низкорослых рабов ползут
 вот они
 самки богомоллов головы богомольцев жрут
 не грусти это нехристи
 объелись ереси
 но ты то гой еси
 нет времени на медленные танцы
 двигай телом детка органами тряси
 быстрее быстрее
 и в это же самое время детка
 соси
 млеко смысла из сосца матки доксы
 подкидывай но что ей твой идиш
 дети системы плетут истине косы
 удовлетворившись подобием правды
 что ты там цедишь сквозь зубы
 свободному горло драть
 караоке луженых глоток
 интернационал в дивиди-формате
 gay jewish trotskist
 седдай своего жерувима
 мамона хоть и анонимен
 но ноуменально нечист

* * *

нефти несть числа
 окоем бестрепетно примет
 вектор взгляда плотоядного
 инвестора а попросту
 зрящего в недра земли
 как вслед бедрам девы
 кольшуцимся в такт насосу
 сколько нужно вкачать чтобы выкачать
 здесь были вышки
 снимали вершки
 возвращались смуглые
 из под матери земли
 окорочка обамы
 жены жарили
 брали за грудки
 белое бескрайнее
 разлито вовне

загоризонталено
солнце во мне
бананы в нарьян-маре
и зимой и летом
князь серебряный
на золотом коне
литые бока танкера
сверкают во мгле
наполовину пуст наполовину полон
возьми в полон
срывая перстни
на кончиках пальцев
да и хер с ним
ни света ни тьмы
света открывай это мы
северные платят исправно
из исправительных уходят в тайгу
и едят друг друга так же
медведь задирает забрало
единоутробное ебало
полакомиться медком
уклюжие с матерком
замести еловой лапой
триколор трекаятый
мести несть числа
раздвигай чресла
я свой в доску
за папирску

December 18th, 2009

Алексей СЫЧЕВ

/ Санкт-Петербург /



Приметы местности

*Человек с плакатом:
«Вас ждет SECOND HAND»*

1

Бессонница, Флобер и поздняя сирень...
Терпи — легко Рабле читать до середины...
Как хороши, как снежны эти льдины! —
как снегири с хорошим оперень... —

2

ем, пью, читаю... вычитаюсь в сон —
увидеть небывалый патиссон
селены и селян навеселе —
танцующих, листающих Флобера...
сирень цветет... французы тут как тут...
наполеон, пирожное, собака...
у наших — ушки (кролики в цене)...
когда б вы знали из какого согу

3

раз тут — молчи и слушай аромат
с фамилией нерусской Гималаев
слон на столе склоняется к питью
хотите чаю чую не обидит
сирень цветет как тетка tet-a-tet
мигрень такая сумерки слоны

то там то тут о Фигаро фигляр
мигляр Флобер смените пол паркет
пластинку пластику текучие движенья
жены медведь обычные дела.

4

Семь клоников из мрамора — о чудо! —
вот символ, так сказать, тысячелетья!
Сирень цветет... подумаешь, сирень! —
в горшке! и аполлон в белье! не дерзкий! —
все это, извините — ... (извините).

5

А может быть, — рифмованных стихов?
Я иногда чего-нибудь рифмую:
«орангутанг — по рангу танк», допустим,
«оранжерея — как баран жирея»... —
и все такое прочее. Ни ветром,
ни камнем не стремясь быть, ни растением —
аж собственную тень ем! — из любви
к искусству. Например: кусты сирени,
бессонница, какой-нибудь Флобер,
журнал небесно-популярной хрени...
поищем рифму, что ли? — Карусель
тем и забавна, что везет по кругу...

Иванов в монохроме

(опыт преждевременной фотографии)

«Все фигня, кроме пчел»

«Пчела летит по спирали.
Ставни позапирала
в квартире у Иванова —
Иванову хреново.

У Иванова — ангины,
горло цвета сангины,
не ест он каши и плова,
не родит ни полслова...

Приходит N.N., вся в ситце,
вся при серьгах и шприце,
нога — от уха, рука — во! —
и мурлычет лукаво.

А Иванову до фени
 все. Стянуть галифе — не
 особо хитрое дело.
 Чтоб в затылке гудело —

нужды такой Иванову
 нету; под Казанову
 косить, зубом цыкать, оком
 зыркая, о высоком
 страдать и о низком — тоже
 нужды нету («О, Боже» —
 вздохнут поклонники Крузо —
 «Не герой, а — медуза!..»)

Меж тем, лицом густобровым
 морщась над Ивановым,
 N.N. вонзает иголку
 в Иванова! (а — толку?)
 и тут же играет в ящик,
 прямо как в настоящих
 трагедиях! тухнет взглядом
 и — упадает рядом
 (ввиду отсутствия тары)... —

плач испанской гитары
 разбитая чаша утра
 бигуди и крем-пудра

герой в отдельной кровати —
 не способен вставать и,
 ворча, что вот ведь бардак, де,
 зрит в окошко — туда, где
 над садом гудят с надсадом
 пчелы, все в полосатом,
 и видят ужасы эти
 в фиолетовом цвете...

На кухне

Ветхое существо не особо юно —
 то ли восьмой десяток, то ли — немного за,
 по вечерам на кухне чай ему подаю, но
 что-то не позволяет глядеть существу в глаза.

«В них ничего существенного не встретишь, —
 шепчет мне это что-то, — ты не смотри туда,

жуй свои макароны, взор возведи горе, тишь-
гладь осязай — не стоит себе причинять вреда.

Эти глаза мечтательны, нетверезы,
в них неизбежны звезды, песни про пистолет,
отзвуки «Рио-Риты», если не «Марсельезы»,
отблески небылого, а в нем тебе места нет.

Впрочем, тебе нет места и в остальное
время: что ни придумай, прыгай как мяч, лети в
космос — ядром из пушки — ниже не будешь, но и
выше — ни-ни, коль скоро подсел на инфинитив.

Так что — сиди, покуда сидится, птицей,
крыльев не расправлявшей, даром, что подсадной,
у существа напротив (с длинной вязальной спицей,
зубом одним передним и задней мечтой одной)

всуе узнай вчерашний прогноз погоды,
медленно и печально выведай новостей,
если в окно заметен дым из трубы — «Ого! — Дым!» —
выкажи удивленье, умолкни и опустей.

Утром пойдешь на рынок — туда, где рыбы,
лежа по стойке «смирно», тужатся произнести
волглое «О» и вымолвишь: «Рыбины полторы бы!»
для получения сведений, где твое место есть».

Углич

*«Слезины — не слезы, не слезки и не слезици»
(из размышлений)*

Броский размер и рифмы — весьма случайны —
не объяснят законов, коими так богат
сумрачный городок: веранду, где пили чай мы
и мотыльков у лампочки маскарад...

Вспомнишь — и по привычке: двигаешься на ощупь,
запахи осязашь, взвешивашь в горсти
маленькие предметы, хотя не проще б —
думать о чем повыше и дорасти
до потолка, хотя бы... (что, в общем, не так высок, но,
чем проседает ниже, тем недоступней во
времени)... Ежедневно сырость сочится в окна,
и набухает дерево... Никого
в доме, опричь тебя, нет (слезины свои утри),

разве что — привидения, но я уже не молюсь... — к чему? зачем?.. Захочется — уברי вещи из дома, слова — из памяти — останется всего три слова, и среди них будет одно — моллюск...

Осень уже... Половица скрипит в передней. Зеркало потемнело, практически каждый вдох — тих и печален, будто и впрямь последний...

Я покидаю сумрачный городок.

* * *

Самоубийство яблок во дворе
и шепот кабачков на сковородке.
И шелестящий влажными тире,
дробящий многоточием, короткий,
как променад наперекор жаре
до речки и обратно, ливень.
Лодки.
Велосипеды.
Бурные амбре.
Стол на веранде, прыщ на подбородке.
Звезда над полем. Тополь на горе...

Кончался август. Начиналось то,
о чем я, как положено невежде,
не помышлял особенно, зато,
ветшая от увиденного прежде,
уподоблялся старому пальто —
хотя бы потому, что спал в одежде...

процеживало окон решето
вечерний воздух — видимо, в надежде,
что, обернувшись к завтраку просто... —
простором? простоквашей? (не поешь, де —
не женишься?) — он не исчезнет, что
все так и будет...

Так оно и было.

Калязин

Конспект истории болезни.
Двойной родительный падеж.
Поди ж налево, но полезней —
в образовавшуюся брешь.



Там городок, не чист, не грязен
(его фамилия Калязин —
для посвященных, имярек —
для пролетающих в плацкарте
сквозь точку мнимую на карте),
наивлажнейшая из рек,
тасуя полые бутылки,
стремится с севера на юг,
там кобылицы и бобылки
незапылившиеся пылки,
там неразлучны хряк и хрюк.

Там все дрожит, когда на дрожках
грохочет местный почтальон,
топор кидается в бульон,
индюшки там на курьих ножках
взахлеб исследуют район,
торчит заноза колокольни
из пятки острова рябой,
и, чем вернее, — тем окольной
маршрут практически любой.

Поля цветут, но пуще — пахнут,
дым над торфяником летуч,
маячит солнце из-за туч,
пейзаж распахан и распахнут,
и каждый филин хохотуч...

Там память, будучи кривою,
своей неявную длиной
связует копчик с головою,
и остаются за спиной —

пастух в торжественной мурмолке,
ученый кот и свет на нем
и — на стволе, и на двустволке,
и небо с точечным огнем,
и все, что выше — и левкой,
и цыпы с вечным «рококо»,
и то, как дышится легко и —
не умирается легко...



Александр Гуревич (Кулик)

/ 1959 — 2002 /



Александр Гуревич (1959–2002) — математик по образованию, закончил мат-мех Ленинградского университета, по окончании университета работал научным сотрудником в Геофизической Обсерватории. В годы перестройки полностью сменил сферу деятельности: начал писать стихи, переводить с английского стихи и прозу (в 1998 г. получил 3-й приз на Североамериканском поэтическом конкурсе поэзии за автопереводы своих стихов на английский), работал в республике Коми с американскими нефтеразведчиками, затем — переводчиком в том же, но уже Петербургском университете, вступил в Союз Писателей СПб. Кроме того, всю жизнь Саша был страстным путешественником — как он всегда подчеркивал, именно «путешественником», а не «туристом». Путешествовал он как правило в одиночку, и притом самыми невероятными способами: автостопом по стране, зайцем на поездах, если на лыжах — то десятки километров по целине под ледяным ветром (однажды упал в фарватер на виду у надвигающегося ледокола). Как будто чувствовал, что времени мало и надо успеть как можно больше — на все про все ему было отмерено 43 года жизни.

Представленную ниже подборку из писем Саши Гуревича составила его вдова — Лариса Мелихова, она же сделала поясняющие комментарии к некоторым письмам. Письма периода 1988–1991 гг. перемежаются последними письмами 2001–2002 гг. (вставки в рамочках). Большая часть писем адресована другу детства Сергею Либерману, раньше всех друзей эмигрировавшему в США. Часть писем адресована жене, есть также письма, в оригинале написанные по-английски (перевод Л. Мелиховой): в этих письмах оставлено английское обращение, например, Dear Alison.

Личный сайт Александра Гуревича: <http://agurevich2003.narod.ru>

Письма

Октябрь 1988
Сергею Либерману

Дорогой Серж!¹

Получив твое письмо, я немедленно испытал целую бурю разнообразных эмоций. Но, однако, давай по порядку.

Во-первых, я печатаю на машинке не случайно. Во-первых (т.е., т. к. во-первых уже было, то это в каких-нибудь других), я надеюсь, что шрифт этой машинки вызовет у тебя щемящие воспоминания. В-следующих, я, будучи до известной степени мазохистом, сознательно хочу лишиться себя возможности уснащать свое письмо английскими идиоматическими выражениями — они уже, наверное, тебе куда лучше известны. Не могу, однако, не отметить, что слово \$ICHT\$EEIN@C ты в обоих вариантах написал неправильно. Сказалось, вероятно, итало-австрийско-бухарское влияние.

Кроме того, твой призыв написать ответ до 5 октября вызвал у меня лишь горькую усмешку. Я получил твое письмо 2 ноября — вероятно, его придержали, чтобы я получил подарок к (помнишь, какой?) годовщине ВОСР. Мог ли я предположить, что письмо будет идти чуть не два месяца! Тем более, что со всех сторон доносятся сведения о твоих письмах разным товарищам. Норке звонил Гильман и пытался ее со страшной силой заклеить, но вместо «поедем ко мне, послушаем музыку» вкручивал ей мозги по-современному — «встретимся где-нибудь, почитаем Сережино письмо». Продолжая музыкальную тему, с интересом отмечу, что известия о тебе в последнее время я черпал, как правило, в филармонии — в Большом зале (в Малом я за этот сезон еще не был). Первый такой случай был где-то около месяца назад, когда после концерта камерного оркестра (неплохого, а флейтист был вообще как Ян Андерсон) меня остановила совершенно незнакомая мне женщина с восклицанием «Саша, я недавно читала письмо от Сережи!» Я с интересом слушал ее рассказ, но, вероятно, на моем лице что-то отражалось, потому что через некоторое время она сказала «Саша, если вы меня не узнаете, так я — Маргарита Алексеевна» (кажется, именно так). Я стал слушать ее с еще большим интересом, и мы расстались друзьями; но только спустя несколько дней я на-

¹ 1988 год, перестройка, друзья начали разъезжаться по границам. Первым уехал Сережа Либерман — Сашин ближайший друг с первого класса, — оставив нам часть своей мебели и пишущую машинку. Если еще недавно Запад воспринимался почти как Тот Свет: место, откуда не возвращаются, — то теперь появилась надежда когда-то увидеться. Вот только с перепиской — проблема, до изобретения электронной почты еще далеко. (Прим. Л.Мелиховой.)

конец сообразил (кажется), кто она такая. Я это все к тому, что мне очень смешно было прочитать твои извинения за долгое молчание, датированные 10-м сентября. Я, напротив, не думал, что ты так рано напишешь.

Вкратце о нашей жизни. Проводив тебя, прямо из аэропорта поехал я в Пупышево, а поскольку с понедельника у меня начинался аспирантский отпуск, то я взял Митьку и с ним поехал на несколько дней к Ларкиному родственнику в Машезеро под Петрозаводск. Родственник является распорядителем на ведомственной турбазе управления «Карелэнерго», так что электричество там льется рекой, и еду отдыхающие готовят на электроплитах. Жили мы отлично: весь световой день проводили за собиранием брусники и черники, такое ассорти там ковром покрывает весь лес. Ларка в это время предавалась работе и ночным счетам на машине, а к концу недели приехала к нам, и уехали мы оттуда все вместе, причем на одной верней полке. Я, конечно, спал в багажном отсеке купе и обнаружил при этом, что с тех пор, как мы ездили в Усть-Нарву, мои габариты несколько изменились, а габариты багажного отсека остались прежними¹.

Прости, дорогой, что-то меня оторвало, и вот уже продолжаю через три недели. Правда, за это время я узнал, что писать тебе, собственно, пока некуда, т.к., по дошедшим до меня слухам, ты снял новую квартиру, адреса которой здесь пока никто не знает. Поскольку стиль моего письма, как ты видишь, весьма неторопливый, а вес его ограничен, а также поскольку число событий, о которых, может быть, стоит тебе написать, множится бесконечно, то я постановляю, что этот лист будет последним. Катя и Саша вернулись из Англии как раз в твой последний ленинградский вечер, на следующий день они встретили в электричке Норку, едушую в Токсово, коковую и приветствовали радостными криками «Привет из Лондона!». У них масса впечатлений и все хорошо, за исключением того, что англичане потеряли их чемодан со всеми купленными вещами².

Гурьянова тоже вернулась из Штатов, и в первые несколько дней на нее было страшно смотреть, вроде как человеку снилось (наяву), что он в раю, а его вдруг разбудили декабристы какие-нибудь. По ее рассказам выходило, что Америка — это такое место, где волки с ягнятами мирно трудятся на общее

¹ Убей Бог, не помню, почему нам пришлось втроем ехать на одной полке — видимо, не было билетов? Забавно, что все это происходило в аспирантский отпуск.

² Катя и Саша давным-давно живут в Лондоне, приезжают каждый год на родину, Норка — много лет в Нью-Йорке, не приезжала еще ни разу, хотя каждый год собирается. Тогда же поездки на Запад и обратно изумляли: вроде как экскурсия на Тот Свет, только непонятно — то ли в Преисподнюю, то ли в Поднебесную.

благо, а под счастливым небом гуляют красивые молодые профессора — друзья и ровесники Когана, который, как обязательно добавлялось невзначай, как раз в это время защищал докторскую диссертацию. Интересно, что на следующий день после ее рассказа я слушал рассказ нашего командированного, который торчал в Нью-Йорке без копейки денег, ходил, естественно, пешком и ничего не ел, так как всю тушенку, привезенную из Союза, он отдал другому парню, который сидит там уже 4-й месяц на 12 долларов в сутки. Хотя он абсолютно нормальный человек, но из его рассказа невольно вытекало, что трудно представить себе более мрачное и недружелюбное место, чем Соединенные Штаты. Так что, не взыщи, Серж, но я уже полностью потерял всякое представление о стране твоего пребывания.

Поскольку я исчерпал лимит бумаги, то заканчиваю. С наступающим Новым годом! (Да, кстати, лимит на все издания сняли и подписка опять свободная). Привет от Ларки! Пиши чаще и больше! Гуд-бай!

А.К.

Май 1989

Сергею Либерману

...Так что зима прошла успешно, хотя была необычайно теплой, так что на лыжах порою ходить было трудно. Но я, конечно, ходил. Рыбкин завел себе пластиковые лыжи, носился на них со страшной скоростью и заставлял меня тоже такие покупать. Но я был верен себе: на пластиковых-то каждый сможет, а вот ты попробуй в подлип да на деревянных, — тогда я тебя уважать буду¹.

Так что мы с Лешей иногда ходили порознь. Дважды при этом совершил самые длинные переходы в жизни: из Кондопоги в Петрозаводск по льду Онежского озера (более 60 км) и из Пупышево на Ладожское озеро (около 80 км). Кроме того, заставил бедную Ларку перейти через Ильмень в оттепель по голому льду, почти без снега. Так что все наши великие озера обошел. На Онеге со мной случилось чудо: на абсолютно диком и пустынном берегу при полном отсутствии людей и их следов мне вдруг замигал с берега бакен, а когда я к нему подошел, за ним оказалась в лесу лыжня, сильно срезающая путь. Я так до сих пор и не могу этого объяснить. А на Ладоге, уже почти перейдя озеро и явственно видя перед собой огни Коккореево (до берега было километра два) в девять часов вечера я вдруг ут-

¹ Фанатичный любитель природы Леша Рыбкин теперь — житель Аляски, на лыжах ходит по специально проложенной лыжне. Приехав в прошлом году в Россию после большого перерыва, был глубоко шокирован тем, насколько загажены его любимые леса в Ленинградской области.

кнулся в полынью, которую потом полночи обходил: вышел в то же Коккореве в 2 часа ночи. Ветер, дувший мне в спину, когда я шел по озеру, и позволявший делать 10 км/час, теперь стал боковым, а лед, естественно, был абсолютно голый, и ветер сдувал меня на скользящих лыжах в сторону полыньи. Я еле полз, изо всех сил вонзая в лед тупые концы палок. В паре мест подо мной трещало. Учитывая, что я уже прошел более 70 км, можно было и душу богу отдать. Душу я не отдал, но мое мужское достоинство спасло только то, что у меня на шее был шарф, которым я, сняв его, укутал половые органы, уже начинавшие отмерзать. В общем, после падения в фарватер на Финском заливе это, пожалуй, самое сильное переживание в моей жизни.

Закрывать сезон я поехал, когда снег уже вовсе стаял. Почему-то я поехал в Вышний Волочок; но там снега тоже не оказалось. Я перешел через Вышневолоцкое водохранилище по льду, а потом шел лесом вдоль реки Шлины; в целом на лыжах можно было идти, но лучше всего было быть при этом в резиновых сапогах. Так или иначе, сезон кончился.

17 February 2001

Дорогой Леша.

Извини меня за то, что я послал тебе копию своего письма Романычу, с тем, чтобы не повторять мою грустную историю вновь и вновь. Тем более что это письмо должно представлять интерес также и для тебя: оно связано с неудачным реестром моих лыжных походов этого года. Хотя мое последнее путешествие в этом тысячелетии было успешным: 31 декабря мы с Митей проделали путь от платформы 77 км до Михайловской вдоль по Оредежу, местами прямо по льду. Все же больше 30 км — не так уж и плохо для кануна Нового года. Я примчался на празднование к теще в тот момент, когда Кремлевские куранты начинали бить. Тебе также должно быть интересно, что в тот день я воспользовался твоей парой Вологодских лыж, которую взял у твоей мамы — как раз вовремя, поскольку она уже собиралась их продовать.

Разумеется, я не знаю, когда они мне теперь потребуются вновь — явно не в этом сезоне. Как раз после Нового года возникла проблема с ногой. Поначалу я связывал ее с плохо приделанным креплением на правой лыже: она все время сваливалась с ноги. Но в конце концов я понял, что проблема глубже — просто при столкновении с малейшим препятствием я падал на правую сторону. Ну вот, а теперь ты знаешь, в чем на самом деле была причина.

Меня отпустили на выходные из больницы. В понедельник я снова отправляюсь туда, чтобы готовиться к операции на мозге, которая назначена на четверг, после чего остается еще проблема с почкой, о которой я написал Романычу. Так что до понедельника я намереваюсь быть дома, ты можешь мне позвонить, если хочешь. Привет Марине и Ване. Твой Саша.

Следующее приключение случилось недалеко от этих мест. Мы поехали на байдарке кататься по реке Мсте с Чирцовыми: в ночь с 29 апреля мы выехали, а 27-го Чирцов женился. 27-го у нас был незабываемый день: с утра похороны (умер знакомый парень в 25 лет от рака мозга), вечером свадьба; утром Ларке резади десну и отпиливали корень зуба; морда у нее стала заметно асимметричная, так что к Чирцову она не пошла. Кроме того, ей надо было в этот день покупать билет в Лондон, моей бабушке делали операцию (камни в почках; все прошло успешно), и было еще несколько мелких и крупных дел. Жену Чирцова зовут Лена: она весьма физически развита, спортивна и вынослива. На байдарке, тем не менее, раньше не плавала. Поэтому (как думали мы) Чирцов решил сводить ее дача в какой-нибудь спокойный поход со спокойными попутчиками вроде нас. Тут он, однако, просчитался. Уже когда мы стали выгружаться в Лыкошино, обнаружили, что исчез Митин рюкзак со всеми его вещами; Митя уверял, что какая-то тетя его куда-то унесла. Раскрыв байдарку, мы увидели, что в ней всего одно весло: я только накануне привез ее из загорода, не раскрывал и совсем забыл, что одно весло отдал куда-то. Когда мы стали натягивать шкуру, она стала рваться и рвалась, пока Чирцов не увидел, что я в корму вставил шпангоуты с носа, и наоборот. Кильсон при сборке мы совсем доломали. Переделав нос и корму, я наконец собрал лодку, но опять же надел борта задом наперед; тут Чирцов взмолился, чтобы так и оставалось: многие говорят, что «Салют» так лучше плывет. В общем, Чирцовы на новенькой байдарочке с фартуком, в гидрокостюмах и касках рядом с нами выглядели, как изящная IBM PC AT рядом с ЭВМ серии ЕС или даже БЭСМ. (Не могу придумать более удачного сравнения, сочини его, пожалуйста, сам). Маневренность у нас была примерно как у танка средней тяжести. Тем не менее мы плыли: в первый день доплыли до оз. Пирос. Уже в самом начале меня неприятно поразило количество туристов, собирающих байдарки на берегу Валдайки. А на Пиросе добавились новые — с Березайки; их было еще больше.

На Пиросе, если согласишь, такие плесы, среди которых можно неограниченно долго блуждать в поисках русла Березайки. Чирцовы поплыли вперед его искать, а мы неспешно пошли вслед и вскоре потеряли их из виду. У меня были свои идеи о том, где русло, но вдруг меня с берега стали окликать по имени и фамилии. Когда мы приплыли, выяснилось, что это а) не Чирцовы; б) фамилию кричали все-таки другую; в) где Березайка, никто не знает. Но мы, конечно, скоро все нашли, переночевали на Пиросе, и весь следующий день очень мило плыли по лесистой Березайке. К вечеру вплыли во Мсту, где с трудом нашли место для ночевки, и с утра поплыли по Мсте среди толпы разнообразнейших плавсредств. Светило солнце, буйствовала природа, на солнцепеке грелись змеи. К вечеру мы без большого труда доплыли до Опеченского посада, за которым начинаются пороги.

Первым по графику должен был быть порог Большой, про который мне долго рассказывал по телефону Веренинов, советуя в него не лезть. Также и Чирцов предполагал, что нам придется его обносить (но не им, конечно), хотя он тоже знал только описания. Ну, а меня, конечно, подмывало инфантильное желание попробовать в него влезть. И когда вода стала крутом немного бурлить, мы все напряглись, но это оказался порог малый, ничего значительного собою не представляющий. Тут наступило всеобщее расслабление: Чирцов вдруг вспомнил, что до порогов еще должно быть далеко; я хотя и спросил Ларку, надели ли она на ребенка спасжилет, но она мне ответила вопросом, не вставил ли я утром в лодку надувные мячи и не привязал ли, случайно, вещи, так что мне пришлось заткнуться¹.

Осторожный Чирцов поплыл что-то спрашивать на берегу, а я рванул вперед, так что когда Чирцов стал что-то кричать сзади, мы уже въезжали в порог. Сначала он был как Малый, но неуклонно крутел. Скоро мне захотелось повернуть к берегу, но это уже было опасно. Мы прорезали носом пенные валы, а на носу у нас была огромная дырка, т.к. раньше нос был кормой, а рулевое крепление еще в прошлом году вырвалось с мясом. Через нее, да и просто так, в лодку интенсивно поступала вода. Наконец, настал момент, когда я полностью потерял управление. Мы шли вдоль левого берега, прямо на огромный камень и здоровенную бочку за ним. На берегу при этом стоял большой лагерь байдарочников. Тут я не выдержал и повернул влево. Лодка мгновенно наклонилась, наполнилась водой и затонула. Митя сидел впереди, за ним Ларка. Она сразу его схватила, а я мертвой хваткой вцепился в лодку. Все вещи всплыли и поплыли отдельно. Я быстро понял, что был неправ: воды было где-то по пояс, но течение обалденное, а на дне камни; бороться было невозможно. До берега было не очень далеко; мне казалось, что Ларка должна выбраться, но она шла как-то все медленнее, периодически выхватывая Митю из воды, и вдруг остановилась и стала звать на помощь. С берега почти сразу побежали двое мужиков к лодке, стоявшей у воды. Тут меня утщило за поворот, и я уже ничего не видел. Подойти к Ларке я уже не мог никак. Вещи уплывали все дальше вперед, мимо меня вдруг промчалась плохо управляемая байдарка Чирцовых, которые за чем-то кричали мне, что надо спасать вещи. Они уплыли, и тут я понял, что меня сейчас утщит на середину, и что пора спасать уже не байдарку, которую спасти невозможно, а свою личную шкуру. С трудом я отпустил лодку и из последних сил выбрался на берег. Сразу набежали мужики, сообщившие мне, что все живы (в чем я не был до конца уверен), переодевшие

¹ Да, тут я должна признать свою полнейшую неправоту: конечно, надувные мячи и привязанные вещи были бы тоже кстати, но это не отменяет того факта, что спасжилет на ребенка надеть следовало; это особенно становится понятно из дальнейшего описания.

меня в сухое, вылившие в рот стопку спирта и кружку чая. То же они сделали и с другими ЧС, только Митя, кажется, спирт не пил. В состоянии шока я побрел вперед, где за 4 км у порога «Лестница», по слухам, иногда вылавливают плавущие вещи. Там мне, однако, сказали, что вещей плывет так много, что они их уже не вылавливают. Я вернулся обратно и узнал, что один из мужиков, побежавших на помощь, поплыл на каяке за нашими вещами и почти все выловил. Кроме лодки, конечно. Вообще, это оказались профессиональные спасатели, дежурившие в ожидании таких, как мы. (Накануне они дежурили на воде, и выловили бы и лодку). Мы переночевали у них в палатке, и на следующее утро, распрощавшись с Чирцовыми, которые хотели еще спуститься с «Лестницы», поехали належке домой.

Вот такая история. Комментировать ее не буду, думаю, ты легко сможешь это сделать сам. В конечном счете мы потеряли суперстарую казенную лодку (даже весло выловили), Митины резиновые сапоги (подлец Чирцов видел один, но не поймал; а один пришлось оставить), полиэтиленовые накидки, котлы, — вроде бы, и все. Митя, хотя и не успел как следует испугаться, но к воде и так всегда относился настороженно, и не любил никакого водяного насилия; а тут приобрел (т.е. возобновил) настоящую водобоязнь. Это выяснилось уже позднее, когда в Путьшево он наотрез отказывался купаться с бабушкой в пожарном водоеме; я его, конечно же, там все-таки искупал. А там, на Мсте, он только взвизгивал, когда нас окатывало водой на валах. В завершение этой истории следует рассказать, что через пару недель мне позвонила какая-то тетка, сказала, что она ехала с нами в том же поезде, и что они по ошибке выгрузили Митин рюкзак со своими многочисленными вещами на предыдущей станции, и теперь она хочет нам его вернуть. На мой изумленный вопрос, — как она нас нашла? — она пояснила, что некий предусмотрительный человек положил в рюкзак детскую тетрадку, на которой надписал, кроме фамилии и имени, номер школы и номер класса. Остается лишь добавить, что этим человеком был Митя.

February 17, 2001 Subject: Weeklies¹

Александр Гуревич, технический писатель

Работа за неделю: Перевод из одной больницы в другую с выполнением предварительных анализов — анализ наследования, сбор информации и частичная компонентизация. Отпущен из больницы для проведения дома выходных.

Проблемы: обнаружена нефункционирующая компонента (одна почка), которая помещена во внешнюю оболочку.

Планы на следующую неделю: до четверга — завершение компонентизации и подготовка к трансформации. Четверг 14.00 — трансформация.

¹ Отчет о работе за неделю.

На только что прошедший рок-фестиваль никто из знакомых не ходил, кроме Боба, да и ему ничего не понравилось. Я бы выбрался на что-нибудь, но был занят празднованием д.р. и подготовкой к этому (в частности, очень удачно получил на почте твою открытку с видом итальянского винного магазина по дороге из 11-го винного магазина в 12-й за этот день; правда, в 14-ом вино нашел, но пришлось лезть без очереди; чуть опять морду не набили), а также вообще к отъезду. Зато съездил в Москву на Пинк Флойд: зрелище феерическое. Слушал недавно «Алису», «Кино» и «ДДТ». Все хорошо, но на «Кино» у меня украли куртку.

Потом — съезд. Вот это было времечко! Ты такого не видел. У нас на работе, как и везде, в каждой комнате было включено радио (кое-где, правда, телевизор) и все мои сослуживцы, нормальные вроде бы люди, как умалишенные слушали, — пусть очень важный был съезд, но ведь не все же подряд! А я не хотел слушать, мне работу надо было делать. Но деться было некуда. Вот когда я понял, что такое тоталитаризм! Да меня и Брежнев в десять раз меньше задалбывал политикой: я его газеты не читал, радио не включал. А вот когда все вокруг сами включают, — это страшно! И слушают, как идиоты. Две недели подряд! А попробуешь им сказать что-нибудь, так смотрят, как на врага. Что это? Нет, странная у нас перестройка; и общество у нас тоже какое-то странное. Это не Америка, здесь, конечно, тоже можно объявить капитализм, но за него надо будет бороться, украшая дома лозунгами: «Вперед, к победе капитализма!» «Капитализм — будущее человечества!» К тому все и идет. Теперь вот Народный фронт в Питере организуют. У нас проходило учредительное собрание, — конечно же, в рабочее время! Это уже по анекдоту, — забастовка за два отгула. Ей-богу, раньше не работали и пили водку, а теперь все не работают гораздо больше, и занимаются политикой. Не удивительно, что мыло по талонам. Надо думать, что на мыловаренных заводах проходят митинги за увеличение производства чая.

April 20, 2001 Привет, Серж!

Поздравляю с закрытием лыж. сезона. У нас тут снега уже вообще нет — вчера был в Пупышево, так даже в лесу практически не осталось: уже цветочки выползают, лягушки прыгают (где они зимуют, кстати?), бабочки летают. Даже шмеля одного видел. Завтра хочу опять туда поехать. Врачи, суки, все тянут: обещают теперь только после майских праздников прооперировать. А то предложили, было, и вообще еще полгода с нефростомой этой пожить. Я сам там не был — Ларка ездила, так, говорит, орала там на них как ненормальная, что я за полгода и ее зарезу, и сам удавлюсь. Что ж, предположение не вовсе невероятное. Я вообще-то человек терпеливый, но всему есть свои пределы.

Так самочувствие ничего: нога еще отнюдь не идеально работает, но вчера уже прошел около 10 км по проселкам и заболоченному лесу. Если бы только не нефростома эта долбанная...

Ну и пока, твой А. С.

Июнь 1989
Ларисе Мелиховой

Ларка! Ура! Ну ваще... Дык это... в натуре! В общем, это, ну если, так сказать, в смысле того, что привет!

Наконец-то я, как говорится, нашел time&place, чтобы написать тебе что-нибудь. Нашел я все это в пригородном поезде Череповец-Вологда. Поезд немного трясет, так что извини, если почерк неровный. А до того, в Питере, времени, извини, не было. И так-то я страшно поздно выехал — вчера, т.е. в субботу, в 12-м часу вечера¹.

Не знаю, когда бы я уехал сам, если бы не Романыч. Он со своей новой попутчицей Таней отправился кататься на велосипедах в Чудово. Выезжали они на последней электричке, и я решил напрячься, чтобы кровь из носу выехать с ними, хотя в принципе через Чудово ехать совершенно не собирался. Но, зная, что электричка хорошо стыкуется с поездом на Боровичи, решил поехать из Боровичей стопом. Так оно и вышло; но воскресный стоп был так ужасен (в результате я ехал на 4-х частниках и одном заказном автобусе), что я потерял много времени, и вместо нормы, которую я себе назначил (1000 км в сутки) за сегодняшний день сделал только 600 км до Вологды. Письмо тебе начал писать в страшно тащучем вологодском подкидоше; в нем потом завязался интересный разговор, из которого я узнал, что Вологду терроризируют вьетнамцы (привезенные работать на льнокомбинат и уже образовавшие торговую «мафию»), в Череповецком районе крестьяне недовольны тем, что в пустующих деревнях расселили китайцев; корейцев вологодцы уважают, т.к. они — народ трудолюбивый, но вся вологодская область страшно боится, что к ним привезут турок-месхетинцев.

Потом я полночи тащился из Вологды на грузовом тепловозе в Буй; 130 км мы ехали 5 часов. В Буйе сел в грузовой электровоз, на котором неплохо доехал (и поспал) до Шарьи, правда, на последней станции перед Шарьей пошел погулять, и когда поезд тронулся, я успел вскочить лишь в один из последних ва-

¹ Предыстория этой поездки такова: наш однокурсник Роман Романыч Запатрин — бродяга-путешественник, математик, полиглот, отец шестерых детей от нескольких жен, — однажды поспорил с Сашей, возможно ли проехать бесплатно от Ленинграда до Владивостока. Случай проверить представился, когда Саша вписался переводчиком в экологическую экспедицию на Дальний Восток: вместо того, чтобы лететь на самолете с оплаченным билетом, он поехал зайцем на поездах. (Кстати, сам «гуру» таких путешествий — Романыч никогда не ездил в свои поездки один; всегда с «попутчицей», которая по прошествии времени рожала ребенка и переходила в статус жены, а на ее месте появлялась новая попутчица.)

гонов, из-за чего в Шарье не успел пересесть на товарняк, который тронулся, когда мой вагон еще до него не доехал, зато успешно попросился в скорый поезд Москва-Чита, где тебе сейчас и пишу.

Май 13, 2001

Привет, Катя!

С понедельника я снова в больнице — и, если на следующей неделе (дай-то Бог!) прооперируют, то, видимо, почти до конца месяца. Зато потом уже все!!!

Успехов,

Саша.

Июнь 1989

Ларисе Мелиховой¹

Дорогой кот, привет!!!

Пишу тебе, как видно по почерку, опять в пассажирском поезде. Путешествие мое подходит к концу, осталось всего лишь 1,5 тыс. км — просто смешно. Но и их надо проехать, а я уже отправил Свиныхову телеграмму со станции БАМ, что в четверг буду у него. (Одновременно отправил тебе; папаша уже, наверное, на мыло изошел от волнения. Но до сих пор не позволял себе задерживаться даже для этого. Было время в Улан-Удэ, так там телеграф был закрыт; а в Петровске-Забайкальском, куда декабристов ссылали, тоже было время, но по случаю позднего часа все было закрыто.) Так что еду сейчас по Амурской области на поезде Москва-Благовещенск; еду, разумеется, инкогнито. Вообще я пока что за проезд еще не заплатил ни копейки, хотя, если быть точным, то однажды ночью в плацкартном вагоне мне пришлось для маскировки взять белье, и я переплатил проводнице 1 коп. Но, по-моему, это не в счет; надо уточнить с Романьчем.

Про саму дорогу рассказывать можно долго; вообще, я считаю, что каждый российский житель должен по ней хотя бы раз проехать. Красота здесь неопишуемая; везде, где дорога прорезает какие-либо гряды (горы, холмы, сопки), она проложена по долинам каких-нибудь рек. В Забайкалье, поскольку все оно гористое (какой дурак нашел в нем какие-то степи?), она только вдоль рек и идет; потому такая извилистая. Сейчас уже фактически ДВ, стало поровнее. Вообще должен сказать, что, рассуждая о сибирских просторах, мы (во всяком случае, я) способны представить себе их только до Байкала. А ведь дальше — еще столько же! Это уже совсем незнакомая земля; причем Бурятия — земля обетованная по сравнению с Читинской

¹ Во Владивостоке ждет приятель — Володя Свиныхов, сотрудник ДальНИИ, но до того еще предстоит проехать через всю Сибирь.

областью. Вот где глухомань! Тысячи километров — только тайга и железная дорога. Ну, при ней, конечно, минимально необходимые станции. И все. Это круто! Даже с нашим Севером не сравнить. Может быть, потому, что местность холмистая, иногда видно далеко, — и все то же самое. Неудивительно, что сюда всех ссылали. Понятно также, почему здесь кончаются все дороги, кроме ж/д. Но тайга там повеселее, чем до Байкала, — более светлая (там темно-зеленая), разнообразная, округлости сопкок более явно выражены. Впрочем, сама понимаешь, мои впечатления субъективны: например, до Байкала на меня наибольшее впечатление произвели мачта перед Красноярском (в районе водораздела Обь-Енисей), где я ехал на электричке, а также перегон Тайшет-Нижнеудинск, где я ехал на товарняке. А вот от Красноярска до Тайшета я спал в фирменном поезде «Россия» (до сих пор благодарен проводнику. Вообще в Сибири проводники берут очень неплохо), так что не знаю — может, там еще круче места были. А вот юг Западной Сибири (Омская область), где я проезжал, мне что-то не понравился: малоинтересный.

Насчет Байкала — особый разговор. Подробно его описывать не буду и пытаться. Главное, что меня поразило — это то, что по сути Байкал — горное озеро. Проще всего представить так: возьми Искандер-Куль, добавь к нему немножко Кенозера (лесистые горы) и, может быть, еще чуть-чуть от нашей Карелии на севере Ладоги (скальные обрывы). То, что получилось, умножь в поперечном направлении на коэффициент 100, а в продольном — на бесконечность. Примерно так. Я проторчал там сутки, из них прошел 30 км по старой ж/д ветке от порта Байкал на юг; остальные 50 км я по ней проехал; ну, и + стандартные 200 км на товарняке вдоль берега. Приехал же я поначалу из Иркутска стопом в Листвянку и немедленно, отойдя от поселка, стал искать, где бы искупаться. Но это вдруг оказалось невозможным из-за простого чувства безгласности: весь берег Байкала был густо усеян спаривающимися мотыльками-однодневками (нечто вроде тараканов с крыльями). Сколько их там было — не берусь оценить даже порядок. Они ползали по всем камням, свисали гроздьями с обратной стороны скал, а те места, куда докатилась когда-то волна, были покрыты буквально горами их трупов. Во всем этом было что-то пугающе азиатское. Я все-таки нашел потом, где искупаться, а потом облака рассеялись, и оказалось, к счастью, что эти твари не любят открытого солнца. Так что я купался еще трижды; однако, долго там не расплаваешься. Вода необыкновенной прозрачности и цвета; однако, я видел и Байкальский ЦБК, после чего готов вступить в любое общество друзей Байкала: не надо быть ученым, чтобы понять, что если комбинат не остановят, Байкал погибнет.

Еще пара характерных сибирских впечатлений: во-первых, почему-то в большом количестве голые березы — одни стволы, без листьев. То ли это болезнь, то ли что другое. По всей

Сибири густо растут красивейшие оранжевые цветы; местные называют их «жарки». Они по форме цветка немного похожи на розы, но поменьше, а растут на длинных стеблях в таких количествах, как у нас одуванчики. Одуванчики тут тоже есть, и еще какие-то прекрасные желтые цветы типа лилий; еще есть белые. Да и вообще! Все, что у нас есть, здесь тоже растет (кроме дубов). А деревья! Пихты, лиственницы, кедры. Глаз не оторвать!

Еще народ здесь употребляет слово «однерка», что значит «единица, или нечто одинарное (однократное).

Май 24 2001

Привет, друзья!

Просто хочу вам всем сообщить: я успешно перенес вторую операцию и теперь дома — немного слаб, официально еще на больничном и имею внутри себя на одну почку меньше, чем раньше, — но уже полон планов на будущее. Другими словами, «alive and kicking¹» — живу и лягаюсь, особенно левой ногой, которая так же сильна, как и раньше. (Правая тоже сильна, но пока не очень хорошо с координацией. Кроме того, над ней имеется свежий шрам, что плохо помогает лягаться или делать другие эмоциональные движения).

ТЕЛЕГРАММА

Поздравляю приездом извини молчание все хорошо приближаюсь цели субботу торчал Байкале = муж

Думал, что бумаги у меня больше нет (и ту-то кланчил у пассажиров), но вот нашел в кармане первый вариант утренней телеграммы, которую не стал отправлять, потому что сообразил, что можно ведь и просто передать письмо с Сережей.

Что касается приключений, их тут у меня особо не было. Разве что одно: когда я выезжал вечером на товарняке из Кургана, ко мне уже на ходу, предварительно спросив разрешения, прыгнул какой-то парень. Я его сначала слегка побаивался, а потом понял, что он совсем еще юный и неиспорченный (на вид лет 20). На станции Макушино нас с ним торжественно сняла с поезда станционная охрана, передав затем менту (что, надо сказать, изрядно нас затормозило). Парень оказался без документов и объяснял менту (как и мне), что ему надо в Омск, где он живет. В результате мы сели на «деревянный» поезд (так называл его мент, потому что поезд из Фрунзе, и проводники на нем все чурки), но проводник высадил нас на первой станции, откуда мы к утру на товарном электровозе с трудом прибыли в Петропавловск-Казахский. Там мы рванули на трассу, и к сере-

¹ Alive and kicking — английское выражение, означающее что-то вроде «жив-здоров» (дословно — «живу и лягаюсь»).

дине дня были в Омске. В Омске мы расстались т.к. оказалось, что ему дальше (хоть раньше он мне говорил, что в Омск), а я скрывал от него, что у меня есть деньги, и был обречен вместе с ним голодать. Так вот, через сутки мы с ним встретились в тамбуре поезда Москва — Северобайкальск, попав туда совершенно разными путями: он — по ж.д. на товарняках, а я — стопом, через Кемерово. В результате он попал в свой Красноярск раньше меня, т.к. меня высадили из этого поезда на ст. Козулька.

June 17, 2001

Новости, скажем так, средней хорошести. Сделали мне контрольную томограмму головы и опять обнаружили там какое-то образование. Но пока неясно — то ли это новая опухоль :(, то ли последствия операции :).

Велели повторить снимок через два месяца, а пока жить спокойно. Что я и пытаюсь делать. В ходе этих попыток я открыл для себя интересный психологический закон: оказывается, человек не может быть внутренне настроен на сколько-то процентов на хорошее, а на сколько-то — на плохое. Тут ситуация сугубо однобитовая — либо так, либо этак. Так что у меня нет другого выбора, кроме как верить в лучший вариант. Хотя жаловаться на то, что у меня нога практически не становится лучше, я теперь на всякий случай не буду: тут уже боишься, как бы не начали появляться «явные признаки ухудшения состояния», что свидетельствовало бы о плохом варианте.

Пока и всех благ, А. С.

Июнь 1989

Ларисе Мелиховой

Привет, Животное!¹

Пишу тебе сегодня, а не завтра или вчера, т.к. именно сегодня, дай Бог, определится наша судьба (knock on the wood). Невозможно описать, какой дикий бардак царит тут по поводу приезда иностранцев. Т.е. не то чтобы бардак, а просто немыслимый клубок проблем, для человека со стороны кажущийся безусловно неразрешимым².

¹ Под словом Животное имеется в виду шиншилла, изображенная на конверте.

² Год, заметьте, 1989 — иностранцы в России еще в диковинку, а уж в Приморском крае, который еще недавно и для русских-то был закрыт как пограничная зона... Нужно получить разрешение поехать с иностранцами (!) на остров Фурутельма в Японском море, дело неслыханное для режимных начальников. Экологическая ассоциация, организовавшая мероприятие — в лице своего создателя Сережи Швейко — немного напоминала известные «Рога и копыта», хотя все же удалось осуществить еще несколько турпоходов по России с участием иностранцев.

Серезжа, конечно же, чистой воды авантюрист: в то время, как он сидел в Ленинграде, люди тут пытались решить эти проблемы, практически не имея связи с ним. На момент приезда иностранцев этот самый приезд не был согласован почти ни с кем, и было совершенно неочевидно, что будет. Материальное обеспечение тоже практически не было организовано, а здесь это сделать потруднее, чем в Ленинграде. Люди здесь не занимались этим заранее по той простой причине, что никто не был точно уверен, что будет в наличии сам объект, т.е. что иностранцы действительно приедут. К счастью, тут ребята имеют связи, знают, как это делать, и в партийных инстанциях все прошло хорошо, но на пограничников давление оказать трудновато. И вот только сегодня начальник дальневосточного пограничного округа подписал разрешение поехать на остров. А ведь мог и не подписать — запросто!

Во Владивостоке все гораздо сложнее, во-первых, в отношении секретности. Город полувоенный, для иностранцев пока закрыт (то есть они есть, но на каждого надо спец. разрешение). Т.е. их здесь мало; а КГБ, напротив, много. Поэтому, как я полагаю, их внимание неотступно приковано к нам. Вчера, например, у американца во время катания на яхте при крайне загадочных обстоятельствах исчезла зап. книжка. Я сидел рядом (он, наверное, думает, что это я ее спер) и почти уверен, что потерять он ее не мог. Кроме того, здесь трудно со снабжением, т.е. с едой. Здесь есть хорошие, неразбавленные натуральные продукты — молоко, сметана, пиво, квас, но еще больше чего здесь нет, и нет не в нашем смысле (т.е. где-то есть, но не для всех), а вообще нет. Чтобы организовать в день приезда ужин в ресторане, привлекли некоего миллионера, который оплатил этот ужин. Ужин стоит 150р. и еще 100 (!) он дал сверху. Но ужин был неплохой. Миллионер, напротив, человек плохой, но забавный. Я еще никогда не слышал, чтобы человек, которому сказали, что не удастся достать машину для иностранцев, говорил «Я на часок выйду, пойду куплю (!) вам машину», Слава Богу, его удержали.

Я не буду пытаться описывать город. Скажу лишь, что по архитектуре он весь современный. Но благодаря необычайно живописному расположению на склонах сопок и морю с трех сторон (это ни на что не похоже, зрелище завораживающее; говорят, похожий вид у Сан-Франциско) даже дерьмовая советская архитектура выглядит как (органичный) элемент пейзажа. Не знаю, как это понравилось иностранцам; поскольку они все шизнуты на экологии, то могло и не понравиться: в конечном счете удобной жизни для человека в данном куске городского пейзажа здесь нет и в помине. Понаставили на сопках коробки, да и все. Хорошо, что коробки разные, так что глаз хоть немного радуется. Володя мне рассказал, что на заводе здесь уже отделили фигуру Ленина высотой 35 м, — больше, чем статуя свободы, — чтобы поставить ее на сопке, обращенной к морю. Но общественность протестует, так что, может, и не поставят.

Короче последние три дня я мотаюсь здесь, как бобик. Вчера была встреча в Госкомприроде, и мне пришлось переводить. Это был кошмар! Я так хорошо понял, как нелегко хлеб переводчика, что больше его не захотел. Встреча длилась не меньше 2-х часов, и напоминала слегка театр абсурда. Очень подробно и в деталях интересуясь организацией экологического дела за границей и активно призывая к сотрудничеству, никаких конкретных форм сотрудничества они так и не обсудили. То, что наши рассказали о себе, больше всего напоминало мечты гоголевского Манилова, который хотел мост построить там через что-то. Как мне пояснил вечером Свинухов, они: а) ничего не понимают, б) ничего понимать не хотят, в) даже если бы они и хотели, не имеют на это ни прав, ни средств. Я думаю, мне обязательно надо будет прочесть иностранцам лекцию об истинном положении вещей.

July 18, 2001

> Продолжай сообщать о своей температуре
Привет! Как договаривались, пишу верлибром.
Температура вчера
была 37 и 5, а сегодня — 37 и
один. А на улице
температура растет, так что, в общем, сближение
внутренней и наружной температур
продолжается. Твой вентилятор включил —
не знаю уж,
простужусь я снова под ним или
выживу. Диск твой С, видно, хочет
грохнуть: поврежденный кластер уже
содержит он. Мама моя уже дома, выписана
из больницы со смутным диагнозом. Мама твоя
звонила недавно и
вконец достала меня призывами
не ездить в лес в воскресенье, ты уж
ей позвони иль еще чего-нибудь.
Она еще и зайти собирается,
как и папа мой, что, по-честному,
начинает попросту утомлять меня.
Не на эту я жизнь рассчитывал,
отпуская тебя в Московию.
Тут уж не до моей несчастенькой
мамы, выпущенной из клиники:
не могу же я всех родителей
враз принять, хоть и болен чем-то я.
Видно, надо скорей поправиться
и от всех умотать куда-нибудь.
Прилетай же сюда, голубушка,
защити меня от злых коршунов.
Почему-то я с верлибра сбился на былинку —
но, думаю, это ничего.
Пока, alexg

У Свинухова жить очень даже неплохо. Его дом стоит над морем (как многие тут), до пляжа 10 минут ходу (но они тут не купаются, считают, что в городе море грязное, из окон прекрасный вид. Возил меня на остров Русский, где заставлял ловить и есть креветок, гребешков и рыб. Кость от рыбы красноперки застряла у меня в глотке, и когда мы на следующий день приехали во Владивосток, пришлось идти на ночь в больницу ее вытаскивать: она очень кололась. Сам остров мне не безумно понравился, потому что там база флота, и часто ходят моряки. Они украли наш нож и всех гребешков. А открытого моря там не видно: глубокий залив, совсем как озеро. Видел кладбище военных кораблей — жуткое зрелище!

Погода здесь очень странная: утром сплошной туман, ни хрена не видать, а после обеда начинает вылезать солнце. И потом становится довольно жарко.

Спасибо тебе за все, что прислала. Не знаю, зачем тебе мешок морских ежей, попробую чего-нибудь собрать, но лямки от рюкзака совсем отрываются. Всем привет! Жду! Твой Puss.

August 02, 2001 12:26 PM

Ларка, привет!

Я решил в поход идти. Сейчас уезжаю на работу с рюкзаком.

Если есть ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ возражения — срочно напиши. Минут десять я еще буду в он-лайне.

С.

August 02, 2001 12:40

> Ты убивец!

Ничего, ничего — погуляем без спешки. Мне тоже трудно :).

August 02, 2001 12:50

Пока, я поехал! С.

October 26, 1990

Alison Sen

Dear Alison!¹

Могу сказать тебе совершенно честно, что я был потрясен, когда получил твое письмо! Все же мое долгое молчание простительно: возможно, Лариса уже описала тебе нашу ситуацию нынешней осенью.

Начну с летних событий: главным моим приключением была моя личная «помощь» Ассоциации. Меня попросили подумать

¹ Англичанка Элисон — одна из тех отчаянных иностранцев, которые не побоялись поехать в экспедицию на остров Фуругельма. Наша дружба с ней сохранилась на долгие годы, в частности потому, что в Лондоне живет также мой отец, эмигрировавший на Запад еще при советской власти.

насчет байдарочного маршрута, который имел бы какое-то экологическое значение, и в то же самое время был бы связан с какими-нибудь историческими местами, памятниками и достопримечательностями. Я решил, что лучший вариант — это старый канал Пера Великого, который он построил для того, чтобы создать кратчайший водный путь между Петербургом и Москвой. Как многие проекты в России, этот канал был построен на костях бесчисленного множества людей (рабов), но так никогда по-настоящему и не использовался так, как это планировалось. Очевидной отправной точкой маршрута казался водораздел между двумя водными бассейнами: Ладожского озера (т.е. Балтийского моря) и Волги (Каспийское море). Две реки, текущие в противоположных направлениях, были в этом месте соединены каналом, и на нем были построены десятки шлюзов для того, чтобы уравнивать и поддерживать уровень воды.

Таким образом, я придумал привезти туда группу людей на пяти байдарках; группа состояла из 6 американских экологов из Сиэтла. Я даже съездил специально в это место, чтобы на него взглянуть (оно находится в 300 километрах от Ленинграда, и я никогда раньше там не был); я прошел около 20 км вдоль канала; мне показалось, что в некоторых местах воды было недостаточно, но в целом все выглядело вполне сносно.

Печальная правда обнаружилась на второй день путешествия: канал оказался совершенно непригодным для плавания на байдарке; он был либо слишком мелким, либо слишком узким, либо в нем совсем не было воды. Местные жители объяснили, что при Советской власти (после Второй Мировой войны) было решено разрушить всю систему, поскольку никто не хотел ее поддерживать. Шлюзы сломали, и уровень воды упал до того уровня, который здесь был 250 лет назад. Поэтому мы несколько дней выполняли тяжелейшую работу: либо переносили байдарки на себе, либо толкали или тянули их по заболоченному руслу бывшего канала. Слава Богу, с нами были два очень сильных и тренированных русских парня, профессиональных байдарочника. Один из американцев тоже оказался очень силен физически и умственно. Но и он не был в восторге от необходимости нести на себе байдарку, находясь по пояс в грязи! Другие же (три женщины и два гомосексуалиста) временами впадали в депрессию, но в то же время сидение вечером у костра, красивая природа и теплота окружающих сгладили плохие впечатления.

Так что американцы, безусловно, будут вспоминать этот поход с весьма смешанными чувствами, но уж в чем я абсолютно уверен, так это в том, что они его не забудут никогда! На прошлой неделе я получил письма от двоих из них, и они с уверенностью высказали ту же идею.

После моего возвращения из похода приехал Ларкин отец. Проживание с ним напомнило мне нашу жизнь на ост-

рове — по крайней мере, по числу часов, отведенных для сна. Придя домой после работы в компьютерном центре (примерно в 12 ночи) мы еще пару часов пили водку и болтали с недавно обретенным тестем. Если бы при этом не приходилось вставать в 7.30 утра, все было бы вполне приятно: в районе 2 часов ночи новый член семьи отправлялся спать, а мы еще часа два занимались написанием отчета, в котором обобщали результаты компьютерных расчетов.

В начале октября этот жизненный период закончился: новый родственник улетел в Лондон, отчет был послан заказчиком, а мы отпраздновали начало новой жизни недельным путешествием по четырем старым и знаменитым городам России: Вологда, Великий Устюг, Киров (бывшая Вятка) и Галич. К сожалению, жена заставила меня воспользоваться «консервативным» способом путешествия на поезде, т.е. мы почти каждый раз покупали билеты; это угнетало, но я старался не слишком переживать. Больше всего нам понравился Великий Устюг — маленький городок на берегу Северной Двины, целиком состоящий из монастырей, церквей и старых домов, составляющих лицо города, редкий случай среди российских городов, которые были полностью разрушены либо во время Второй мировой войны (это не относится к северным городам — немцы не дошли досюда), либо подверглись существенным разрушениям во время революции или после нее. Только удаленность от центра могла спасти город — что и случилось с несколькими городами на севере, расположенными в удалении от основных железнодорожных маршрутов (забавно, что изначально они были построены на основных речных путях), которые все еще сохранили очарование старого времени.

Ну вот, теперь, возможно, у тебя есть некоторое представление о том, чем мы занимались и почему не могли ответить тебе сразу же. Ты знаешь, что для меня писать письма — серьезная работа, по крайней мере мне нужно для этого освободить пространство в своей ежедневной рутине. Но как же мне стало стыдно, когда после письма мы получили от тебя еще и посылку, а я все еще не написал письмо. Спасибо огромное! Все было очень здорово, особенно шотландский тост, который я немедленно выучил наизусть, хотя и не понял до конца. Не можешь ли ты объяснить мне, что это значит: “May the mouse ne’er leave your girdle/ Wi’ a tear drap in its e’e”?

Мы с Лешей уже начали лыжный сезон: в прошлое воскресенье прошли 36 километров по очень мокрому снегу. Жена называет нас мазохистами — боюсь, что она не улавливает главную идею. Пожалуйста, пиши! Счастливого Рождества!

Твой,
А.К.

September 10, 2001

Да ты чего, Ларка! Там же это еще только на шести мышках попробовали!

(То есть я-то готов быть седьмой, но кто ж мне даст!)

А насчет «специалиста, который скажет, как подействовать на все», так я с таким специалистом сейчас общался. Его фамилия Бердников — может, слышала. Он мне дал целую бутылку яда — такого, что если из нее отхлебнуть, так уж точно на все сразу подействует, причем радикально. Называется — настойка болиголова. Предполагаемый эффект тут основан на том соображении, что здоровая часть организма умеет лучше приспосабливаться к яду, чем испорченные клетки. То есть как бы та же самая избирательная химия. Только вот клинические испытания в Минздраве не проходила, и поэтому с врачами даже советоваться насчет нее бессмысленно.

Ну ладно, жду реакции (пока твоей). Кстати, я купил входной билет на Т. Джонса за 350 р.

С.

11 ноября 1990
Сергею Либерману

Привет, Сережка!

Хоть и не люблю я об этом рассуждать, а придется мне прокомментировать твоё высказывание о «единственно верном» выборе, ибо я почуял в нём некий challenge. Я ведь никогда не возражал против права любого человека сделать свой выбор, — а уж какой у него будет верный, это от самого человека зависит. Но я самым решительным образом возражаю против навязывания кому бы то ни было его выбора за него. Заметь, что я никогда ни одним словом не попытался тебя остановить, и убежден, что правильно делал, хотя мне до сих пор не по себе бывает глядеть на окна бывшей твоей квартиры (слава Богу, хоть недавно гореть стали). Мой долг, если хочешь, состоял в том, чтобы не лезть тебе в душу, а дать тебе решить все самому. Для себя я тоже все уже давно решил, и мою телефонную фразу, что «мы все равняемся по тебе», ты понял неправильно. Я имел в виду, что мы все время о тебе помним и думаем.

Я не зарекаюсь вперед, что никогда не уеду из Союза. Времена пошли такие, что приходится реально думать о безопасности детей и женщин. (Впрочем, Костя поступает тут наиболее последовательно: Маришу с детьми он отправляет в Израиль, а сам остается спасать Россию.) Но я точно знаю, что уедь я за рубеж — не будет мне там счастья, а объяснить это ощущение я могу лишь с помощью английского глагола «to belong». Так вот, я — belong. А кто точно чувствует «I don't belong», — тому и надо ехать. А про многих я сам могу сказать

«He belongs there more than here». Надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что в отношении тебя именно это я ощущал уже за годы до твоего отъезда.

Но, однако же, сейчас ситуация и впрямь напряженная. Belong, не belong — многие едут из страха. Их можно понять! Все, кто мог, из нашего класса разъехались, я на переднем фронте остался. Может, и удержусь. Не знаю только, как Россию спасти, особенно когда лучшие люди уезжают. Боюсь, что у меня одного может и не получиться.

Тем более, что я сильно ослаб сейчас, болею. Получилось так, что я прошедшее воскресенье я прошел на лыжах около 60 км (от Житково до Рощино, если еще помнишь), шел 19 часов в пургу навстречу ветру (а там 25 км по озерам), опоздал на последнюю электричку и еще в Рощино напился холодной воды. Результат не замедлил сказаться: сегодня у меня очередное лыжное воскресенье, но на улицу я выходить еще не решаюсь. (А погода прекрасная! Как ни смешно, в марте опять насыпало снега и чуть подморозило.) Всего бы этого не было, если бы утром меня не тормозила Ларка, которую я сам же заставил поехать с нами. Из-за нее первые 12 км мы шли 7(!) часов. Потом она отвалила, а Рыбкин потерялся. Но он бы со мной не пошел — испугался бы пурги.

Короче, все праздники (помнишь ли ты, что такое 8 марта?) провалялся, причем ни один врач не знал, что со мной такое, а стоматологи сторяча даже вырвали два зуба, усугубив мои мучения. Праздник 8 марта в отделе был, вероятно, сорван, потому что кто же мог без меня его провести? А на 23 февраля по данным опроса женщин всей обсерватории я оказался самым популярным мужчиной в нашей конторе.

September 11, 2001

Ларка, привет!

У меня все хорошо, погулял с Либерманом. С утра выпил одну каплю яда.

Состояние в целом туда-сюда, но вот зрение явно скоро грохнется, если ничего не изменится. Уже надо делать усилие, чтобы ясно увидеть картинку. (Я имею

в виду общую: отдельные картинки на выставке Заславского я вроде видел неплохо :>).

Привет,

alexg

На работе дела у меня что-то идут ни шатко, ни валко. Пошел третий год аспирантуры, — надо бы без задних ног диссер склепывать, а я, наоборот, как-то размагнитился. Советская власть в лице наших режимных начальников меня по-

прежнему обижают, не хочет пускать в служебную командировку за границу. По-моему, в условиях нынешней гласности я один такой остался. Последний случай просто вопиющий: не хотят пускать меня на конференцию в Данию в апреле, при том, что пребывание там оплачивают датчане!¹

Из культурных новостей самое последнее и значительное событие — приезд Ростроповича. Было два концерта, но на самый крутой, где он играл на виолончели, нам попасть не удалось (!) Лом был почище, чем на Горовица. Менты (!) очень тщательно смотрели билеты, а Ларка их не очень хорошо нарисовала. Но на предыдущий концерт у нас был один билет (папа получил по книжке блокадника) а второй Ларка нарисовала более тщательно, чем потом. Так что слышали мы, как М.Л. дирижирует 8-й симфонией Шостаковича. Хорошо дирижирует, просто отлично (хотя на виолончели играет, говорят, все равно лучше).

От Ларки тебе привет! Галине Яковлевне большой привет. Живи — пиши. Мы тоже — живы будем, напишем. Как видишь, пока что слухи о нашей смерти оказались преувеличены.

October 19, 2001

> From: Larisa Melikhova

> Dear Dr. Harper,

> Моя подруга — психолог из Guy's Hospital Катя Голынкина — обсуждала с Вами возможность лечения моего мужа с помощью талидамида.

> Если лечение в Вашей клинике возможно, прошу Вас ответить на следующие

> вопросы:

> 1. Совместимо ли это лечение с химиотерапией?

> 2. Как долго нужно находиться в Лондоне? Можно ли будет взять с собой лекарства

> для продолжения терапии на дому?

> 2. Сколько приблизительно будет стоить курс лечения?

> Спасибо, Лариса Мелихова

¹ Вот вам и свобода: выездные комиссии давно отменили, но «Первый отдел» на работе продолжает работать. С этим отделом Саше уже довелось однажды познакомиться ближе: начальник вызвал его в аккурат в день рождения и несколько часов «беседовал» — фактически, вербовал. Я больше всего боялась, что начнут шантажировать тестем — папа в тот момент жил в Мюнхене и работал на радио «Свобода». А знаете, как Саша выкрутился? Сначала, конечно, говорил, что ничего не знает про своего тестя. На второй встрече (третьей, слава Богу, не последовало) начальник строго спросил: «Узнали у жены, где ее отец?» Саша, невинно поморгав глазами, сказал: «Вы же велели никому не говорить про наш разговор — я и не говорил, так что ничего не мог спросить (а сам кому только не рассказал!). Особист не нашелся, что возразить.

26 мая 1990
Сергею Либерману

Дорогой Серж, привет!

Что-то в последнее время стал я часто ощущать некий зуд по части писательства. За короткое время написал (впервые в жизни) письмо в журнал «Огонек» (так и не напечатанное) и заявление в КГБ (так и не отнесенное). Кроме того, в большом количестве расплодил на известных мне языках рекламные тексты, горячо призывающие различных иностранцев приезжать сюда и ходить с нами в походы — на байдарках и вообще. Все упомянутые документы могу для смеха послать тебе, так что не удивляйся, если что такое придет¹.

Спасибо тебе за большое и правдивое письмо. Вообще, я очень растроган твоим столь нетипичным для ряда людей забыванием друзей, оставшихся коротать свои дни в обстановке всевозможных хаосов, нестабильностей, коллапсов и шортэджейсов (хотя формально рэйшониинг остался только лишь на сахар). Попробую же направить свои прорвавшиеся эпистолярные наклонности в нужное русло и напишу тебе, а не, например, в КГБ. В последнее время я так много спорю с людьми, трачу на это столько своих и чужих нервов (а порою доходит до эксцессов — например, при обсуждении некоторых вопросов марксистского мировоззрения с участием моего папы и тещиных друзей Ансельмов вообще было недалеко до мордобоя, в частности, между мной и Ларкой; вообще, вероятность подобных эксцессов резко возрастает с каждой принятой рюмкой), что почитаю за отдых спокойно изложить на бумаге то, что у меня имеется сказать и заодно проверить себя, действительно ли оно имеется.

Вот, кстати. Сейчас около 6 вечера по-нашему, я сижу у себя в комнате, а за окном раздается вполне явственный звон колоколов. Это звонит Владимирская церковь, которую в этом году передали верующим, и на пасху спешно открыли, хотя ничего еще не починили и даже кресты обратно не приделали. Все равно на пасху собралась толпа на пол-площади; троллейбусы с Загородного еще как-то через нее проезжали с помощью милиции, а вот 38-е, у которых кольцо проводов подходит к самому тротуару, застревали безнадежно. В первый раз в жизни я видел, как открыли все ворота на площадь из садиков, так что крестный ход действительно смог обойти вокруг церкви. В общем, «жизненное поле» вокруг твоей бывшей квартиры сильно изменилось, особенно учитывая, что церковь теперь уверенно звонит каждый день перед 9 утра и 6 вечера, — громко и по-

¹ Ни письмо в «Огонек», ни заявление в КГБ не сохранились; по-видимому, и то, и другое было связаны с еврейским вопросом — слухи о еврейских погромах, выступления общества «Память» и отдельных «клинических антисемитов» сильно нагнетали обстановку.

долгу. Я к этому отношусь весьма положительно, хотя повальная мода сейчас на религию для меня лично — фактор отталкивающий. Еще летом я подумывал, не креститься ли мне, но сейчас это желание практически не возникает¹.

November 04, 2001

> From: Larisa Melikhova

> Dear Doctor Harper,

> К сожалению, я все еще не получила от Вас ответа по поводу лечения талидомидом, > хотя Ваш секретарь обещала мне 1 ноября, что Вы ответите очень скоро. Я не

> беспокоила бы Вас так часто, если бы это не был вопрос жизни и смерти для

> моего мужа, о чем я Вам писала в письме от 19 октября (копия прилагается). Если

> Ваш ответ отрицательный, тем скорее мне нужно его получить: после

> обнадеживающего разговора моей подруги с Вашим секретарем (12 октября)

> я прекратила посылать запросы в другие места, чем занималась до того, потому

> что с тех пор жду Вашего ответа — который, возможно, вскоре уже не понадобится,

> поскольку время работает против нас.

> Спасибо,

> Лариса Мелихова

November 05, 2001

Прочитал твой эпистолярный шедевр, адресованный д-ру Харперу. Жду теперь от тебя отмашки, чтобы написать ему, что я о нем лично думаю (как о

человеке, не откликнувшемся даже на такое письмо! :>).

П.²

1991 осень

Alison Sen

Dear Alison,

Большое спасибо за посылки. Мы получили от них огромное удовольствие (и продолжаем получать, кстати), особенно ребенок. Видишь ли, ты все поняла правильно: как справедливо заметила моя жена, мы ни в малейшей степени не голодаем, и есть возможность купить все необходимое для проживания, но любые дополнительные удовольствия, такие как сладости и тому

¹ В результате «повальная мода» на религию сделала свое дело — за десять лет Саша стал ярким атеистом, настолько, что на смертном одре категорически не захотел обратиться к Богу; предпочел остаться один-на-один с надвигающейся смертью.

² П. — сокращение от Пусс (от английского Puss-in-boots — «Кот в сапогах»)

подобное, выходят за границы наших финансовых возможностей. Ситуация довольно странная, потому что, например, в Москве радости стоят в три раза дешевле, так что когда я был в январе в Москве, мне пришлось снабдить сладким всех своих родственников. Вообще, ситуация в Москве несколько лучше, чем здесь (так всегда было), и люди там кажутся более веселыми.

Элисон, я очень люблю стиль писем своей жены, но в то же время нахожу его несколько утомительным. Она относится к числу людей, которые обожают обсуждать всякую политическую ерунду — перевороты, лидеров, цены и т.п. (но только не долго, иначе я не мог бы с ней жить)¹.

Что до меня, то я гораздо пессимистичнее и в то же самое время оптимистичнее. То есть я пессимистичен в отношении будущего нашей страны и оптимистичен в отношении своей собственной личной жизни, которую я в данный момент основываю на своих собственных духовных ценностях и как можно меньше связываю со всякой принятой рутинной, такой как диссертации, должности и тому подобное. Разумеется, все это легко объяснимо. При том, что вокруг все время происходят разнообразные перемены, не оставляющих никакой определенности относительно завтрашнего дня (как раз то, в чем советская печать всегда обвиняла Запад), а жизнь все больше представляется похожей на борьбу за выживание (что, как мне кажется, по существу справедливо, но необязательно должно быть реализовано так буквально), человек сам должен найти некий способ бегства, экологическую нишу «внутри себя». Для большинства людей это работа, для многих — религия, и почти для всех — воспитание детей. Поскольку я не сильно привержен ни одному из перечисленных занятий, я пытаюсь найти свой собственный способ бегства, а именно, стихосложение. Пока что я сделал только первый шаг, и время покажет, получится ли из этого длинный путь. Но никогда еще в своей жизни я не чувствовал себя до такой степени счастливым (и несчастным в то же самое время).

November 06, 2001

А у нас солнечно и холодно. На крыше местами лежит снег (сухой).

Харпер не написал. Он, видимо, устойчив к воздействиям, что твоя (т. е. моя) меланхолия.

Боря пришел, сидит и мирно пьет водку с пивом. Передает тебе привет. Зарплату-то дали?

¹ Вот уж неожиданное признание! Впрочем, оно, видимо, характеризует нервную атмосферу, в которой мы тогда существовали, это особенно заметно по дальнейшему описанию — похоже, что мы все тогда могли говорить только о «всякой политической ерунде», судя по письмам этого периода, личная жизнь как-то отошла на второй план...

Как ты знаешь, Элисон, я не большой любитель писать письма. Основная причина этого состоит в том, что я не умею писать *короткие* письма: я не могу вынести, чтобы часть пространства страницы осталась незаполненной. Возможно, психологи могли бы предложить свое объяснение такому феномену (я думаю, что они его имеют), но для тебя непосредственным следствием сейчас станет то, что я попытаюсь тебе описать перемены, которые претерпел внешний облик Ленинграда (или Санкт-Петербурга, если тебе так больше нравится, хотя для меня это историческое имя остается в некотором смысле священным, так что мне трудно начать называть этот грязный и полуразвалившийся город таким торжественным образом; впрочем, не обращай внимания, я, естественно, преувеличиваю, может быть, я просто слишком консервативен, чтобы изменить свои привычки, и вообще становлюсь BOF — аббревиатура, для которой в русском языке имеется вполне подходящее слово «старпер»).

Два изменения касаются улиц и зданий — я уже обозначил их в скобках; третье — это большое количество иностранных (латинских) букв и слов в названиях магазинов в центре города, а также на телевидении и в печати. (Английский язык теперь нужен везде, и в частности с ним теперь связана большая часть моей работы в офисе: я перевожу с русского на английский и обратно статьи и отчеты разных людей, вместо того, чтобы писать свои собственные. Но меня это вполне устраивает: теперь меня гораздо больше интересуют языки, чем научная работа. Это ощущается в воздухе эпохи: похоже, что роль науки в надвигающемся столетии будет здесь уменьшаться, по крайней мере, она должна быть полностью реформирована.)

Но самое интересное изменение касается людей на улице: в годы Советской власти ты никогда бы не увидела на улице большую группу стоящих людей, за исключением очереди в магазин или на остановке городского транспорта. Теперь, не говоря об очередях, которые стали существенно длиннее и встречаются весьма часто, ты увидишь повсюду: нищих, музыкантов, спорщиков о политике, и, конечно, продавцов, продающих и перепродающих все на свете. Последние, покидая свои рабочие места, оставляют после себя горы грязи и мусора, который, если учесть неэффективность работы мусороборочных служб, вносят заметный вклад в украшение города. Так что жизнь безусловно стала гораздо более оживленной, но не всегда это очень приятно.

Что касается лично меня, то мы теперь живем в отдаленном районе города, где всей этой суеты гораздо меньше. Ты знаешь, что у нас новая квартира, которая нам исключительно подходит. Так что жаловаться не на что, кроме постоянной нехватки денег. Однако эта проблема, как она ни сложна, должна быть каким-то образом решена. Я надеюсь, что в одном из следующих писем я смогу тебе описать найденное ре-

шение. Я всегда говорил, что в России не нужно жить только в двух случаях: если ты стар или болен, но ни то, ни другое к нам не относится.

ОК, мне пора закругляться, даже если на странице осталось пустое пространство! Итак, счастливо, Элисон. Пожалуйста, пиши, нам действительно интересно, чем ты занимаешься. Передай большой привет родителям.

Твой, Саша.

November 8, 2001

Катя, привет!

Рад был узнать, что ты уже вернулась. Надеюсь, ты хорошо отдохнула. Что касается пресловутого доктора Харпера, я намереваюсь написать ему несколько сердечных слов сугобо личного характера. Разумеется, я не питаю надежды, что они окажут какое-либо воздействие, но по крайней мере это позволит мне на некоторое время испытать чувство удовлетворения. В конце концов, принято считать, что врач должен обладать — ну если не душой, то хотя бы какими-то зачатками совести. Так что как только мы примем решение ничего больше от него не ждать (а мне кажется, что это давно пора сделать), я напишу ему письмо и пошлю тебе копию.

Не могу сказать, что я себя очень хорошо сейчас чувствую — все хуже и хуже с головой (сама голова, впрочем, не болит — пока), хотя и есть вероятность, что ребята Гершановича сумеют немного затормозить процесс, а также нарастает проблема с легкими, вблизи которых находится метастаз почти 10 x 10 см, самый большой в моей коллекции. В результате мне уже стало затруднительно подниматься по лестнице в нашу квартиру, и, конечно, вообще трудно ходить. Короче говоря, я немного ослабел. Но это не значит, что я намерен позволить какому-то сукиному сыну вроде доктора Харпера распрощаться со мной, не выслушав мое последнее напутствие.

Привет всем, Саша.

1992 лето (?)

Сергею Либерману

Серезька, здравствуй, дорогой!

Недавно один наш знакомый рассказал немного о том, что он чувствовал, переболевая психиатрическим заболеванием, МДП. Надо сказать, очень похоже на мое состояние в последние полтора года: наблюдается также и определенная динамика, а именно — состояние М постепенно перешло в Д. Так что есть надежда, что и это состояние не навечно. Все это обусловлено как объективными, так и субъективными причинами, о которых я попытался дать тебе представление в своих предыдущих письмах.

Все это, разумеется, не связано напрямую со стихосложением, хотя и отражается на нем определенным образом. В общем-то, депрессия не очень способствует творчеству, хотя иногда, к собственному изумлению, что-то еще пишу.

Говоря о том, что творится вокруг, можно вспомнить лишь одно народное выражение, а именно: «It's a mess». Никто не зна-

ет, в какой стране он живет, где работает, что делает, сколько получает (if at all) и чем питается. О завтрашнем дне я уж не говорю. Зарплату повышают, но не платят — нет наличности. Всюду торгуют перекупщиками и кооператоры, — первые отечественными товарами, а вторые — импортными. Денег нет ни на какие; стали есть очень много хлеба, потому что очень мало всего остального. Недавно получил 8 штук по договору, но 7,5 из них пришлось выложить на ремонт холодильника. В магазинах уйма времени тратится на пересчет денег, потому что суммы большие, а купюры — маленькие. Имеется проблема мелочи, себестоимость которой стала существенно выше ее номинала. Говорят, ее хотят тем или иным способом аннулировать. А то она куда-то девается, а сдачи у продавцов теперь вообще никогда нет. Напечатали новые купюры достоинством 200, 500 и 1000 р., а также монеты по 5р. и 10р. Какова моя зарплата, точно не знаю, но задерживается уже на месяц. Всюду полно нищих, а перекупщики (в основном у станций метро) оставляют после себя дикую грязь.

В общем, пошла такая эпоха, что, как писал Бродский, «в голове моей только деньги». Мне это совсем неприятно — я всегда считал себя таким бесребреником, которого деньги не интересуют, и в общем, при большевиках это еще было куда ни шло, но сейчас так жить нельзя. Приработок необходим совершенно. В качестве приработка, а также просто из любви к искусству, я вписался в бригаду, переводящую некий ужасающий английский роман а-ля Вальтер Скотт, больше всего похожий на бледную копию «Анжелики». Платят мало, но зато работа веселая; главное, думать не надо. Я не знаю точно, сколько в нем томов, но, судя по скорости развития действия, он может обеспечить работой до конца жизни.

В отличие от старшего поколения, которое в целом держится молодцом, наши сверстники тихо сходят с ума — но что ценно, каждый по-своему. Например, Гуля на полном серьезе просила меня передать тебе, чтобы ты заслал ее данные в какой-нибудь magazine club, дабы она могла найти себе в качестве спутника жизни американского мужчину лет 40–50 и провести остаток дней в окружении English-спикающих деток. (Не в СНГ, разумеется.) Что я тебе и передаю, хотя и сомневаюсь в твоей ценности как международного мэридж-мейкера.

Стихи пишу, но, по правде говоря, мощный начальный импульс немного ослаб, стоило только понять, что я не гений. Тем не менее, я очень благодарен стихосложению, — оно за два года позволило мне столько узнать о жизни и о себе самом, сколько я за всю предыдущую жизнь, наверное, не узнал. В конце концов, понять, почему ты не гений — тоже позитивный результат. Я не собираюсь завязывать со стихами, но времени очень мало.

Привет тебе от Ларки. Ей недавно тинейджеры в метро сделали замечательный комплимент; группа их уставилась на нее, и один сказал: «Классная мамуля!» Они, разумеется, не имели в ви-

ду, что она работает классной руководительницей или пионервожатой; нет, классная — это classy, слэнг, но зато и мамуля. Впрочем, определение очень меткое. Она действительно красива, как, черт ее знает, распутившаяся роза, что ли, этот проклятый роман совсем отшибает хороший вкус. То же самое и Норка в свои лучшие минуты, остальные расцвели как-то меньше. Сын мой Митя после очень хорошего лета на даче начал очень плохую осень в городе. В настоящий момент он болеет двусторонним воспалением легких; так что с ним по-прежнему все очень непросто.

В общем, у нас все хорошо. Большой привет от нас с Ларкой тебе, супруге и маме. Будь здоров и пиши больше! Всех благ.

P.S. Последний анекдот: как называются русские гомосексуалисты? Ответ: гей-славяне.

2 марта 2002, альманах «Присутствие»

Из предисловия к посмертной публикации стихов Нонны Слепаковой

...Ох, как трудно было ей умирать! В смысле — осознавать, что это вскоре ее ждет: самих последних дней ее я уже не видел. С мыслью о близком конце она ни за что не могла примириться. То есть никакого философского отношения к жизни и смерти там не было и в помине. <...> Об этом свидетельствовали и загробные шуточки в собственный адрес, и истерические нотки, то и дело прорывавшиеся у нее в разговоре. Одним словом, она роптала. По-моему, это не слишком-то правильно. Я сейчас пишу эти строки, лежа на койке неподалеку от того отделения, где лежала она, и я знаю, что говорю. Но и не понимать ее тогдашних ощущений не могу. И мне ясно, почему она все больше уходила во власть «полосы отчуждения» — уже не только как метафоры.

И все же когда я последний раз увидел ее, придя к ней в больницу (тогда она еще пускала к себе кого-то, кроме самых близких), я вдруг с изумлением услышал: «Ну что, пошли покурим?» И мы действительно отправились на лестницу курить. Честно говоря, от человека, умирающего (и прекрасно знающего, что умирает) от рака легких, я этого как-то не ожидал. Сам я, во всяком случае, на такое не способен. Что это — младенческая беззаботность? Да, конечно, но ведь ее не сохранишь без столь же младенческой веры в то, что жизнь не кончается со смертью. Где-то в Слепаковой эта вера жила, хоть и не припомню, чтобы она когда-нибудь явно ее декларировала. Но разве назвала бы она без такой веры ту часть своей последней книги, что посвящена отражению человеком себя в стихах, да и вообще в искусстве, «Жизнь продленная»?

<...> Все это, конечно, мне не забыть, пока я сам существую. И все же живой образ певчей птицы <...> постепенно заслоняется разными случайностями: сиюминутностями, сионедельностями и так далее. Да и сил все меньше: даже до ее могилы в ее день рождения уже не дойти. Помешать забвению есть лишь один способ. Она сама указала его в стихотворении, посвященном памяти ее Учителя <...> Вот он: «Но вот мы читаем — сдвигаем в одно / Звенящие наши обломки». Так почитаем же то, что мы написали.



Валерий МИШИН

/ Санкт-Петербург /

Ярвь

(точная и прямотечная рифма — фрагменты)

* * *

вдоль пути стоят деревья
чем тебе не лес
за деревьями деревья
за деревьями деревня
за деревнею деревня
пока не надоест
наблюдать до одуренья
виды здешних мест

за деревнею деревни
отвлекись — давай дерябнем
за деревнею шлагбаум
у шлагбаума добавим
возле леса колонча
с колончёю соорбща
закопные ландшафты
хороши для брудершафта
переезды-переходы
предвкушение свободы
светофоры и мосты
и глядишь уже *на ты*

* * *

в продыряшлевом мозгу
заменяя лзу на лзу
выдворяя в продырявль
парусононый куравль
сокращая на бегу

читворя и занутьгу
как негроидный дупель
в танцмажоре затрапев
африканскую сварду
отослать в каразерду
и швырнуть под растаргон
горсть в огонь
в гортань орзон

* * *

лес полон дурилок, жмурилок,
лес полон хлющей и свищей
и всяких других предпосылок,
не лес — куролес вообще,

в лесу с расторопу, с размаху,
а, может, совсем вразномасть,
снимаешь штаны и рубаху
и ходишь, разинувши пасть.

ну, где ты, наяда, услада,
запавшая в душу блуда,
такая случилась засада —
моя пропадает елда.

в лесу тарахтелки, свистелки,
скрипят на корню дерева,
достаточно призрачной девки,
чтоб все потерялись слова.

* * *

лес всегда прифронтовой,
тут разбой и тут грабёж,
трататушку приведёшь —
и получишь в зуб ногой.

партизаны, бандюки
лезут из берлог и нор,
норовят взять за грудки
и затеять разговор.

потому будь начеку,
если что произойдёт,
быстро выдерни чеку
и с гранатою — вперёд.

* * *

без интересу
за просто так
ходить по лесу
недобрый знак

иду по лесу
наперекор
держу железу
то есть топор

прицел на шкворень
на стоерос
срублю под корень
какой вопрос

чтоб крепче палка
длиннее дын
а то ведь жалко
всего один

сочтёт за бред
народ честной
иметь предмет
как запасной

ходить по лесу
не водку пить
тут могут к бесу
и отлупить

выходит знаю
зачем иду
вот забазлаю
когда найду

* * *

тикай коромысло¹ по числам,
по месяцу, календарю.
искать потаённого смысла,
где нужно сказать *у-лю-лю*,
не стоит — пустые соблазны,
пустые надежды, слова,

¹ коромысло — м.б. стрекоза. *Прим. автора.*

там, где ты осёкся однажды,
и дважды и дважды по два.
беги — впереди что-то будет,
внезапно забрезжит просвет,
другие появятся люди,
и даже людей если нет.

* * *

он стоит под фонарём
с фонарём под глазом,
я иду под газом
с карманным фонарём.

говорит он: подсвети,
ничего не вижу —
ему кто-то засветил
фонарь, поставил визу.

мы стоим под фонарём,
ждём вдвоём рассвета —
офонареешь с фонарём,
трудна дорога в *лету*.

* * *

зря ты настроился на секс,
на деле — только пьянка,
кино под грифом *не для всех* —
заведомо обманка.

напрасно раскатал губу
и послунявил палец,
тебя здесь видели в гробу,
дружок-неадерталец.

с европой можно приторчать,
но что ты для европы?
на морде у тебя печать
и на голеностопе.

* * *

спрашиваю жандармера:
отчего такая мера?

отвечает жандармент:
чтоб не вышел прецедент.

по понятиям жандармура
существует процедура

для того чтоб жандармак
не попал зазря впросак

спрашиваю жандармора:
разве можно без разбора?

отвечает жандармас:
отвали — получишь в глаз.

хорошо, что жандармбол
был на этот раз не зол.

* * *

тут появлялся тайный смысл,
когда двенадцать коромысл
по небу с посвистом летят,
и их не постигает взгляд.
двенадцать радужных стрекоз —
меня охватывал невроз,
и даже, если коромысло
одно над головой зависло,
одна парила стрекоза —
неволью закрывал глаза.
и на краю глазных орбит
переливался антрацит,
тревожно радуга цвела —
от роговицы до крыла.

* * *

лечусь и мучаюсь, учусь
при случае и по чуть-чуть
откашливая едкий дым.
возможно, непереволим
язык предчувствий на язык
словесный, ежели кадык
напрягся, но открытый рот
читает всё наоборот.
состав словарный и запас
для наполнения нужных фраз —
как группа мышц, как скрытый жест,
что намечалось и что есть.

* * *

ночь
родимый край
сарай
ни одной аптеки
кого хочешь выбирай
хочешь человека
хочешь выбери козу
или свиноматку
кобеля
в любом разу
проверишь *нашу марку*
а случится человек
с протокольной мордой
забирай его
он всех
сделает по полной
месяц май
не проморгай
но ко мне
не приставай

* * *

поэт
играя
по левому краю
сделал сольный проход
вот
он по самой бровке
ловко
без оглядки
дошёл до штрафной площадки
выдал финт
сделал вид
что идёт напролом
а сам под углом
достиг одиннадцатиметровой отметки
и метко
ударил в створ ворот
вот-вот
все закричат: гол
но футбол есть футбол
мяч угодил в стойку
столько
было надежд и вдруг просёр
а вы говорите: пушкин — это наше всё

* * *

папиросу в зубы
а зубов-то нет
представляй хотя бы
свой автопортрет

на башке фуражка
а башка-то что
что башка что бóшка
очень запросто

кое-как футболка
прикрывает торс
торс название только
остальное форс

на каком отрезке
жизни на каком
поменялись резко
вера и закон

мама моя мама
видела бы ты
это скажем прямо
полные кранты

ты б меня простила
что бы ни стряслось
даже через силу
даже через злость

* * *

бывает мало
мало номинала
мало в лампочке накала
бывает дашь в хлебало
но мало
бывает сначала мало
потом хоть кричи пропало
мама ругала
но мало
мало-помалу жизнь укатала
глядишь мало
сука загуляла
всем давала

но кому-то мало
а вот божьего кресала
совсем мало
бывает мало интервала
между много и мало

бывает много
много дурного слога
много подлога
бывает идея убога
но её много
часто много от бога
а для бога немного
на город одна синагога
но открой ещё синагогу
скажут много
один гога как гога
один магога магога
но когда вместе гога и магога
это много
а что с ван гогом
два ван гога также много
от мало до много
два предлога

и если строго
где мало там много
где много там мало
можно начать сначала

* * *

посмотри растоможенным взглядом
на судьбу на словарь ушакова
на того кто с тобою был рядом
но ни слова сказать ни полслова
не хотел не решился не думал
не расставил тире и кавычки
а держал в голове только суммы
на счету и в кармане в наличке
посмотри расковыченным взглядом
на судьбу божий мир расстоянье
от того чего делать не надо
до того что дано в назиданье
на учёные званья награды
месяца в захолустной больничке
посмотри иногда это надо
просто так с ничего по привычке



Тамара БУКОВСКАЯ

/ Санкт-Петербург /

* * *

лица тесанные топором
 сменили физиономии с компьютерной обработкой
 пилингом и лазерной шлифовкой
 имперский категорический императив
 сменила аналитическая двусмысленность
 бисексуальной секундной готовности
 подмахнуть вашим и нашим
 но так искренне и обезоруживающе шкурно
 что это уже и не подлежит даже моральной уценке

* * *

в доме
 где когда-то
 заседала
 дума
 в пустой
 комнате
 долго
 лежал
 лом
 лозунга
 выполненного
 в объеме
 и каждая
 литера
 была
 значительней
 и угрожающе
 весомей

любого
самого
важного
литератора

* * *

какой черт понес
меня на кустарный
в старый дом
перестроенный так
что не найти входа
на старую лестницу
не приткнуться к двери
за которой
еще мнится тепло
былой жизни
там все быльем поросло
и нет никого из тех
кто в нем жил
и кем дом этот был жив
нет моей бабушки
чьим приданным он был
нет деда по чьей прихоти
на втором этаже
над входной аркой
был пристроен балкон
подключен один из первых
в петербурге аппаратов
фирмы телефонкен
из этого дома в 30-м
уводили деда
арестованного
по делу иосифлян
непоминающих
безбожных властителей
в 49-м увозили на воронке отца
арестованного
по ленинградскому делу
а на следующий день
приехали связисты забирать
полевой телефон
в деревянной коробке

и я изо всех
двумя годами жизни
накопленных сил
пыталась не отдать
тяжелую трубку
и ящик с крутящейся ручкой
сквозь рев и захлебывание
не умея объяснить
как же без них
мне теперь говорить с папой
уйми малую
сказал солдатик маме
и меня волоком
утянули внутрь квартиры
плотно закрывая двойные двери
чтобы не было слышно всхлипов
стены в доме толстые
в четыре кирпича
строился в конце
основательного XVIII века
и по всему внутреннему периметру
окружен он был коридорами
куда выходили двери
больших петербургских кухонь
с огромными
голландским изразцом
облицованными плитами
стоявшими строго в центре
полутемного пространства
плиту и все большие белые
изразцовые печи
разбирали и выносили во двор
как будто хотели забыть
холод блокадных зим
таких же белых
таких же ледяных
бабушка
тетушка
ей было 17
и мама
со старшей в декабре 41
родившейся сестрой

как могли выживали
бабушка еще долго пугала нас
проверяя ночью на ощупь
дышим ли
однажды увидела кустарный
на картинке лансере
набережная крюкова канала
от канала уходил он
в перспективу
можно было даже разглядеть дома
принадлежавшие
бабушкиным братьям
дяде яше и юше
лошадникам
державшим конюшни
в конце переулка
оба сгнули
в непостижном безумии
военного коммунизма
люди сгнули
а лошади
долго еще цокали подковами
по бульгам переулка
таща за собой
большие подводы
гужевой транспорт
было написано на воротах конюшни
потом владимирских тяжеловозов
сменили полуторки потом
потом суп с котом
пирожки с котятами
нечего соваться в прошлое
тут как в тяжелом сне
перед болезнью
входишь в знакомую дверь
а лестницы нет
и звонка нет
и двери нет
ничего нет
и ты не узнаешь
своих воспоминаний



* * *

через
михайловский
уже
не срежешь угол
он расчетливо
расчерчен
и с мещанской
старательностью
изображает
царский сад
но в нуворишеском
великолепии
ему не хватает
благородной
небрежности
и красоты
достойного увядания

* * *

в доме напротив
был завод
никелированных
кроватей
в большом окне
первого этажа
польхала сварка
и два мужика
в стоящих колом
клеенчатых
передниках
и таких же
рукавицах
железными
крюками
подцепляли
только что
сваренные
решетчатые
спинки
односпальных
полуторных

двухспальных
кроватей
окунали их
с головой
в большие
гальванические
ванны
и вынимая
как вынимают
младенцев
из купели
быстро быстро
чуть — чуть
отряхивали
и на этих же
крюках
нацепляли
на движущуюся
цепь транспортера
я подолгу смотрела
из нашего окна
особенно долго
когда болела
работа шла
в три смены
война закончилась
и нужно было
много кроватей
с сеткой панцирной
матрасом пружинным
с серебристым
блеском спинок
и шариками круглыми
на прутья навинченными
которые с трудом
но откручивались
и так ходко шли
в детских менах
на ножички
патронные гильзы
или на посмотреть
раскрашенные фотки
с телесатыми тетками

в нелепых позах
сакральный смысла
этой добротной
немецкой эротики
ускользал
от понимания
послевоенных
тимуровцев
засыпавших
и просыпавшихся
под скрип пружинных
матрасов
панцирных сеток
за трехстворчатой
ширмой
платьяным шкафом
буфетом
или цветастой
ситцевой
занавеской
но фотки были веселые
тетки с желтыми волосами
розовыми сосками
щеками
и альими губками
лихо пучили
голубые глазки
и лыбились
как ангелы
на дореволюционных
поздравительных открытках
с рождеством христовым
и светлым праздником пасхи

* * *

литература как поиск
сексуального партнера
мальчики ищут девочек
девочки — мальчиков
мальчики-мальчики
ищут мальчиков-девочек
девочки-девочки —
девочек-мальчиков

мальчики-девочки
 девочек-мальчиков
 из самых страшеньких
 получают
 литературоведы
 из хорошеньких поэтически
 из краааасавиц — поээты
 из красавчиков-мальчиков
 ни уя ни получается
 не выходит нах из них ни уя
 не просрите жизнь
 написала бы я на въезде и выезде
 из города на входе и выходе из метро
 на боках автобусов и маршруток
 жизнь — не просрите!
 мы свою уже просрала профукали
 теперь ваша очередь разменять на слова
 пропить провить профукать пронюхать
 (рюхнуть фишку нюхнуть рюшку)
 просечь фишку пустить юшку надорвать кишки
 доказывая себе и другим — я есть то что я есть
 разрешая себе решиться быть собой
 т.е. особой особью
 способной обособиться от
 развернутого обособления
 и деепричастного оборота
 в который берет тебя жизнь
 превращая из включенного наблюдателя
 в засланного казачка
 с временной регистрацией
 и убогой надеждой
 на постоянную прописку
 на троекуровском большеохтинском
 красеньком комаровском
 смоленском лютеранском
 еврейском южном
 не просрите жизнь
 надувая щеки сводя концы с концами
 как два шпендрика или два педика
 из убитого анекдота
 губошлепничая на конференциях
 об интенциях и преференциях
 выводя аксиоматические постулаты

третьего закона дерьмодинамики
определяя влияние анестетических категорий
на инвективные смыслообразующие части
речи и традиционное словоизвержение
среднестатистического россиянина
не просрите жизнь
покупаяпродавая один черт
шагающего человека движущиеся мишени
славу или слова которые можно оценить
по прейскуранту как словорубные работы
не просрите жизнь
не вербально напутствует бомж
ездоков сапсана одной рукой направляя
с холма струю отлива другой салютуя цезарю
morituri te salutant morituri re calutant ave ceasar ave
просрете просрете просрете нах
в такт движениям полуодетых тел
вколачивают в мозги трахающиеся
за ржавым пухто то ли две бабы то ли два мужика
слишком быстро не успеваю разглядеть
ну в крайнем случае мужик и баба
литература и есть поиск
сексуального партнера ага

Владимир ГУТКОВСКИЙ

/ Киев /



От руки

Михаил Красиков, *Неотправимые письма: Note-book*. — Харьков: ТО «Эксклюзив», 2009.



Михаил Красиков — известный филолог и фольклорист, неутомимый исследователь и публикатор проявлений народного творчества, а также современной литературы.

И, конечно же, поэт и мыслитель.

Во всех этих своих ипостасях он всегда глубок и настоящ.

Мне уже приходилось писать о его фольклорной работе «Українські сороміцькі пісні» (что проще всего перевести как «Украинские «срамные» песни») и отмечать, с какой научной дотошностью и вместе интеллигентной деликатностью он трактовал довольно рискованный материал.

И вот у меня в руках его новые книги.

Каждая из них заслуживает отдельного разговора, но сейчас мне хочется поговорить об одной.

При современном уровне книгоиздательской техники факсимильными репринтами архивных документов уже никого не удивишь.

Но с факсимильным воспроизведением автором собственных рукописных текстов мне сталкиваться не приходилось.

Те, кто в повседневной практике уже окончательно отказался от архаичных способов фиксации своих мыслей, конечно, могут задаться вопросом: для чего это делать?

Ответ, на мой взгляд, достаточно очевиден.

Между словом, рожденным душой, привидевшимся во сне, надиктованным свыше, и его читателем всегда стоит посредник, материальный носитель слова.

Сперва носитель промежуточный. Для личного употребления.

Торопливая запись на подвернувшейся газетке, клочке бумаги, походной книжечке, для этой цели предназначенной.

Потом по мере продвижения к читателю проходятся последующие этапы.

Перебеленный вид, профессиональный компьютерный набор, респектабельность типографской печати.

Но после прочтения книги М. Красикова меня не оставляет ощущение, что с каждым подобным шагом куда-то бесследно улечиваются какие-то флюиды, следы исходного откровения. Даже помимо совершенно необходимых редакторских уточнений.

Наверное, вполне закономерно, что М. Красиков как составитель и редактор свыше 30-ти чужих книг, постоянно находящий им адекватное полиграфическое воплощение, и для своей книги нашел и выбрал единственно возможный вариант.

В котором, возможно, получил свое выражение и почитет исследователя-фольклориста к первоисточнику.

В этой книге нет типографского текста. Только беглый трудный авторский почерк.

Заметки, наброски, мысли, стихи.

Когда я взял в руки книгу, то испытал совершенно неожиданные чувства.

Мне стало внятно трепетное томление пушкиниста, разбирающего дорогие сердцу черновики.

Сладостные потрясения первопроходца.

Всепобеждающий азарт искателя кладов.

Понимание того, что перед тобой те самые опаленные временем рукописи, которые все-таки не горят.

Строчки, бегущие вдоль и поперек, вкривь и вкось.

Слова, нанесенные на свободное место. И поверх предыдущего текста, который тоже проступает, и тоже значим.

Часть записей разобрать невозможно.

Да, пожалуй, и не нужно. Одним своим наличием они являют собой артефакт.

Вы можете подумать, что это просто «фокус»?

Отнюдь.

Название книги.

О чем оно?

О письмах, которые невозможно отправить. Их можно только писать. Писать сквозь всю жизнь.

Большое авторское вступление об этом.

О бесплезности, но неизбежности такого занятия.

Некоторые фрагменты:

«Уважающий себя стихотворец всегда пишет «в стол»... Читатель, вечный писательский фантом, наваждение, Мефистофель при Фаусте — воображает себя адресатом поэта весьма самонадеянно и совершенно на-

прасно... Даже тогда, когда автор к нему непосредственно обращается... Потому что поэт на самом деле говорит с самим собой... Другой — лишь повод ... для одинокого размышления вслух... С другим и поэту всегда неловко: он — голый среди одетых, зрячий — среди слепых, слышащий — среди глухих... Поэзия (вся) — неотправимые послания. В Сибирь ли, к А.П.Керн, к Господу Богу... Нет такой почты..., которая доставила бы адресату в целости и сохранности стусок любви и муки, выщептанный нечаянно поэтом... Остается — «Silencium!»? Однако и молчание не дается... Для истинного молчания нужна тишина в душе, нужны з а т и ш ь я... Так зачем же поэт з а п и с ы в а е т, а потом еще печатает свои стихи?.. Затем, что верит — вопреки очевидности — в протееву силу своего слова. Затем, что неумогу держать в душе многоцветный и разнозвучный мир. Что поделаешь: джин хочет на волю...

Извините, что я к вам обращаюсь...».

И основная часть.

Которая есть любовная лирика.

И больше никаких определений не надо.

Здесь стихи, признания, обрывки снов и законченность афоризмов.

Здесь любовь.

Только несколько цитат.

«Давно пора
с тобою объясниться.
Но ты необъяснима,
как любовь».

«И кому я пишу?
На деревяню
дедушке
домовому».

«Никогда не писал
тебе писем.
Знал: бесполезно.
Пишу тебе стихи,
потому что они
не требуют ответа».

«Когда ты притворяешься
явью,
я притворяюсь сном,
чтобы, проснувшись,
не очень горевать
о твоём исчезновении».

«Одомашниваю
дикую боль
от сознания,
что мы — врозь.
Прикармливаю ее
золотым зерном
воспоминаний».

Эти выдержки из текста я сознательно не перебиваю своими комментариями. Потому, что весь он целен и непрерывен. Дробить его на цитаты — уже кощунство.

И пусть далеко не всегда разбиение стихов на строки выглядит поэтически обоснованным. Просто оно подчинено высшей логике: формату листка, на котором стихи написаны. И эта закономерность становится безусловной.

Когда я перестал ласкать зрение этой книжкой и начал в нее вчитываться внимательнее, то понял, что написанное мне чрезвычайно близко. И по сути, и по манере высказывания.

Большей частью, его я радостно принимаю в душу.

Тем более, мне кажется, кое-что я уже говорил другими словами. Возможно, когда источник позабудется, начну повторять как свое.

Еще один неожиданный эффект. И совет читателю. Не надо продирааться через каракули, трудиться над почерком.

Постарайтесь воспринять каждую страничку как единое целое, охватить одним взглядом. И к вам сразу придет прозрение. И понимание.

Возможно.

Мне хотелось бы процитировать почти всю книгу. Пусть тогда все усилия рецензента окажутся излишними. Но это невозможно. Не поднимается рука. Перенабирать этот текст.

То, что написано от руки, можно только читать.

Дадим же читателю такую возможность.

И еще один маленький кусочек переведу в набранный текст. Так же коряво накарябанные выходные данные. Универсальные выходные данные.

«...Ответственный за выпуск — безответственен.

Редактор — невозможен.

Корректор — жизнь.

Бумага — терпит...».

Это ведь правда. Но почему-то ни у кого не хватает смелости огласить ее так.

Я не зря не указал в начале количества страниц. Книга нумеруется тоже «вручную». Вступление — буквами греческого алфавита (от альфы до зэта). Основная часть — от А, а до Я, я.

Посчитайте, если захотите.

Все-таки на последней странице обложки появляется пусть и стилизованный, но типографский шрифт.

Послесловие Лидии Стародубцевой.

Из него мы узнаем о легендарном блокноте Красикова, который представляет сшитую пачку пожелтевших помятых салфеток, испещренных практически нечитаемыми иероглифами.

Здесь они расшифрованы. Каждым читателем по-своему.

Когда-то Михаил Красиков написал:

Поэт — это сумасшедший,

у которого всегда одна новость:

— Христос воскрес!

Эта книга лучшее тому свидетельство и подтверждение.

И еще одна книга М. Красикова, о которой хотелось бы хоть что-то сказать.

Книга «МА». Книга памяти мамы.

Памяти невыносимой и неизбежной утраты и сыновней любви. Но для этого и мне самому необходимо прежде сделать несколько глубоких вдохов, восстановить дыхание, успокоить сердце. В другой раз.

Владимир ШПАКОВ

/ Санкт-Петербург /

Попасть в сердце

*Владимир Цесис. Страницы доброты.
СПб., Алетейя. 2010*



Нынешняя литературная продукция чем дальше, тем больше, разделяется на два потока: на мейнстрим или массовую литературу, и на «тексты», призванные услаждать людей продвинутых и посвященных. И там, и там существуют свои запреты, к примеру, в массовой литературе допускаются сен-

тиментальность, «чувства добрые», но при этом исключается глубина и серьезность. Делатели же «текстов» беззастенчиво лезут в глубины, пристально разглядывают телесный низ и напрочь забывают про духовный верх. Слово «доброта» такой литератор не напишет и под дулом пистолета; не то, чтобы он был чужд этому естественному для нормальных людей движению души, а просто это не модно. Групповуху описывать — модно; копаться в девиациях и психических отклонениях — модно, а вот о доброте писать как-то не комильфо. Ну, не катит нынче гуманизм; и ценности его никто не жагает пропагандировать, а значит...

Значит, чтобы обо всем этом вспомнить, нужен не литературный человек, коль скоро пути серьезной литературы и гуманизма медленно, но верно расходятся. Таким и является Владимир Цесис, автор выпущенной петербургским издательством «Алетейя» книги под названием «Страницы доброты». Название, повторим, немислимое в эпоху, когда даже «цветы зла», не выдержав гнилостной атмосферы современной литературы, вянут и умирают. Хотя эта книга, уточним, не является «литературой» в полном смысле этого слова. Это словесное воплощение жизненного опыта, те многочисленные большие и малые драмы (а подчас и трагедии), с которыми сталкивается любой настоящий врач. Если же учесть, что Владимир Цесис — врач-

педиатр со стажем работы в несколько десятилетий, да еще работавший в разных странах, то его жизненный и человеческий опыт предстанет еще более весомым и интересным.

Книга состоит из ряда историй, в которых автор либо сам участвовал, либо был свидетелем (хотя практикующий врач редко остается всего лишь свидетелем). Истории самые разные, главное: в них всегда найдется место доброму поступку. Вот, к примеру, жизненная новелла (назовем ее так) под названием «Любовь и статистика». Там описывается бывшая пара, не испытывающая друг к другу никаких чувств — ни добрых, ни злых. Чужие, по сути, люди, но в отцеполицейском внезапно просыпается сильное и глубокое отцовское чувство к ребенку, о рождении которого он узнает через годы. И начинает заботиться о своем ребенке так, как не всякая мать заботится. Вы скажете: ну, и что тут такого? А я отвечу: страна, где два миллиона беспризорников, и где папаши в массовом порядке скрываются от алиментов, такие истории просто обязана читать. Эти истории нам нужно навязывать, как в свое время навязывали цитатник Мао, иначе мы все скоро вымрем. Другая история повествует о бабушке Грете, которая заменила своей внучке мать, пристрастившуюся к наркотикам. Третья — о маленьком Витторио, который после развода родителей страдал буквально физически: у него началась психогенная рвота, он не мог потреблять пищу и катастрофически терял вес — до той поры, пока ушедший из семьи отец не стал с ним регулярно встречаться. Автор при этом не скрывает оценок, указывая: вот «правда», а вот «кривда», вот человеческая линия поведения, а вот — бесчеловечная.

Кто-то может сказать: да этот автор наивен, бессмысленно бороться с человеческой глухотой и эгоизмом, это наша сущность! Однако трудно оспорить такое, допустим утверждение: «Тот факт, что человечество продолжает успешно существовать, несмотря на все бедствия и горе, доказывает фундаментальную истину: Добро непременно побеждает Зло». Да, у каждого из нас есть свой опыт схваток со Злом (в том числе с внутренним), и далеко не всегда мы выходили из этих схваток победителями. И Добро почему-то побеждает зачастую потом, позже, после смерти хороших и добрых людей, но таки побеждает!

Это доказывает описанный в книге случай, когда мать ценой собственной жизни спасает дочь Диану. Машина, которой управляла мать, попала в аварию и свалилась в реку с быстрым течением. И мать по имени Маргарет сделала все, чтобы в такой критической ситуации открыть дверь тонущей машины, схватить дочь и вытолкнуть ее наружу с криком: плыви! У самой Маргарет сил спасти себя уже не было; и те, кто вскоре вытащил машину, ничем ей помочь не смогли.

Чем это считать: победой доброты? Или ее поражением? Я склонен к первому ответу, в конце концов, доброта и жертвенность если не синонимы, то очень близкие понятия. Причем сама Маргарет вовсе не была изначально христианской подвижницей — автор описывает весьма проблемную натуру, в свое время она даже пыталась покончить с собой. Но — не покончила, нашла в себе душевные силы продолжать жить, воспитывать детей. Пока не случилась критическая ситуация, когда ее смерть, как оказалось, имела результатом спасение другой жизни...

Понятно, что врач-педиатр в качестве героев выбирает, как правило, детей, причем в большинстве случаев — страдающих детей. Но дети ведь и сами могут причинять страдания, особенно если их к этому подталкивают определенные общественные установления. Как известно, в «демократическом» американском обществе есть масса свобод, в том числе — свобода оговорить старшего: родителя, школьного учителя, преподавателя университета... И некоторые дети охотно этим пользуются. Этой свободой, к примеру, воспользовалась юная Опра, которая решила свести счеты с отцом, делавшим ей вполне справедливые замечания за разгильдяйство и употребление того, чего в 14 лет лучше не употреблять. В один из вечеров перед родительским домом остановилась полицейская машина, родителей забрали в участок, где отцу было предъявлено обвинение — ни много, ни мало — в попытке изнасилования собственной дочери! Девочка решила таким подлым способом урезонить папашу, который слишком много ее «воспитывает»!

К слову сказать, бдительные «центурионы» пытались как-то привлечь к ответственности и самого автора, который (по мнению перевозбужденной родни) неправильно обследовал их чадо, якобы пытаясь нанести ему увечье. Абсурд? Безусловно, но он — часть реальной жизни, увы, Зло многолико и вылезает зачастую там, где совсем не ожидаешь...

Нет, эта книжка вовсе не наивна и не являет собой набор моралите; скорее, это честный диагноз, который ставит обществу честный врач. Да, Владимир Цесис не первый и не последний, кто пытается это сделать, «диагностов» у нас пруд пруди. Важно, однако, что это делается без всякого презрения, озлобления, а также любования «цветами зла», что тоже встречается сплошь и рядом. Авторская позиция — это позиция человека деятельной доброты, не устающего повторять простые истины, проповедующего гуманистические ценности не в виде общих слов, а приводя конкретные примеры и расставляя точные нравственные акценты.

Если кто считает, что расставлять акценты и проповедовать ценности очень легко, пусть прочитает раздел книжки под названием «По ту сторону нормального». Например, рассказ о молодом человеке по имени Давид, под воздействием наркотиков и алкоголя полностью утратившем человеческий облик, превратившемся в омерзительную карикатуру на homo sapiens. Видя такое, легче всего сделаться циником и мизантропом (некоторые врачи такowymi и становятся, между прочим), однако автор этой книги остается на своей позиции.

В заключение хочется все-таки сказать несколько слов о литературной стороне книги. Этот жанр принято называть «нон-фикшн», литературой о невывдуманном. Где-то автор из этических соображений поменял имена своих героев, но это не суть важно. Главное, что книга написана профессионально, доходчиво, живо, без искусственных стилистических красотостей, вообще без нажима на читателя. Речь автора, как и его героев, льется естественно, и каждая история попадает в цель. А именно — в человеческое сердце, если оно, конечно, еще способно отзываться на чужую боль.



ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВ

/ Санкт-Петербург /

* * *

Они говорят:
у нас есть крылья,
только они растут внутрь,
и летаем мы в тёмном небе
собственного сознания.
Они говорят:
если нас вскрыть, можно будет найти разное.
Они даже дарят нам открывашки,
но мы их не трогаем:
ведь кто знает, что прячется
под розовыми шкурками,
белоснежными улыбками,
загадочными взглядами.

* * *

Оранжевый грузовик
по длинному серпантину
поднимается на перевал,
затем — всё выше и выше,
высвечивая фарами то облако,
то снежную вершину,
спереди у него написано:
«Бог — это Любовь»,
а сзади — «Труби громче!»

И монахи трубят, стараются,
дыханием согревают небо
подняв тяжёлые трубы
из человеческих костей.
Звук растёт, заставляя горы

сбрасывать снежные шапки,
и грузовик ему вторит,
словно предупреждает
встречные автомобили.

*«Внутри наши кости пустые, —
трубят в небеса монахи, —
хорошие будут трубы,
когда мы песни закончим,
и в нас заиграет ветер.
Он будет трубить ещё громче:
у ветра быстрые пальцы,
у ветра крепкие губы!»*

Но грузовик останавливается
в облаке звёздной пыли,
чтобы заправить звёзды
своей чудесной соляркой.
«Вы не дали замёрзнуть дороге, —
говорит водитель монахам, —
и я смог легко проехать
до самого края мира,
и ещё у меня полцистерны
остаётся на Луну и на Солнце.
Так что утром мы с вам станцуем,
оставляя следы на глине,
словно молитвы Богу,
который Любовь и только
о чём бы вы ни трубили».

Он вытирает руки
и снова за руль садится.
А монахи, подняв свои трубы
провожают его долгим звуком
туда, где смыкается небо
с вершинами Каракорума.

Рисовальщица песком на стекле

На прозрачное стекло
она бросит гость песка:
нас ещё не замело,
мы ещё видны пока.

Она пальцем обведёт,
 вокруг пальца обведет,
 и ладошкой разотрёт
 жёлтый маленький бархан:

где лицо — там станет дом,
 в небе — птицы силуэт,
 а вокруг темным-темно,
 и едва проходит свет

сквозь ворота из песка,
 за которыми летает
 нашу жизнь перебирая
 её лёгкая рука.

* * *

*...По закрытым глазам проведёт лапкой плюшевый кот.
 Дитя взрослым проснётся и больше кота не найдёт...*

Алла Горбунова

Вокруг избушки еловый лес,
 из иголок плед, слюда на окне,
 где древние рыбы стоят во сне
 стерегут тусклый лунный свет.

В доме встречают Новый год,
 ледяные игрушки в глазах блестят,
 тянется к ним дитя и растёт,
 на еловых шкурах розовое дитя.

Его плюшевый кот ушел через лес,
 роняя опилки на синий снег,
 становясь тенью самого себя,
 стирая до ветоши лапы,

чтобы вернуться на этот свет
 мотыльком, чей невидимый след
 перечёркивает саму смерть
 в жёлтом пламени лампы.

* * *

Что мне сказать тебе прежде
 чем станет водою чернеющий снег,
 я могу быть ленивым и нежным,
 но мне надо лодку построить к весне.

Мне надо смолой заливать словно кровью
сосновое днище снов долгой реки,
где бьётся вода словно сердце живое,
когда к тёмным лункам идут рыбаки

и золото рыб рассыпают под ноги,
и звёздам-чешуйкам не знают числа...
По высокой воде я пройду все пороги
навстречу тому, кто не видел весла.

* * *

Гуси-лебеди летят над гнездом кукушки,
а в карманах медяки да вина баклушки,
книжные кораблики ест морская пена,
все бумажные слова потеряли цену,

мы валяем дурака на песке прибрежном,
я ещё живой пока, ласковый и нежный,
я ещё с тобой пока, как дурак в песке,
мои губы — облака на твоей щеке.

Деревянный бог

Обновили деревянного бога,
сплели ему венок из жёлтых одуванчиков,
принесли к ногам рис и фасоль,
смочили серые губы сладким вином.

Но он не пьёт и не ест,
лишь осы кружатся возле губ
становясь его словами.

Суеятся муравьи внизу
зёрнышки риса тащат через лес.

Вороны да чайки
салятся на его плечи
белыми-чёрными сторонами жизни.

Выползают мыши полёвки
шелестят в траве:

так деревянный бог идет неспешно,
ветер одуванчики колышет на его голове,

их жёлтая пыльца и горькое молоко стебельков
несъедобны для мышей и птиц,
неинтересны для насекомых.

* * *

Люди на детском рисунке
в цветных одеждах и причудливых шляпах —
всего лишь след пальцев левой руки,
перепачканных в краске.

Эти люди идут вдоль реки,
становясь все отчётливее и прекраснее,
но правой рукой нарисовано солнце
и дом с огромной трубой.

Люди поют и не знают пока,
что исчезнут однажды и дом и река,
что остаются лишь одни
чёрного дыма клубы
из этой огромной трубы.

* * *

Кукушка, кукушка,
часы на руке беспечного ветра,
сколько времени, старушка,
до конца света?

Я плёл тебе гнездо
из пальцев, что загибал
пересчитывая грехи,
из пальцев, что растопыривал
читая стихи,
мои руки были тёплыми
как птенцы,
согревающие собственную смерть,
мои руки были честными
как детские слёзы...
Но тебе нужны не мои руки,
а чужие гнёзда.

Кукушка кукушка
мимо пролетела,
пёрышко уронила
ничего не спела.



Вальдемар ВЕБЕР

/ Аугсбург /

Александр РАДАШКЕВИЧ

/ Париж /



«Сквозь музыку веков, былому предстоящих...»

*Беседу с Александром Радашкевичем,
поэтом, эссеистом, переводчиком,
ведет Вальдемар Вебер*

Александр Павлович Радашкевич родился 30 апреля 1950 г. в Оренбурге, в семье офицера. Вырос в Уфе. После школы уехал в Ленинград, где поступил в ЛГУ, потом ушел из него, служил в армии, в ГДР, вернулся в Ленинград, работал, ради лимитной прописки, сторожем в ВОХРе, потом водителем троллейбуса, механиком по лифтам. В СССР не печатался, доверяя первые поэтические опыты литературоведу и переводчице Н.Я.Рыковой.

Эмигрировал в США в 1978 г. Работал в библиотеке Йельского университета (Нью-Хейвен), сотрудничая с эстонским поэтом и искусствоведом Алексисом Раннитом, куратором славянской коллекции. В 1983 г. перебрался в Париж, работал и печатался в еженедельнике «Русская мысль», поддерживая литературные и дружеские связи с И.В. Одоевцевой, К.Д. Померанцевым, З.А. Шаховской и поэтами «третьей волны» — Б. Кенжеевым, Н. Горбаневской, Ю. Кублановским.

В 1991–1997 гг. был личным секретарем Великого князя Владимира Кирилловича и его семьи, которую сопровождал во время более чем тридцати визитов по России, а также Грузии, Украине и европейским странам.

С конца 70-х гг., начиная с публикации Романа Гуля в «Новом журнале», его стихи, рецензии, статьи и переводы широко печатались в эмигрантской периодике, а с 1989 г., после публикации Михаила Дудина в журнале «Звезда», и на родине. В 1994 г. основал при петербургском изд-ве «Лики России» литературно-историческую серию «Белый орел». Член Союза российских писателей. Официальный представитель Международной Федерации русскоязычных писателей во Франции. В настоящее время делит свою жизнь между Парижем и Чехией.

Остров-сайт Александра Радашкевича, объединяющий все жанры его творчества: www.radashkevich.info

Вальдемар Вениаминович Вебер — поэт, прозаик, переводчик, издатель. Родился в Сибири. Пишет на русском и немецком. Живет в Германии и России.

Вальдемар Вебер: Александр, начнем с вопросов сугубо литературных. Ты принадлежишь к сравнительно небольшому кругу современных русских поэтов, у которых эксперимент с новыми средствами выражения не заявлен как программа, как манифест, а является поиском своей интонации и стиля, то есть он — метод твоей собственной просодии. Твой стиль для русской традиции совершенно нов, хотя в русской литературе свободный стих всегда присутствовал изначально, каждый поэт, писавший классическим стихом, время от времени писал и свободным. У тебя же это основной жанр, можно даже говорить о «верлибре Радашкевича». Как получилось найти свою интонацию, можно даже сказать, свой вариант русского верлибра?

Александр Радашкевич: Я бы сказал: найти свою музыку. К этой интонации я пришел совершенно инстинктивно, как и ко всему, что написал. Я никогда не пишу с заданной целью, не ставлю себе задачей вложить все в какую-то определенную форму или тему, я пишу стихи, как композитор — музыку, чисто интуитивно. Для каждого стиха своя спонтанная мелодия, но для каждого я ставлю потом и свои ограничения; стихи кажутся «свободными», а на самом деле, они существуют в очень жестких, выстроенных мною в процессе работы над текстом рамках, иначе все расплывается в ничто, в пену, в мутную воду. Искусство без ограничений, без рамок существовать не может. Чем сильнее напряжение, тем дальше и выше летит выпущенная на волю стрела. Я начал писать довольно поздно, лет в восемнадцать, и, кстати, первое же стихотворение уже написано почти в той манере, в какой я пишу сегодня. Не знаю, откуда она взялась. То ли это внутренняя мелодика, то ли отношение к миру, которое вложено в эти модуляции, в этот стиль, но он определенно интуитивный, не вымышленный, не вычисленный. Однажды, поздним вечером, у меня застучал в ушах ритм и полилось:

Я на пороге, я уже устал.
Как страшно думать, заливаясь светом,
что срок уже настал и что в дороге
сиянье дня и блеск ушли пустым наветом,
приливы разносили мертвый плеск...

Все сроки пережившим королям
осталось в жизни право ставить вето.

Я только побледнею перед сном,
я только улыбнусь большим надеждам,
как кораблям, которых больше нет,
которые плывут в морях безбрежных...

И т.д. Впервые его для тебя цитирую. Кстати, «все изменилось под нашим Зодиаком», и теперь я пишу стихи только утром.

Случалось, редакторы журналов иногда предлагали мне записать стихи по-другому (я ломаю «правильные» строки, перенося последнее слово в следующую строчку, сбиваю ритм, убистрия и замедляя его, и т.п.), советовали выровнять текст, сделать его глаже,

причесанней, и это мало бы что для них изменило, а для меня — все, потому что, скажем, слово, с которого начинается следующая строка, — ударное, а в конце строки оно читается совершенно по-иному. Я инстинктивно избегаю бубнения под сурдинку, этого укачивания-убаюкивания «правильного» размера, которое уже никто не воспринимает, в которое невозможно вместить нашу бесформенную эпоху, эту приевшуюся до оскомины «люлечку», которая заученно качается ляля-ляля, ляля-ляля, в которую уже никто по-настоящему не вслушивается, потому что это шаблон, куда привычно вставляются, как мы не раз убеждались и на этом фестивале, более и менее удачные слова и образы.

Там, где у меня внутренняя строка обрывается, я обрываю ее, не считаясь с тем, что читателю это неудобно, я мешаю на самом деле ему читать, чтобы он не заснул, не скользил глазами, не укачался, чтобы он даже злился, но оставался в напряжении. Чтобы, прочитав стихотворение, он увидел, что внутри у него эти ломаные строчки, как мозаика, выстраиваются в какие-то определенные и довольно четкие формы, а записаны они так, чтобы его это ударило или хотя бы задело, чтобы захотелось перечитать, но ни в коем случае не вводило в монотонно убаюкивающее состояние. Ведь в большой классической музыке главная тема и подтемы никогда не поданы в лоб, прямо, но проходят сквозь тернии и метаморфозы, сбои, повторы, развитие и кульминацию, и слушатель проходит эти «испытания», чтобы внутренне сложилось гармоническое целое, сотворчествуя, так сказать, композитору.

Порой, чтобы доставить читателям удовольствие и меньше их смущать, я пишу в так называемых правильных размерах стихи песенно-романсного характера, мне это нравится, пишу так намеренно, но это не мое: это как бы стихи на случай и для пушнего разнообразия, хотя, как и следовало ожидать и как я убедился на своих выступлениях, многим нравятся именно они. Такова се-ля-ви, как шутили в 70-х.

По лесенке рифм одиноких
взбираясь на чьи-то хребты,
и я бы отшпарил мазурку
в четыре влюблённых руки,

и я бы в хореи и ямбы
ронял восковые цветы,
и я был во прахе не я бы
под небом, которое ты.

В.В.: Нина Берберова в книге «Курсив мой» высказывает мысли, неожиданные для литератора первой волны эмиграции. Ведь ее опыт как автора проходил в довольно традиционном ключе. Но она вдруг говорит, что русская просодия зашла в тупик, что новым поколениям предстоит сломать ритмическую косность, что современная русская критика как на Западе, так и в СССР (в своей книге она имела в виду 60-е годы, позднее она повторила эту свою мысль и во время посещения СССР в 1989 году), оправдывает закоснение традиции (ты это определяешь как монотонность) каким-то особенным свойством русского языка, что особая, мол, ментальность русского языка

отторгает верлибр. Берберова хочет сказать, что поэзия в России не может развиваться только по своим независящим от времени законам, в отрыве от поэзии остального мира, например, от поэзии других славян, бывших в прошлом в литературном отношении более консервативными и провинциальными, чем русские. Говорят также, русский язык, мол, более молодой, он еще-де не использовал все свои ресурсы; в немецком языке, например, очень богатом рифмами, найти свежую рифму уже невозможно, а в русском это якобы можно, да и просодия в силу подвижности русского ударения позволяет вносить большее ритмическое разнообразие в традиционные размеры.

А.Р.: Это звучит так, словно у русской поэзии есть некая монополия на классичность. Русский язык такой же особенный, как и любой культурный язык в мире. Но он имеет свои исключительные возможности, он невероятно гибкий, это язык с нефиксированным порядком слов и ударением, поэтому у нас была такая богатейшая школа перевода, использующая именно это его качество: можно ведь бесконечно переставлять все части предложения, и это просто чудо.

Если внутреннее ухо поэта склонно к верлибру, то это врожденное свойство, и оно никак не исключает и ничего не отнимает от стихов в классическом стиле. Я вовсе не против традиционных размеров, я великий поклонник классической и романтической поэзии, и просто, по мере сил и отпущенного таланта, внес свою музыку, которой верен и которую не выдумываю, это естественная мелодика моего мироощущения, того, что Рильке называл ландшафтом души. Свободный стих не мешает ничему в русской литературе, наоборот, это еще одна самобытная ее грань, и я не вижу ни малейшего повода для беспокойства, что это, мол, разрушает традиции, школу и т.д. Главное — это быть верным себе. И в жизни, и в творчестве.

В.В.: Споры эти бесконечны. Я недавно здесь, на фестивале, в беседах с коллегами приводил примеры из разных литератур и их опыт верлибра. И мне было сказано, что виноваты во всем, дескать, французы, что это под их влиянием перешли на свободный стих, а ведь во французском не только фиксированный порядок слов, но ударение в слове обязательно на последнем слоге; в качестве контраргумента я приводил немцев, у которых порядок слов тоже фиксированный, хотя ударение не столь фиксированно, как во французском. Рильке писал в эпоху литературных революций, но оставался классичным. Классические формы его поэзии чрезвычайно многообразны, в это же время творил и Штефан Георге, поэты его плеяды, все их новаторство шло вглубь стиха, они бесконечно насыщали и уплотняли стих. Но одновременно с этим на протяжении десятилетий пробивал себе дорогу и дольник, и свободный стих, но без свержения с пьедестала стиха классического. А ведь в немецком языке живет своя абсолютно особая германская музыкальность, не буду никого убеждать в этом, это было бы смешно, взять хотя бы тексты немецкой классической песни, так называемой *Kunstlied*, связанной с именами Шуберта, Шумана, Брамса, Гуто Вольфа, Рихарда Штрауса, Альбана Берга. Не только ведь в России тексты поют и пели. Я считаю, что причина задержки верлибра — несвобода. Советская

цензура задержала свободный стих в России, не пустила, не разрешила. Уже давным-давно бы, как минимум лет семьдесят Россия уже писала бы свободным стихом, коли бы не запреты.

А.Р.: До сих пор классический стих яро отстаивается и «защищается» поэтами, воспринимающими иную манеру письма как конкуренцию себе. Она вызывает у них бешенство, и они любят ссылаться на плохие примеры. Ведь многие верят, что если они перенесут свои мысли на бумагу и разобьют на регулярные строчки, зарифмуют и напечатают их, то это и есть поэзия. Но это не поэзия. Это надсоновщина, проза, записанная по-другому. Верлибр же требует еще большей организации, чем рифмованный стих. На самом деле очень трудно писать верлибром так, чтобы он не разваливался, не был пустым, растекающимся, водянистым, был наполнен музыкой и смыслом. В регулярном стихе рифма часто «вытягивает» пустые, банальные слова и образы, а здесь нет этого спасательного круга рифмы, размера, строфики...

Иногда я проглядываю опусы современных верлибристов в периодике или антологиях. Сколько же там пустот и необязательного, сколько самомнения и претенциозности, просто мутной воды, и какой жалкий русский язык. Это идет, как я убедился воочию, от Штатов, где ловкими критиками провозглашен принцип: искусство это что попало. Вот ты написал любой текст, и это и есть литература. Тебе нравится Гоголь, а мне Пушкин. У нас же демократия! И эта «демократизация» искусства вообще и литературы в частности — совершенно дебильное и тупиковое явление. Поэзия — это не «Макдональдс», где все жрут руками ту же резину, запивая ее коричневым пойлом тошнотворного состава, это, прежде всего, путь служения и жертвы, путь восхождения, где богоравно вкушают нектар и амброзию, это иерархия и абсолютная монархия, в ней есть короли, есть принцы и просто рыцари, служители того или иного сана и уровня, но никакой «демократии» в ней нет и не может быть, и живая литература — это не что попало, не что придет в голову, а потом будет расхвалено в заумных «измах» и ничего не значащих убудочных кальках с американского критиками-конъюнктурщиками, обслуживающими окололитературные кланы...

Ты прав: советская цензура задержала свободный стих. Но полное отстранение власти от культуры уже поглотило все живое и стоящее с головой, задило графоманией и мусорной якающей отсебятиной. Это парадокс, и не знаю, возможна ли золотая середина.

В.В.: В связи с особенностью твоего творчества я хотел бы коснуться и некоторых аспектов твоей творческой биографии. Выше, во врезке к нашей беседе, названы основные вехи твоей биографии, но мне хотелось бы кое-что углубить. У тебя уникальный эмигрантский опыт. А также опыт жизни в СССР, еще задолго до перестройки. Переплаывая пережитое в свои тексты, ты идешь своим путем, у тебя все в деталях, а не событиях. Отдельные детали быта, природы, материальной культуры, истории, а также эмигрантская и российская атрибутика всплывают в стих и прозу как бы невзначай и расширяют тем пространство жизни, взаимосвязь всего и вся.

А.Р.: Я очень люблю русскую классическую прозу, которая знала, что говорила, о чем пеклась и не пыталась осквернить и разрушить, а создала миры. От этой литературы ко мне перешла и любовь к деталям. Очень люблю фактурность, выпуклость и контрастное смещение зримых и любовно выписанных пластов, люблю иллюстрировать запахом, цветом, вкусом, названием забытых тканей, из которых творили невероятные формы костюмов, люблю «вживать» читателя в иное время через ушедшие обороты речи, трогательную конкретику утекающего мига и пьянящий дым минувшего. Мне кажется, что «служебная» поэзия, как и стихи на случай, когда пишут о великих событиях или обращаются к известным лицам, полностью ушла в прошлое, ведь невозможно сегодня написать «Полтаву», нет великих произведений, описывающих, делающих предметом изображения битвы обеих мировых войн, поэзия становится все более интимной, келейной, потаенной. Она давно шепчет, а не говорит. Причиной этому и то, что поэзия умышленно выведена из обихода, уведена от публики, которую превращают все больше в дуру, публика-дура становится как бы дурой в квадрате, резервуаром для закачивания беззначной «информации», и это оборвало связь поэзии и вообще настоящей, не «бестселлеровской» литературы с нормальной жизнью людей, их душевным бытием. Я в ужасе от того, что можно в два счета сделать с толпой, и это одно из самых горьких разочарований моей жизни.

Для меня живые стихи определяются по тому космосу, который заключен в великом и в малом, как у Пушкина, например, в бессмертном стихотворении «Цветок», которое просто о том, что он нашел в книге «цветок засохший, безуханной», но ведь это о целой жизни человека, о судьбе, о невозвратной эпохе и почившем веке, о боли по ушедшим и тщете жизни, то есть о самых существенных, пусть и неназванных вещах, которые поданы через этот найденный между страницами прах цветка. Этот принцип разговора о Большом в описании Малого мне очень близок, и это высшая мудрость: все в одном, и одно во всем, в малом заключено бесконечно великое, и великое преисполнено неизречно малым. В полной мере это ощущение передается лишь в высшем из искусств — музыке, как у Баха или в космических ларго его премудрого века, и это то, о чем ты спросил, — эпическая взаимосвязь всего и вся, явленного и сущего.

В.В.: Сейчас уже очень мало поэтов, и в России, и на Западе, для которых религия является неотъемлемой частью их мировосприятия, органически входит в их творчество, как это было у всех больших поэтов прошлого. Герои твоей поэзии и прозы употребляют религиозную лексику наряду с другой, современной, как нечто естественное, как часть единого целого. С самых первых стихов твоего последнего сборника «Ветер созерцаний»¹ читателю ясно: автор живет в поле христианского восприятия мира. Что значит для тебя, очень современно мыслящего человека, религия, насколько она влияет на твоё творчество?

¹ Александр Радашкевич. «Ветер созерцаний». Стихотворения. Серия «Русское зарубежье». «Алетейя», СПб., 2008

А.Р.: Мои стихи, которые напрямую говорят о вере, касаются скорее космической, вселенской веры. Я настолько же православен, насколько православны все наши поэты прошлого. И Ахматова, и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев, они не били себя в грудь и не выставляли напоказ свое религиозное чувство, ибо это очень интимное качество человека. Лишь единицы интенсивно «проявляли» свое православие. Мне это глубоко чуждо, потому что, повторяю, это интимные вещи. Те редкие стихи, которые у меня касаются веры, связаны или с впечатлением от прочитанного («Пустынник»), или с каким-нибудь конкретным событием, как, например, в стихотворении «Нотр-Дам», когда на моих глазах вынесли к алтарю терновый венец Иисуса Христа:

...Тогда не стало ни собора, ни
меня, ни бархатной пурпуровой подушки,
и рыцарь белоснежный, с крестами по плечам,
любезно стёр с хрусталя платком моё дыхание
и бранный поцелуй — для поцелуя и дыхания
того, кто встал за мной неслышно на колени.

Но есть и прямое «обращение» (отсюда курсив), которое я хочу привести полностью:

ВЕЧЕР

*Спасибо, Господи, за речки
под мышками струистый шёлк,
за плоть бескровную хрустящих
яблок и каравеллы рваных облаков
за край канувшим бескрайне
близких далей, за жизни бережно
переплетённый в сафьян шершавый
сколкантый роман, за тленный ветерок,
целующий плечо, и паруса надежд
распятых, за родину, пылящую
в пустой груди, за то, что дал, что взял
сквозящей дланью, за пену сказок
поднебесных, за то, что слушаешь
безгласного меня сквозь музыку
веков, былому предстоящих, за этот
повечерний час и всякий суший вздох,
за реку — сквозь меня, за то,
Пространством Бесконечный,
что был, что есть и что Твоим,
и что Тобой, и что в Тебе
пребуду.*

Прямым шрифтом — из оды Державина «Бог», самого великого произведения русской поэзии, касающегося веры, именно веры в широком смысле этого слова, а не религии. У Державина тоже ведь нет ни малейшего кликушества.

А подоплека такова. Однажды я вошел в реку, которая течет прямо у моей дачи в Чехии. Воды там обычно по плечи. Был летний, какой-то сомовский изумрудный вечер, речка была прогрета солн-

цем, уже мягким, оно садилось, я вошел и замер, и вода потекла как бы сквозь меня. А поелику она один из «элементов» Бога, у меня возникла прямая ассоциация с Тем, кто проходит с ней через меня. Как по «формуле» вечности у Леонардо да Винчи: вода, которую мы трогаем рукой, — первая из той, что прибывает, и в то же время — последняя из той, что убывает...

Но опять же никак не могу сказать, что это православное стихотворение. Я с большим уважением отношусь к институту церкви, хожу в наши храмы, когда душа зовет или позволяют обстоятельства, но если бы я жил там, где нет ни одной православной церкви, это никак бы не сказалось на моей вере.

В.В.: Ты сказал: где нет ни одной православной церкви... А способен ты зайти в католический или даже протестантский храм на престольный праздник, например, на Пасху, особенно в тот год, когда она совпадает с западным календарем, и помолиться?

А.Р.: Конечно, я патриот своей конфессии, но не православный шовинист. Я люблю нашу родину и нашу веру (для меня это неразделимые понятия) не «против» чего-то. Я люблю ее «за».

В.В.: Я встречал в католических и лютеранских церквях на Западе отдельно стоящие православные алтари, у этих церквей есть связи с православными центрами в Восточной Европе...

А.Р.: В Париже я живу гораздо ближе к Нотр-Дам, чем к собору св.Александра Невского, где отпевали Шалапина, Окуджаву, Тарковского и других великих русских, как и моего друга Кирилла Дмитриевича Померанцева, но туда ехать довольно далеко, и я, когда есть возможность, захожу в Нотр-Дам, где в одном из приделов висит православная икона Божьей матери. Но я бы мог молиться, если бы ее там и не было.

А вообще любимый момент моего дня — это утренняя молитва. Это тот вневременный миг, когда мы вспоминаем все самое дорогое, тех, кто жив и кто ушел, каемся, выражаем надежды и чаяния, это самое сокровенное, самый светлый и отстраненный момент дня, и без этого мои дни были бы ущербными, приземленными, суетными...

Целуя звезду на плаще Приснодевы
и лоб прижимая к коленям Христа,
прорежется утро. А после — всё после:
сторонние люди, порожные подни,
и было, что будет, и смылится мыло,
и небо прорежут косые морщины...

В.В.: Часто стихи с религиозной тематикой называют духовными. Некоторые критики даже употребляют термин «православная поэзия».

А.Р.: Сейчас, как в России, так и в эмиграции, есть примерно десяток поэтов, глубоко и целомудренно пишущих стихи, в которых тема Веры доминирует. Очень глубокие и чистые стихи пишет иеро-

монах Роман, но это все-таки не поэзия в чистом смысле, а тексты песен. То, что такие тексты существуют, очень важно сейчас, когда в ходу безбожие, пошлятинка, примитивный жаргон и бесплодная ирония. Настоящая поэзия, повторюсь, искусственно исключена из культурного обихода людей, как и все, несущее в себе сколько-нибудь усложненную индивидуальность, нестандартность, несериальность, исконную национальную традицию, творческое переосмысление жизни и себя в ней и вообще тот духовный импульс, который призван от века «глаголом жечь сердца людей».

Но самые великие образцы религиозной темы — в золотой сокровищнице классической и романтической русской поэзии, и потому так потрясающе воздействуют на нас, что они прежде всего образцы Поэзии. И тут надо условиться, что именно считать духовными стихами. Вот говорят, что у Пушкина нет подобных стихов. Чушь. Есть изумительное «Отцы пустынноики и жены непорочны». И даже у декадентствующего Гумилева есть удивительный стих, напечатанный в его посмертном сборнике в Берлине (кстати, его машинописный самиздатский вариант прошел со мной всю армию):

Ничего я в жизни не пойму,
Лишь шепчу: «Пусть плохо мне приходится,
Было хуже Богу моему
И большее было Богородице».

Для меня это чисто духовное стихотворение, но я бы не сказал «религиозное».

В.В.: Духовные стихи традиционны. Но как сочетается твой стих с этой тематикой? Может ли осилить современная поэтическая интонация религиозную тему? Ведь есть стихи, называющиеся «Молитва». Возможно ли вносить в такой текст модернистскую эстетику? Современные критики и литературоведы вполне могли бы причислить тебя к постмодернистам, хотя понятие это, конечно, довольно диффузное.

А.Р.: И причисляют. Сейчас это дежурный «изм», как «гендерная» проза и прочая высосанная из пальца чушь. Но я так себя не ощущаю. Я бы определил свой стих как интуитивный верлибр. Это скорее постромантический стих, чем «постмодернистский». Я вижу преткновение в другом. Существует опасность из-за величия данной темы впасть в литературный примитивизм, ведь есть множество неофитски кликушествующих стихов, которые к поэзии никакого отношения не имеют. Это рифмованный пересказ известных вещей, тексты без вдохновения и без божества, перефразируя классику.

Но заканчивая тему, мне бы хотелось процитировать слова Льва Толстого: «России нужна религия. Я тянул эту песенку и буду ее тянуть, сколько мне еще осталось жить, потому что без религии в России наступит, на сотни лет, царство денег, водки и разврата». Слова ясновидца.

В.В.: Твое творчество состоит из трех жанров. Поэзия, прозаические миниатюры, которые ты называешь «Рефлексиями», и проза как таковая. Недавно вышел твой роман «Лис, или Инферно»¹.

Если взять твои «Рефлексии», эту короткую прозу, то я бы сказал, что это стихи в прозе, жанр довольно распространенный в настоящей мировой литературе, а в русской литературе до сего времени редкий. Не кажется ли тебе, что именно верлибр подтолкнул тебя писать подобного рода вещи. В этой форме можно сказать то, что не скажешь в форме стихотворения, даже верлибром, не говоря уже о рассказе или повести.

А.Р.: Думаю, Вальдемар, ты упустил из жанров критику, которую я раньше писал, и публицистику. Не знаю, заметил ли ты в моей поэтической книжке цикл «Риторические фигуры». На самом деле я очень не люблю подобную поэзию и специально иронически определил некоторые вещи как «риторические», то есть выделил те стихи, которые оспаривают, доказывают, обличают, выделил и отстранился от них. Мне кажется, я этим циклом отстрелялся и вряд ли стану возвращаться к этой стилистике. Самое неудачное у всякого поэта это всегда риторика, прямое выговаривание вещей. Возьмем великого Тютчева, несмотря на его же гениальное «Silentium!» («Мысль изреченная есть ложь...»), он часто откликался в стихах на актуальные события, читать эти его вещи теперь неинтересно, так же как у Гюго, который был большим поэтом, но его длинные стихотворные выпады против Наполеона III сейчас просто скучны, он в них растратил пафос своей души... Так вот, то, что я в этом цикле попытался сказать, думаю, у меня лучше получилось в «Рефлексиях». Я должен был выпустить пар, выплеснуться, и в них мне удалось высказать многое, что меня распирало изнутри, те мысли и образы, которые никак не ложились в стихи. Это требует другого воплощения и не вмещается в ограниченное и органичное пространство стиха. Но, написав пять циклов «Рефлексий», я остыл к этому жанру.

В.В.: Как ты пришел к этому названию?

А.Р.: Рефлексия — это, как известно, отражение. Есть у нас и слово «рефлексивный», т.е. тот, кому свойственно рассуждать по поводу отразившегося в его сознании. Кстати, у меня уже кто-то благополучно стащил это название в интернете.

В.В.: Прости, но возвращаюсь к своему наблюдению, о котором сказал выше: видимо, это был переход к прозе.

А.Р.: Да, так и было. Но я не ощущаю себя прозаиком, это все же проза поэта. Просто некоторые сюжеты судьбы, с канвой, развитием, антуражем, кульминацией и финалом, не лезут в стихи, как и «рефлексии». Самые близкие к прозе мои стихи — это продолжающий и сегодня писаться цикл «Тот свет», он отражает исторические

¹ Александр Радашкевич. «Лис, или Инферно». Ленинградский карманый роман. Серия «Русское зарубежье». «Алетейя», СПб., 2009

реалии, например, образ юного Петра II, отпльятие супруги Николая I из Палермо, предсмертное видение Анны Иоанновны, кулинарные изыски екатерининских времен, одну из августейших попок Елизаветы Петровны и другие забытые, малоизвестные вещи, совсем не великие исторические события, но я с помощью этих реалий старался передать вкус эпохи, как сам его чувствовал из чтения мемуаристики, которую очень люблю с юности, когда зачитывался «Записками» Екатерины Великой, теми самыми, которые наш Пушкин переписал от руки.

Повторюсь, я не считаю себя писателем: это как бы продолжение «рефлексий», но еще более личное, лиричное, многословное и многоплановое. Этот «карманный роман» отражает отношение к миру той эпохи, которая меня сформировала: конец 60-х и 70-е годы, Уфа, Ленинград и эмиграция в Штаты. Туда инкрустирован и «фильм», киноповесть «памяти 70-х», подающая эпоху отдельными кадрами, увиденными водителем ленинградского троллейбуса. Называется это «Соната для троллейбуса».

В.В.: Насколько биографичен этот роман?

А.Р.: Он совершенно биографичен. Там реальные фигуры, там, как у моего любимого Аксакова, практически нет ничего выдуманного, и события тоже реальные, но персонажи из моей и не моей биографии немного перемешаны, как карты в колоде.

В.В.: Сейчас у многих поэтов, у которых нет никаких амбиций прозаиков, вдруг появляется желание рассказать о своей жизни.

А.Р.: Хочется, я думаю, поднять, осилить некий пласт, который поэзии стилистически и «технически» не дается. Да и кто сейчас станет читать поэму о судьбе, нового «Чайльд Гарольда»? Время людей захлавлено и запрограммировано тысячами беззначных и бесплодных забот и мелочей, и поэзия вытеснена из него, чтобы не мешать «потреблению», а место ее занято беспросветной развлекухой... Мой романчик — это неспешный портрет воздуха, настроения, времени, которое ушло. Приезжая в города, о которых там идет речь, я вижу, что оно умерло, и прежде всего — ушло из языка и человеческих отношений.

В.В.: На меня в твоём романе большое впечатление произвела глава «Улица Пестеля», я жил на этой улице как раз в то время, в начале 70-х. Я узнал не обязательно здания, я узнал типаж человека. Уже на первых страницах книги, независимо от дальнейшего развития сюжета, авторская речь вселяет странное чувство причастности и отчуждения, автор не то чтобы не любит ту жизнь, ту эпоху (вопрос ведь не в том, любить или не любить), он смотрит на нее как на данность, никого не прославляя и не осуждая, это его молодость, она была ведь, черт возьми, это наша эпоха! Мы в ней жили и старались не только выжить, но и делать что-нибудь хорошее и благородное, но все же чувствуется, что возвращаться автору в ту эпоху не хочется.

А.Р.: Конечно, если бы можно было отмотать года назад, я бы прожил многое по-другому, «отменил» бы какие-то встречи, на которые тратил бессмысленно годы, и обратил в судьбу другие, проигранные ей, но я отнюдь не считаю, что мы не жили тогда, а «застойничали». Это бред в оправдание нынешнего безвременья, эпохи подмен и суррогатов. «Лис» явился и реакцией на поверхностную и огульную карикатурность изображения той эпохи, в которой нет даже попытки осмысления, зато навалом идеологической заданности... Всякая эпоха прекрасна и ужасна. Нынешняя, к примеру, отнюдь не менее ужасна, а духовно просто темна и бесплодна. Мы наблюдаем чудовищную деградацию, вырождение литературной речи, профанацию национальной культуры, сокровищница русского языка сознательно оскверняется американизацией, идет нивелировка, стандартизация, примитив устанавливается как норма, высокое высмеивается, планка катастрофически снижается во всем, за что ни возьмись...

Ты знаешь, мне хотелось показать еще и расслабленность, гибкость брежневской системы тех лет, ее неуверенность в себе, отчасти объясняемую, как ни парадоксально, ощущением своей незыблемости. Благодаря этой неуверенности я, как и многие, смог покинуть СССР. Благодаря ей, наша страна и была развалена и предана. Уверен, что из нее был мостик в будущее, и мое поколение до сих пор на нем, сожженным и обрушенном, стоит.

Из «Рефлексий»: «Сегодня исполняется тридцать лет с того московского, вырванного из времени и сознания утра, когда я покинул родину. Жалею ли я об этом? Нет. Потому что страны, которую я покидал, больше не существует, — и об этом я жалею каждый день. Судьба увела меня за ручку, чтобы не видеть, как она умирает на глазах.

Теперь о ней развязно лгут. Лгут столько же, сколько и о сегодняшнем безродном и бесплодном российском мутанте, пришедшем ей на смену, но её никак и ни в чём не заменившем.

И я её люблю, милую и приснопамятную, почившую в равнодушно шелестящих веках».

В.В.: В романе много других аспектов и, читая его, все время «вспоминаешь» о сегодняшнем дне.

А.Р.: В «Лисе» отразились и мои первые эмигрантские впечатления. Я видел, как некоторые из благополучно приехавших на Запад, изобретали свои «страдания», чтобы получить место на радио, в какой-нибудь газете или антисоветском издательстве, как изображали себя жертвами власти, хотя жили более чем благополучно, носили на демонстрациях красные знамена в первых рядах и пользовались привилегиями.

Ты же помнишь, мы говорили тогда о чем угодно, но не о худшем социализме (никакого «коммунизма», разумеется, никогда не существовало), а жили так, как если б его и не было, зачитывались почти в открытую передаваемыми друг другу книгами, в том числе «запретными», нас одушевляли фильмы Тарковского, Висконти, Бергмана, Параджанова, и их можно было при желании увидеть, а соз-

вание того, что надо многое менять, было практически у всех честных людей. В нас жила подсознательная уверенность, что страна могла постепенно перейти в демократическое развитие. Более 80% граждан проголосовало за ее сохранение в рамках СССР, но пьяная шарага в Беловежской пуще знала, зачем собралась, и открыто пошла на предательство. Сегодняшняя «свобода» используется как инструмент натравливания людей и народов друг на друга и для дальнейшего развала страны в угоду тем, кто разделяет и властвует в этом мире.

В.В.: Стиль, интонация, манера, метод, формальные признаки неразрывно связаны с содержанием, собственно, они — часть содержания, часть темы. Поговорим о тематическом содержании твоей поэзии. Эмигрантская тема у тебя составляет очень большую часть творчества. Это и не мудрено, большую часть жизни ты провел вне родины. У тебя есть одно стихотворение, оно называется «Нотр-Дам», мы его уже упоминали. В последние годы мы привыкли смотреть на Запад другими глазами, глазами диссидентов, скажем, Бродского или Довлатова, твое же стихотворение таково, что оно могло быть написано поэтом поколения любимого тобой Георгия Иванова. Ты вдруг принимаешь эстафету другой эмиграции, повторяешь их тематику, их образы и настроения, ты человек совсем другого поколения, но воспринимаешь потерю старой России, несмотря на сказанное тобой выше, все же не сердцем и не глазами отказника брежневских времен.

А.Р.: Наверное, это потому, что я с самого начала, уже в Америке, близко сошелся с представителями первой эмиграции, проникся их чувством родины, той России, никогда мною не виденной, но ощущаемой всеми фибрами души через литературу, музыку, историю, мемуары, живопись, архитектуру, благодаря которым я, как и вся наша интеллигенция и вообще сколько-нибудь думающие люди, никогда не был и не мог быть «советским» человеком... Затем, уже в Париже, я много общался с Зинаидой Шаховской и сердечно подружился с Ириной Одоевцевой и Кириллом Померанцевым, знавшими, в свою очередь, всех знаменитых эмигрантов, полюбил этих людей и привязался к ним. Они и были для меня мостиком между вечной исконной Россией и моим сновиденным бытием на Западе. Это отношение к самому главному лучше всего выражено в XXVI стихе потрясающего «Посмертного дневника» Георгия Иванова:

За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть отчего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.

— В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому, домой.

Мне удивительно дышалось рядом с ними, и именно им я отчасти обязан выходом из тяжелой депрессии, навалившейся на меня в заокеанском капиталистическом «раю», этой цитадели античеловечности и антидуховности, поставленной за образец нынешним «россиянам».

Правда, у меня уже был в судьбе, еще в Ленинграде, такой человек-остров из прошлой России. Это Надежда Януарьевна Рыкова, известная переводчица и литературовед, терпеливо внимавшая моим первым поэтическим опусам. В Париже судьба привела меня за ручку и в дом Великого князя Владимира Кирилловича. Сидя рядом с ним на диване, в машине или за обеденным столом, я вдруг отчетливо видел перед собой Александра II, его прадеда, только без бакенбард. Мне пришлось его сопровождать во время первого и последнего его визита в Россию, на переименование моего Ленинграда опять в Петербург (которым он, конечно, никогда уже не будет), и ты можешь представить себе мои ощущения тех невероятных дней...

Все мы, русские поэты, — граждане той, непреходящей России, которую несем в сердце и рядом с которой те личности, что на нее натягивают, просто смехотворны, жалки и недостойны внимания. Поистине бездонные, тютчевские по своему отзвуку строки написал названный тобой Георгий Иванов: «Я верю не в непобедимость зла, А только в неизбежность поражения».

В.В.: Солженицын однажды сказал, что право на эмиграцию — не первое из прав человека, а его отказники сделали первым и главным. Все же первая эмиграция мечтала и тосковала о родине, а отказники в основном, чтобы слинять...

А.Р.: В этом твоём «все же» скрыто одно определяющее качество — любовь к России, к русскому, к русскости — как к мировосприятию и духовному континенту — и ее отсутствие, и даже очевидная нелюбовь к ней. Это скользкая тема, и мне не хочется в нее вдаваться, потому что тут не обойтись без негативных эмоций и отхода от заповеди «не суди». И если назвать вещи своими именами, то от нашей беседы только это и останется, поскольку люди падки на соленькое, а ведь твой «коварный» вопрос — не цель нашего разговора.

О каждом есть, по слову Кирилла Померанцева, замысел Божий, каждый несет свой крест и пожинает плоды посеянного, так что... У меня об этом в публицистике («Перевод непереводаемого», «Антипушкинская, 10», в «Рефлексиях», интервью и пр., и это легко найти в интернете или у меня на сайте). Я подошел к тому возрасту, когда хочется меньше судить и больше отдавать накопленное.

Замечу только, что мне пришлось лет шесть работать редактором в старейшем парижском эмигрантском еженедельнике, при Иловойской-Альберти, и вариться в этой «женской бане», по определению одного из уволенных сотрудников, хотя, конечно же, были там и замечательные, и просто очень хорошие люди... Это было опасное для душевного здоровья занятие, но и выбора у меня, разумеется, не было. Теперь газета перекуплена Москвой и превратилась, как и задумано, в безобидный и безликий бульварный листок. Тогда же она была не только антисоветской, но и антирусской, униатской, проамерикан-

ской и прорывающей. Там-то я и насмотрелся в упор на отдельные лица «третьей волны», начитался их статей. Утешительно лишь одно: они не имеют никакого отношения ни к судьбе нашей страны, ни к ее духовному облику, ни к ее живому культурному наследию, несмотря на то что именно им Запад внимал и внимает с открытым ртом. Ибо в них нет любви. Но ведь Бог есть любовь. И Бог им судья.

В.В.: Какой ты представляешь себе и хочешь видеть дальнейшую русскую жизнь и русскую литературу?

А.Р.: Дорогой Володя, не ставь меня в положение пророка. Кто знает, тот молчит, а кто говорит, тот не знает.

У меня есть одно опасение: страну, впадшую в поклонение золотому тельцу, неизбежно ждут события искупительного ряда, как, впрочем, и каждого отдельного человека. «Три карты, три карты...»

Моя же задача чисто индивидуальна, я чувствую себя на своем месте и честно пользуюсь отпущенной мне долей словесного дара. И если у меня есть свой, редкий, но верный читатель, то это уже безмерная роскошь по нашим временам, ибо, как замечено где-то в «Рефлексиях», главный недостаток автора по отношению к читающей публике — это то, что он жив.

Общее же ощущение мое таково. Ныне мы, как малые дети, увлеченно играем в яркие фантики. Но конфет-то больше нет. Они давно съедены.

*IV Международный русско-грузинский поэтический фестиваль
Кобулет, июнь 2010*

4 (50) '2010

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Оригинал-макет *Б. Марковский*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*

Издательство
«Вест-Консалтинг»,
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Подписано в печать 23.10.2010. Формат 66x88^{1/16}.

Усл.-печ. л. 20,6. Печать офсетная. Заказ 487.

Тираж 500 экз.